ГРИГОРИЙ ВАСИЛЕНКО

Крик безмолвия

записки генерала

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Предлагаемая читателю книга писателя Григория Василенко «Крик безмолвия» — повествование о солдатской войне, о работе в разведке и контрразведке в Германии и бывшем Кенигсберге, на Кубани, о встречах с «сильными» мира сего, о судьбе поколения, добывшего победу и возродившего страну из руин, о прошлом и сегодняшнем дне.

«У вас хорошая честная проза и дай Вам Бог здоровья писать и писать», — так пишут автору читатели.

Автор выражает признательность за помощь в издании книги администрации края и краевому комитету профсоюза работников автотранспорта.

- ПРОЛОГ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58

ПРОЛОГ

История. О давнем, незабвенном
Трещит от споров некий храм наук.
Но вот она, как молния, мгновенно
Сверкнет, идущий день осветит вдруг

С. Орлов

Отсчет времени, наверное, как и все, я веду с того момента, когда в памяти начали откладываться события, запомнившиеся на всю жизнь.

Не улетучилось большое село, раскинувшееся на косогорах, амфитеатром вокруг пруда, целого озера в низине. Тесно было в нем. Более восьмисот дворов жались друг к другу так, что между ними не было никакого просвета. Из-за борозды на меже вспыхивали раздоры между соседями, доходившие до драки. Узкие улицы и переулки веером растекались от пруда со своими названиями, а в центре перед ратушей была площадь, к которой примыкала школа, лавка и на высоком холме, словно его кто-то специально насыпал, стояла церковь с золочеными куполами, увенчанная крестом. В ясную погоду она была видна за много верст от села.

Память удержала единственное ее посещение. Меня за руку вела мать, звонили колокола, шли люди. Детское воображение поразило величие этого сооружения, его внутреннее убранство, но все это осталось как в тумане, без деталей. А за селом была земля — тоже святое место для крестьянина. Отец сажал меня на воз, и мы ехали в поле, Земли было мало. Об этом постоянно шел разговор в семье. Под одной соломенной крышей в хате жило, пять братьев. Отец самый старший, остальные неженатые, но уже парубки или подрастали к этому. Дед, вернувшийся с японской войны с Георгиевским крестом, умер. Все заботы легли на плечи отца, хлопотавшего, чтобы прирезали земли на подросших хлопцев. А откуда было ее взять, если все вокруг села на километры было распахано и распределено до аршина. На аршинах, так назывались

неудобные, выгоревшие на солнцепеке косогоры, выделили узкую полоску, которую собирались распахать, но она не решала проблему безземелья, как и единственная в хозяйстве лошадь не

могла вывезти тяжеленный воз всех работ. Радовались, что одному дядьке подошел черед идти в армию, на одного едока становилось меньше, а два другие нанялись в батраки к богатым хозяевам.

Однако отец все время думал, как же построить хату, чтобы отделить подросших братьев и дать им землю. Копил рубли на каждое бревно для новой хаты, ну, а о покупке земли и думать было нечего. В таком беспросветном положении жили многие селяне, терпели, на что-то надеялись, как повелось с давних пор на Руси: терпеть и ждать. Кто- то дознался, что километрах в десяти от села есть ничейная земля, ранее принадлежавшая какому-то богачу, куда-то исчезнувшему. Власти решали, кому ее прирезать — селу или претендовавшему на нее совхозу.

Подались мужики–ходаки в волость, а оттуда в губернию с челобитной отдать землю задыхавшемуся от безземелья селу. Среди них был и отец.

После долгих мытарств тридцать дворов добились переселения на хутор за полтора года до сплошной коллективизации.

Отец перевозил старую хату на хутор, дядька, призванный в Красную Армию, остался жить в том городе, где служил, а батрачившие братья собирались в Донбасс на шахты. Там уже работали односельчане. Когда они приезжали на побывку домой, люди шли к ним, расспрашивали о шахтах, о заработках, не страшно ли под землей. Отец пригласил такого шахтера Максима Харчука зайти и рассказать, как там живется нашему брату.

— А вот как, — сразу начал Максим, вчерашний крестьянин, подручный у своего батька, когда тот пахал быками. Что-то вроде погонщика с кнутом или хворостиной, чтобы быки ступали побыстрее, таща за собою плуг. Теперь он ходил как попугай по селу, в бархатной зеленой фуражке, каждый день пил самогон и орал на все село: «Я как крот под землей…»

— Давай табуретку и в руки что-нибудь, молоток или кочергу.

Отец посредине хаты поставил добротную, сработанную дедом, табуретку и дал ему топор.

Шахтер стал на колени и просунул в нее голову. Табуретка повисла у него на шее.

— Нет, не так. Ты сядь на нее. — Отец сел. — Вот теперь так.

— Ломай, — предложил он, да так, чтобы скрипела. Там дерево трещит, темно, сыро, как в подвале, за шиворот капает вода. Поначалу оторопь брала, прислушивался… Привык. Человек — скотина, ко всему привыкает, лишь бы жратвы хватало.

— Все понятно, — сказал отец довольно серьезно, убирая

табуретку. Не проронив больше ни слова, закурил.

Шахтер уехал. Уехали с ним и два брата отца. Вскоре по селу разнеслась весть, поразившая как громом всех. Максим погиб. Его засыпало живым. Долго о нем говорили на селе. Он стал первой жертвой из уехавших на заработки хлопцев, пахавших землю.

А из села тянулись подводы со скарбом на хутор. Там не было такого удушья, как на старых подворьях. По обе стороны ручья с чистой родниковой водой тянулись луга, покрытые разнотравьем и выстраивались два рядка белоснежных мазанок, покрытых соломой, обсаженных молодыми садами и тополями. По утрам на лугу шуршали косы в росистой траве, поспевала высокая рожь на полях, зрел богатый урожай. Хуторяне, охочие до работы, с утра до позднего вечера не разгибавшие спины, радовались тучным хлебам и необъятному простору степи. Куда ни глянь, до самого горизонта поля, а над ними высокое небо. Грохотали грозы, лили проливные дожди, налетали степные ветры, шумевшие в подросших тополях, а хутор жил дружной работящей семьей. Всем миром убирали урожай, воспрянули духом мужики, осенью в каждой хате в кадушках бродила закваска на самогон. Умельцы соорудили самогонные аппараты, которые передавались из хаты в хату. Зимою гуляли в занесенном снегом хуторе, зажившем так, что в округе разнеслась молва, как о самом хлебном месте, а, значит, и богатом.

Каждый двор украшали добротные высокие ворота и калитки, скамейки перед окнами у изгороди, как повелось это от отцов и дедов.

Возникновение хуторского колхоза «Серп» началось с того, что свели в одно место лошадей, а потом повыкопали столбы ворот для строительства конюшни. В каждой свежевырытой ямке отец посадил по тополю, долгие годы напоминавшие о воротах. Название колхоза смутило районные власти. «Серп»?.. А где же «Молот»? Почему только «Серп»? Приехал уполномоченный, собрал хуторян

и стал выяснять: что это значит? Мужики пожимали плечами, никакой крамолы они в этом не видели, поскольку представляли себя крестьянством, а следовательно — «Серпом». Уполномоченный с их доводами не согласился и расценил такое своевольство, как противоречие союзу рабочего класса с крестьянством и чуть ли не как посягательство тех, кто дал такое название колхозу, на этот союз. Мужики настаивали на своем, уполномоченный не сумел их переубедить, уехал в район. Проводив его, они нагрузили возы лежавшей на поле в буртах свеклой, и длинный обоз загрохотал по подмерзшему проселку на сахарный завод, в двадцати пяти километрах от хутора. А

уполномоченный ни с чем вернулся в район. «Неразумные» же хуторяне сахаром крепили союз с рабочим классом. Сознательно или по предписанию, но все же тот уполномоченный защищал символы труда — серп и молот и хуторяне на собрании, хотя и упирались, но задумывались над его доводами. Тяжба кончилась компромиссом — колхоз переименовали, назвав именем 1–го Мая, сойдясь на том, что это праздник всего трудового люда.

Из колхоза, хотя он был не из бедных хозяйств, всякими правдами и неправдами разбегалась молодежь, умудрялись бежать кто как мог. Трудно было заполучить у председателя справку на получение в городе паспорта. Иногда дело доходило до суда за самовольное оставление колхоза. Окончившие семилетку в соседнем селе, что по тем временам уже считалось не мало, уезжали для поступления в техникумы, другие стремились устроиться на работу в совхозе. Один хуторянин убежал в совхоз и возил летом бочку с водой на поле. То же самое он делал и в колхозе с той лишь разницей, что в колхозе ему ставили за день палочку, а в совхозе платили наличными рублями. За те палочки на трудодни давали по осени граммы и ни копейки наличными. Мужики чесали затылки, но надеялись на обещанную зажиточную жизнь.

…Грянула война. Почти всех мужиков, из каждой хуторской хаты, кроме стариков, мобилизовали в армию. Опустел хутор, притих перед неумолимо надвигавшимся смерчем. Он не пронесся стороной. Пришли немцы со своим «новым порядком», но колхоз не распустили, а только назначили старосту, обложили хуторян налогом — сдавать мясо, яйца, хлеб, угнали коров и лошадей. Староста, пожилой баптист, с палкой в руках обходил хаты и требо

вал неукоснительного выполнения распоряжений немецкого военного коменданта, фельдфебеля — пруссака, обосновавшегося в селе. За саботаж распоряжений оккупационных властей по заготовке продовольствия, по его указанию повесили трех сельских активистов, двух пожилых коммунистов и комсомольца, обвиненных к тому же еще и в коммунистической пропаганде. Откуда-то появившийся самозванный поп перед казнью подошел к каждому и предлагал исповедоваться на глазах у обезумевших от ужаса предстоящего зрелища, согнанных на площадь селян. Смертники отказались. Висели жертвы фашистов долго на виселице, сооруженной на той площади, перед церковью.

Все колхозные постройки на хуторе, даже начальная школа, были сожжены, разрушены и разграблены. Хуторяне, пережившие кошмар оккупации, восстанавливали колхоз, снова строили, пахали землю коровами, сеяли вручную, собирали урожай, и весь

до зернышка сдавали на заготпункт, а колхозники оставались ни с чем. Во все это трудно поверить, так как противоречит здравому смыслу, однако это было так. И к тому же после войны сразу увеличили налоги на каждый двор, на каждую живность, на каждую яблоню. «Жить стало лучше, жить стало веселей», — с горькой иронией говорил мне старый хуторянин, добивавшийся с пристрастьем — почему так?

— За что ты воевал?

В войну на фронте и в тылу царил воинствующий патриотизм. Благодаря ему мы одержали победу, преодолели уму непостижимые трудности, которые были не под силу ни одному государству в тогдашнем мире.

Хуторянин себе на уме слушал мои объяснения, помалкивал.

Домой возвращались миллионы солдат и офицеров, побывавших в освобожденной Европе. Они увидели своими глазами Запад и невольно закрадывалось сравнение с нашей действительностью, может быть, чисто умозрительное. Впечатления, несмотря на разруху в Германии, захватывали победителей, особенно оставшихся служить в Восточной Германии, имевших возможность рассмотреть жизнь немцев более пристально.

Кто не встречался с бесконечными рассказами фронтовиков об увиденном в Германии и в других странах? От них не ускользали малейшие детали уклада жизни, даже практичные черепичные крыши в городах и селах и нередко

победители в сравнениях отдавали предпочтение увиденному, подобно тому, как мыслящие русские увидели Европу в 1813—1814 гг. после изгнания из России Наполеона. Оттуда они принесли свои раздумья, сравнивая отсталую крепостническую Россию с нарастающими республиканскими брожениями во Франции. Советские офицеры и рядовые тоже открыли для себя Европу. Но она не повлияла на патриотизм народа и Армии. Слишком тяжелы были потери, кровоточили раны, напоминали руины. Война кончилась, но сразу же Черчилль призвал собирать оружие. — Началась злобствующая «холодная война». Слишком нагло повели себя американцы и англичане, надеявшиеся на советские уступки в устройстве послевоенного мира. Яблоком раздора стала Германия и Западный Берлин. Нам патриотический дух необходимо было не только сохранить, но и предупредить тех, кто восторгался Западом, предупредить от чрезмерного увлечения увиденными там порядками. У нас было полно своих забот в то тяжелейшее время и расслабление было нам не на руку. Началась шумная кампания борьбы с космополитизмом, с теми, кто допускал или мог допустить

космополитические настроения. «Цель космополитизма — атрофировать у народов других стран чувство тревоги за судьбу их родины, подорвать патриотизм. Космополитизм находит свое выражение в форме низкопоклонства перед буржуазной «культурой», в принижении великих достижений советской социалистической культуры, в национальном нигилизме», — разъясняли наши средства массовой пропаганды в тот период.

Но не только у нас шла борьба на идеологическом фронте. Другая сторона не менее рьяно инквизиторски наступала на инакомыслие, укрепляя свои позиции. Там родился «маккартизм», ярый враг здравомыслящих деятелей и прогрессивных организаций. Сенатская комиссия США преследовала за каждое произнесенное слово против реакционной политики и развязывания «холодной войны».

Мир снова втягивался в беспримерную гонку вооружений на долгие годы и не раз находился на грани горячей войны. И если эта война не была развязана, то только благодаря советской военной мощи, сплоченности народов, населявших страну, и расстановке антивоенных сил на мировой арене после второй мировой войны. Все это началось, когда в каждой хате оплакивали не вернувшихся с войны, на которых получили похоронки; о многих никаких

вестей не было, они пропали без вести. Может, погибли в плену в гитлеровских лагерях, где день и ночь чадили трубы крематориев, может, были похоронены в братских могилах, как безвестные солдаты, а может, брошены при отступлении ранеными или убитыми.

Уцелевшие, раненые и контуженные фронтовики возрождали хутор. Для них он был родным домом. Вернулись они из далеких походов, повидали Германию, Чехословакию, Болгарию и другие страны, но как в песне поется — «хороша страна Болгария, а России лучше нет». На необъятных российских полях трудились солдатские вдовы, растили хлеб, кормили страну. Они как в войну с подростками сеяли и убирали хлеб, стояли у станков в холодных цехах заводов, ковали оружие и снова спасали народ от голода. Им бы — женщинам России, нашим матерям, вынесшим на своих плечах такую жестокую войну — памятник поставить и низко кланяться, хранительницам родного очага, рода людского.

Воспрянувший было духом хутор постиг удар, от которого он уже больше не мог оправиться. В Москве на асфальте защищали диссертации, в которых с «научно» — заумными выкладками доказывалась экономическая, политическая и культурная целесообразность ликвидации бесчисленных хуторов, сселения их жителей в близлежащие села и агрогорода с пятиэтажными

хрущевскими домами.

Хуторяне сопротивлялись как могли насильственному переселению, но авторы этой антинародной теории, получившие за нее докторские звания, упирались, подсовывали постановления по удушению хуторов, подгоняя их под придуманный термин — «неперспективные населенные пункты». Хутор Луки опахали со всех сторон, отрезали огороды, предложили переселиться в село, из которого они когда-то вышли, перевезти туда обветшалые старые хаты. А их нельзя было трогать. Они рассыпались, как труха на ветру. Оставались в них до последней возможности упрямые старики, не желавшие покидать свои хаты, обжитое место, сады и поднявшиеся высоко в небо тополя, таинственно и тоскливо шумевшие на ветру, словно предчувствуя, что жизнь их кончается, скоро их будут рубить под корень.

Когда многие хутора стерли с лица земли, вдруг, как это у нас повелось, кто-то подал голос в их защиту. Колесо, раскрученное в верхах учеными мужами, сначала оста–ловилось в недоумении, а потом начало раскачиваться в обратную сторону.

На бюро крайкома вынесли вопрос о помощи хуторам. Все сходились на том, что это же колхозные бригады, у них под боком земля, вышел из хаты и сразу с порога оказался в поле, не нужны никакие автобусы для доставки людей за многие километры на поля. Перечисляли и другие преимущества хуторов, где жили и трудились исконные хлебопашцы, любившие землю. Секретари райкомов и председатели райисполкомов отчитывались за каждый хутор. Обходили только молчанием — кто же додумался изживать с белого света хутора, а вместе с ними и всех живших там. В завязавшейся дискуссии прозвучали предложения о подключении хуторов к промышленному производству в зимнее время, чуть ли не к сборке какой-то электронной аппаратуры по договорам с заводами. Опять появилось брожение умов, опять назревал перегиб.

— Оставьте хутора в покое, не мешайте людям жить на земле, не терзайте их души своими аппаратами, у них хватает своих забот. Пусть растят хлеб, — пришлось сказать со всей резкостью.

Хорошо, что с этим согласились и предложенный почин индустриализации хуторов лопнул на бюро, как мыльный пузырь.

Да, много было извращений и перекосов в жизни селян, основной силы в строительстве социализма в СССР. Натерпелись крестьяне от множества экспериментов, от неприязненной политики к крестьянину–труженику, но жизнь брала свое и крестьянская Россия создала рабочий класс, построила города, заводы и фабрики, железные дороги и электростанции. А строителями были окончившие семилетки селяне. Жили они

трудно и бедно, в бараках, но задорно пели песни, приобщались к грамоте, становились инженерами, художниками, артистами и писателями, тянулись к культуре. Простой люд в ту пору выдвинул из своей среды выдающихся деятелей культуры и ученых, ставших нашей национальной гордостью. Жизнь текла в труде и заботах, с уверенностью в завтрашнем дне.

Я навсегда запомнил разговор хуторян, проживших долгую жизнь.

— Скажи, мать, когда жилось лучше? — попыхивая папироской, с газетой в руках спросил дед. — Теперь али раньше, при царе?..

В семнадцатом им было уже по восемнадцать. Затаив

дыхание, я ждал, что же скажет бабка, возившаяся у печки с чугунами.

— И говорить нечего -— теперь!

Такова душа терпеливых, отходчивых русских, которых пытались распознать Достоевский и Толстой. Но по–на- стоящему выразителем народной души стал великий поэт земли русской Н. Некрасов. Его поэмы написаны как будто бы к сегодняшнему дню многострадальной России. Он в отличие от Достоевского и Толстого не изобретал для народа новую религию. О Некрасове я впервые услышал от отца и матери. Отец читал его стихи, а мать знала многие строки из поэмы «Саша». И до сих пор помню:

Саше случалось, знавать печали:
Плакала Саша, как лес вырубали.

Плакала и мать, когда на хуторе сад вырубали.

Другие забылись, а эти остались в памяти с той давней поры.

Понять русскую душу трудно. И уж совсем невозможно, не пожив в деревне. Там истоки всего русского. И сама Россия вышла из деревни. Кто не знает вещих слов Л. Толстого:

«Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение к ней».

Мне пришлось несколько лет работать в Ясной Поляне, встречаться с теми, кто еще помнил из далекого детства Льва Николаевича, шедшего в своей толстовке с палкой по единственной улице деревни, поднимавшейся вверх от въездных башен в усадьбу по пологому пригорку. Толстой долгие годы жил в деревне, знал ее обитателей. Деревня мало в чем изменилась со времени Толстого, хотя на околице и построено современное кафе. Уклад жизни русской деревни и вообще русского быта

вмещает, может быть, единственное слово — «русизм». В нем самобытное явление ни на кого и ни на что не похожее во всем мире. Не надо этого слова бояться. В нем национальный характер, наша культура, неповторимость русского феномена в мировой истории. Как тут не вспомнить Ф. Тютчева:

Умом Россию не понять
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Не зря же Л. Толстой, словно поддерживая эту мысль, говорил: «Без Тютчева жить нельзя».

Задумывались ли над этим те, которые правили Россией при жизни нынешних поколений и правят сейчас? Ведь они тянули к коммунизму русского мужика, а теперь не угонятся за капитализмом. А ему не надо ничего ни у кого занимать, он может жить своим умом, чтобы не возвращаться вновь к убийственным словам Н. Некрасова, однажды сказавшего: «Бывали хуже времена, но не было подлей».

1

После четырехлетнего грохота я приходил в себя медленно, привыкая к тишине. Просыпаясь в ночи, не сразу верил, что видел кошмарный сон — полз в заснеженной траншее к пулемету. И как только до меня доходило, что войны нет, что я лежу на кровати, а не в окопе, на душе становилось необыкновенно легко и казалось, что все жизненные невзгоды ничто по сравнению с войной. Однако жизнь преподносила немало испытаний и я стал менее категоричен в своем утверждении.

Послевоенная неустроенность: голод и холод, разруха, карточки, изможденные лица, черные платки, телогрейки и кирзовые сапоги, потертые шинели и пропахшие порохом гимнастерки, водка и самогон, а развеселая музыка патефонов и радио утверждали, что русским все нипочем —- залечим раны, восстановим разрушенное хозяйство, отстроим города и заживем в полном изобилии — раздражало этаким шапкозакидательством, как перед войной.

Как-то встретившись с фронтовиком, я поинтересовался, как он живет, о чем думает?

— Живу одним днем, — ответил он сразу с горькой усмешкой.

— Как это?

— Чего жалеть? О чем тужить? День пережил — и слава богу. И тебе так советую. Ничего не загадывай. Не думай о завтрашнем дне. Иначе жизнь станет невыносимой. Что будет завтра, ты не знаешь. Я тоже. Живу по принципу — дал Бог день, даст и пищу. И еще. Запомни — тебе ничего не надо. С этой мыслью легче жить. Свободнее.

Я в какой-то мере был согласен с ним и незаметно для себя принял его философию, кредо жизни умудренного войной человека. Он был чуть старше меня, читал проповеди Иисуса, в которых тоже сказано: «Не заботь

тесь и не говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что одеться» и так, не заботьтесь о завтрашнем дне».

— Прожил день и хорошо. Ничего не нужно, — повторял я про себя.

Работал исступленно, получал гроши, все больше уединялся, читал все подряд. Меня потянуло к философии и к одиночеству. Моих десяти классов средней школы было явно мало для понимания Канта. Я рад был, когда оставался один в тишине и мог читать, предаваться раздумьям, когда никто не поучал, как надо жить.

Единственный человек, перед которым я преклонялся, была мать, маленькая, хрупкая, трудолюбивая, нежная. Встречи и расставания с ней никогда не обходились без слез. Плакала она, плакал и я. Слышал ее тихие молитвы перед иконкой в углу.

Так было до войны, так было и после войны, когда я уже стал задумываться над смыслом жизни и месте человека под небом. Стройного представления обо всем этом у меня не было. Война прервала формирование мировоззрения поколения, его отношение к человеческим ценностям. Задумывался и я, куда и как мне идти от отца, строгого и честнейшего человека, и материнской любви, в которой так много было поэтической души, сродни некрасовским стихам. Я унаследовал от них самое важное — честно жить, добывать самому трудом кусок хлеба, самому прокладывать дорогу в жизни, приходить на помощь человеку.

— Если вот тут есть, — прикладывая руку ко лбу, говорил отец, — сам пробьешь дорогу в жизни.

Из головы не выходило, что же дальше? С чего же начинать пробивать дорогу? Хотелось быть геологом — мальчишеская мечта. Не сбылась. В войну я столько перекопал земли от Москвы до Берлина, столько вырыл окопов, что наверно, мог бы сам прорыть канал Волга — Дон или добраться до залежей угля, однако в геологи я не попал.

Жить надо было начинать сначала. Четыре года на фронте выпадали из прожитых лет. В душу закрадывалась отчаянность. Многие глушили ее водкой, приглашали и меня. Они ударились в мистику. Знакомый лейтенант- фронтовик, начитавшись Библии, пошел секретарем к архиепископу, а меня райком направил на службу в госбезопасность.

Отец, некоторое время служивший там, возражал. Уже находясь на службе в грозном учреждении, я как–то

разоткровенничался дома, не ссылаясь на советчика, сказал, что жить надо одним днем. Мать долго смотрела на меня, не ожидала таких слов. Для нее это было ново. Она разубеждала меня, что я был не прав. Я с ней не мог спорить, но оставался при своем мнении.

— Скажи ему, — обратилась она к отцу, — что так думать нельзя.

Она забеспокоилась моими отчаянными убеждениями, представляя меня все еще мальчишкой, как и все матери своих сыновей. Но я ведь был уже ветераном в свои Двадцать один год.

Отец реагировал несколько по–другому. Он не поддержал меня, но и не поучал. Не верил, что у меня укоренились такие мысли и они собьют меня с истинного пути, не драматизировал мои убеждения, хотя в разговоре с ним я стоял на своем, на

беспросветности жизни… «Нам в двадцать было уже по сорок», — как позднее писал Ю. Бондарев.

— Пройдет, — сказал отец. — О завтрашнем дне надо думать.

Вот и весь его отцовский наказ, — присовокупив к нему преднамеренно свое детство, свою жизнь. Она была очень трудной. Закончил так:

— Живем, как и все. И ты поглядывай на всех. Как они… Сам дойдешь и поймешь.

Отец ставил мне в пример моего школьного товарища — Петра, поступившего в институт на заочное отделение.

— Поезжай к нему, поговори, — посоветовал он.

Петр жил в Щекино, недалеко от Тулы, работал на химкомбинате. Стояла дождливая, холодная осень. Шоссе было покрыто жидкой грязью. Я ехал к нему на «Волге» с залепленным лобовым стеклом.

При въезде в город у развилки дорог местные власти выставили огромный фанерный щит, на котором В. И. Ленин в полный рост, в пальто и кепке с поднятой рукой всем проезжавшим, как гласила надпись на щите, говорил:

«Верной дорогой идете, товарищи!»

На Щекинском химкомбинате, что в 5—8 километрах от Ясной Поляны, в то время работали итальянские специалисты, монтировавшие закупленное оборудование. Петр работал вместе с ними, присматривался к монтажу, готовясь стать оператором нового производства. Он обрадовался моему приезду, по дороге домой восхищался итальянской технологией. Горком на удивление иностран

цам обновлял наглядную агитацию. Место для В. И. Ленина выбрали на самом бойком месте, мимо которого шел весь транспорт. Как раз на той развилке шоссе, разбитой тяжелыми автомашинами, образовалась глубокая лужа, не уступавшая знаменитой луже, описанной Гоголем. «Если будете подходить к площади: то, верно, на время остановитесь полюбоваться видом: на ней находится лужа, удивительная лужа! Единственная, какую только вам удавалось когда видеть! Прекрасная лужа!» — писал Гоголь.

По–моему щекинская лужа нисколько не уступала миргородской, с той лишь разницей, что в ней тонули машины.

Каждый раз, когда водители, нажав на газ, пытались преодолеть ее, во все стороны летели брызги черной липкой жижицы, обдававшей и В. И. Ленина на щите.

Он уже был наполовину забрызган, но этого не замечали местные идеологи.

Итальянский инженер, ехавший с нами по приглашению

Петра, обратился ко мне с просьбой перевести ему, что написано на плакате над поднятой рукой В. И. Ленина.

Я велел переводчику, сидевшему между ним и Петром, перевести. Однако переводчик усомнился, стоит ли переводить. Он стеснялся. Уж слишком не к месту была выставлена наглядная агитация, словно в насмешку над Ильи- чем и над всеми нами.

Ревели машины, попадая в эту лужу, глохли моторы, образовывались пробки, барахтаясь в грязи, безбожно ругались шофера. Наша «Волга» тоже стояла в веренице машин, которым предстояло преодолеть лужу. Я не знаю, как переводчик перевел надпись на плакате, но последовал вопрос итальянского инженера:

— А при чем здесь Ленин?

— Переведите, что Владимир Ильич здесь абсолютно ни при чем.

— Я тоже так думаю, — согласился инженер, голосовавший, как он сказал, на выборах в Италии за коммунистов.

В эту минуту машина заглохла.

— Свечи залило, — сказал шофер, вылезая из-за руля.

Я тоже спрыгнул в холодную выше колен жижицу.

Кое-как мы выбрались из лужи на канате подцепившего нас грузовика. Завезли Петра, итальянца и переводчика на квартиру, а сам я сгоряча поехал в горком партии к секретарю. Рассказал ему о луже и замечании итальянца.

— Неужели? — удивился он. — Наши бы этого не заметили.

— Привыкли к такому, — поправил я его. — К грязи…

Он тут же стал при мне кому-то звонить, наверное,

дорожникам, чтобы немедленно засыпали лужу.

К Петру я не зашел в этот раз. Мне неудобно было появляться у него мокрым и в грязи в присутствии степенного иностранца, присматривавшегося к нашим порядкам.

Через неделю, как мне позвонил Петр, плакат сняли, а лужа еще долго оставалась препятствием для автотранспорта, пока мороз не сковал грязь. Осталась глубокая колея, которую, чертыхаясь, с трудом преодолевали шофера, газовали во всю, рвали машины.

2

В другой раз, расспросив Петра о его учебе в институте, я тоже поступил на заочное отделение факультета иностранных языков. Засел за учебники, ездил на сессии, не допускал задолженностей.

В гостинице, как всегда, места для бедного студента-заочника не оказалось. Я вынужден был довольствоваться адресом, данным мне в институте, который еще надо было найти за городом, в рабочем поселке, где мне пришлось некоторое время работать. Поселок оставил у меня не лучшие воспоминания: неуютный, с густо дымящими трубами металлургического завода, мертвой речкой с поржавевшей водой, непролазной в ненастье грязью на дорогах и облаками пыли, клубившейся летом за каждой машиной.

Хозяева оказались приветливыми, отвели мне отдельную комнату с круглым, под абажуром, столом, диваном и старинным буфетом, заставленным посудой с коллекцией рюмок. Окно выходило на заводские трубы и доживавшую свой век деревеньку, зажатую между поселком и заводом.

Хозяин и хозяйка, им было под сорок, утром уходили на работу, а их малолетний сын Вовка отправлялся в школу. В квартите наступала благодатная тишина. Я набрасывался на книги и конспекты, готовясь к зимней сессии. Подготовка начиналась с прослушивания передачи «Взрослым о детях». Я удивлялся ведущей, так складно наставлявшей родителей поучительным тоном, угадывавшей наперед все семейные проблемы и тут же без паузы выдававшей советы, как поступить в том или ином случае.

Она так искусно развязывала сложнейшие ситуации, что, казалось, никаких белых пятен в воспитании детей не существует.

Иногда на время передачи Вовку закрывали в другую комнату, а сами хозяева тихо переговаривались:

— Слышал, как надо воспитывать?

— Слыхал, — скептически махал рукой хозяин, шофер грузовика, приземистый мужчина, от которого несло бензином.

Из квартиры я выбирался обычно во второй половине дня, когда давала о себе знать усталость и в голову уже больше ничего не лезло. К этому времени из школы возвращался Вовка и все чаще из-за любопытства заглядывал ко мне в комнату.

Я одевался и шел на прогулку, на свежий морозный воздух. У двери меня караулил Вовка, мужичок–с-ноготок, с санками в руках, в валенках и большой мохнатой шапке, нависавшей на

глаза. Учился он в третьем классе, рассказывать о школе не любил, односложно отвечал на вопросы, о домашнем приготовлении уроков не заботился. Сидеть за столом, над тетрадками было для него мучение. Я охотно брал его с собою, совмещая прогулки с проверкой на практике некоторых положений педагогики, по которой предстоял мне экзамен.

* * *

…В этот день я остановился на педагогическом эксперименте, сущность которого, как было записано в учебнике, заключалась в опытной проверке методов, приемов учебно- воспитательной работы.

С этими мыслями я и вышел с Вовкой со двора на улицу.

Поселок был завален снегом. По узким протоптанным дорожкам мы направились к железнодорожной насыпи, где уже была опробована крутая горка, спускавшаяся к замерзшей реке.

Многим приходилось уступать дорожку, сталкиваясь лицом к лицу. В них можно было увидеть все, стоило только чуть–чуть присмотреться. Что ни человек, то характер, что ни мимолетная картинка, то жанровая сцена из жизни рабочего поселка.

Мы подходили к улице, по которой беспрерывным потоком к заводу шли тяжелые грузовики. Вовка засмотрелся

на громадный желтый автомобиль, в кабину которого можно было забраться только по лесенке, поскользнулся и упал под ноги бабке в длинном, с чужого плеча потертом плюшевом пальто, несшей погребальный венок, как щит, которым она прокладывала себе дорогу. Прохожие ей уступали место, сторонились, а Вовка распластался поперек дорожки и бабка с венком упала на него. Я поспешил поднять бабку и венок из раскрашенных чернилами стружек, который нисколько не пострадал, но бабка кричала на всю улицу:

— Ух, каких хулиганов наплодили…

Вовка вскочил, испуганно моргал глазами, спрятался за меня. На крайне непедагогические причитания бабки я только неодобрительно качал головой, пытаясь молчаливо уладить конфликт. Меня сдерживал венок в руках бабки, а она по–своему поняла мое терпение и с таким воинственным видом наступала на нас, что нам пришлось пятиться назад в снежный сугроб.

— Нехристи несчастные, с ног сшибают старого человека… — расходилась бабка.

Своими маленькими, прищуренными глазами, в которых мигали злые огоньки, она искала Вовку, заглядывая за мою спину.

— Извините, мальчик поскользнулся…

Я взял Вовку за руку и поспешил с места происшествия. Пожурил его, чтобы он был повнимательней на улице. В ответ Вовка только шмыгал носом.

Проходя мимо трамвайной остановки, в том месте, где трамвай описывал широкий круг перед нагромождением киосков, я увидел лежавшего на снегу пьяного мужчину. Его протянутые ноги почти касались трамвайных рельс. Длинное замусоленное пальто на пьяном было расстегнуто, полы разлетелись в разные стороны, рубашка подвернулась так, что виднелся посиневший от холода живот. Скрюченные пальцы красных рук как грабли лежали в снегу. Рядом стояли мужчины, поджидая трамвай, спокойно курили, безразлично поглядывая на пьяного. Настойчиво дребезжал звонок. Не доезжая до остановки, вожатая остановила трамвай, придерживаясь за поручни у двери, властно крикнула:

— Эй, мужики, ну-ка оттащите его!..

Двое неохотно бросили сигареты, подхватили под руки мертвецки пьяного и поволокли к киоску «Пиво», прис

нили спиной к покрытой морозным инеем стенке под окошком, из которого валил пар.

Вожатая, не похожая на женщину, в мужской шапке и черной шинели, как атаман стояла в дверях вагона и со злорадством наблюдала за этой сценой, приговаривая:

— Хорош… Ну и нажрался, паразит! Застегните ему штаны. Он же весь мокрый, а то отморозит и нечем будет жизнь скрасить!

Кто-то на остановке загоготал, другие отвернулись, будто не слышали.

Вовка шел позади меня, тащил за собою санки, все видел и слышал. Мне как-то хотелось заслонить собою эту сцену, но я мог только крепче сжать его маленькую, хрупкую руку и этим как-то отвлечь его.

— А вон еще такой же бухой, — показала ключом вожатая на пьяного, который цеплялся за забор, но еще держался на ногах.

Мороз пощипывал пальцы и уши, а он, упираясь головой в забор, был без шапки. Прохожие не обращали внимания ни на того, который сидел у киоска, ни на этого, медленно приближавшегося к сидячему. «Наверно, дружки пили вместе» — подумал я.

Вожатая вышла из вагона и, протирая покрывшиеся инеем стекла кабины, бубнила простуженным голосом:

— Нажрались, черти… Вагон, что, должен стоять из- за них, или как лошадь объезжать? Посмотри на них! Другие бы концы отдали, а таких никакая зараза не берет.

Я поспешил с Вовкой свернуть с трамвайной улицы, поднял воротник пальто, закинул руки назад и так шел со своими думами, ни на кого не глядя.

— Что мимо проходишь? — окликнул веселый голос.

Я оглянулся. Рядом стоял Чайкун. Да, Семен Чайкун,

бывший сослуживец. До меня доходили слухи, что он работал где-то на рынке. Накинутое на нем, как на распялке, пальто с пожелтевшим от курева серым каракулевым воротником, насквозь пропахшим табаком, было застегнуто на единственную пуговицу, повисшую на ниточке. На месте других пуговиц виднелись только оборванные нитки. Я с ходу стал корить его за такой вид и за то, что он был пьян.

— Говори, что хочешь, все будет правильно. Но — не мог! Кореш угостил. Как отказаться? От угощения не отказываюсь — это мое правило. На доброту людей нельзя отвечать слюнтяйством. Надо быть рыцарем!

— Выпивохой, а не рыцарем. У тебя же язва, ранение.

— Правильно. В этом вся философия. Язва, а у меня принцип — я не отказываюсь. Сам себе причиняю боль, а пью. А почему? Только без проработки. Не люблю слишком умных. Попробуй ответь.

Семен не давал сказать мне слова. Рассуждал громко. На нас смотрели. Мне хотелось быстрее уйти от него, увести Вовку, чтобы он не слышал его «философию».

— А доктора зачем? — спрашивал Чайкун. — Пусть лечат. Мое дело пить, а их дело лечить. Что с меня возьмешь? Ничего. Что, не так? Только давай без проработки. Я все знаю и понимаю. На раздумье тебе скажу, от чего ты ахнешь. Желудок-то мой! И у меня болит. И молчи… Я все наперед знаю, что ты скажешь.

Семен, кажется, чем больше говорил, тем сильнее пьянел. Он стал пошатываться, лицо его не горело, а синело. Глаза на какое-то время застывали в одном положении, язык заплетался. Чайкун впал в плаксивость. То он жаловался на свою судьбу, то проклинал жену, а потом вдруг стал с умилением говорить о маленьких внуках.

— Только они ждут деда. А так все осточертело. Нет у меня дома. А раз дома нет, и жизни нет. Бродяга, вот кто я. Заглушить боль в нутре можно только винцом. Другого эликсира еще не придумали. Бросить бы все к черту и куда глаза глядят. Кабы не внуки, убежал бы. Они ждут деда. Вот купил им леденцов. Угощайся, — протянул он сначала мне на ладони липкие леденцы вперемешку с табаком, а потом Вовке, но он отвел руку назад.

— Спасибо. Я тут по делу спешу, извини, — пытался я как-то прервать этот разговор.

— Да брось ты!.. Пойдем по сто фронтовых тяпнем. Закусим холодцом. Могу достать и тебе холодца! Сколько хошь? Ну?.. Кореш работает вон в том киоске. Зайдем к нему. Вот там все и объясню… Когда тяпнешь, все ясно. Пойдем!

Семен ухватил меня за руку и потянул за собой. Я ступил решительно, оторвался от него, облегченно вздохнув. Больше до меня не долетали сивушные пары. Вовка помогал мне оторваться, тянул за другую руку.

— Тоже мне, интеллигенция, — послышалось мне с издевкой вдогонку. — И отпрыск такой же…

Я никак не мог понять, когда успел Чайкун пристраститься к водке. Раньше видел его всегда подтянутым, даже модником, любившим каждый день менять галстуки.

«Что случилось с ним? — думал я по дороге. — Может, его работа на рынке или кореш споил? А может, довела жена, побывавшая в психиатрической больнице?»

На душе стало мутно, чувствовал только маленькую Вовкину руку и крепче ее сжимал. Одни мне уступали дорогу, другие толкали, не моргнув глазом, и не извинялись.

Я поднял глаза, когда чуть не столкнулся с шедшим мне навстречу мужчиной. Прямо на меня налетел Виталий Рыжих, мой бывший сосед по квартире, с тяжелой хозяйственной сумкой в руках. На его лице стало еще больше рыжих веснушек, а виски и брови, как мне показалось, стали кирпичного цвета. Фамилия прямо-таки запечатлелась на его внешности. Много ему приходилось выслушивать из-за этого совпадения всякого рода сравнений, острот, но он, никогда не унывающий, не обижался и это спасало его. Все разговоры он пропускал мимо ушей и от того они как бы обходили его стороной.

— Сколько лет, сколько зим, — как всегда с улыбкой начал Рыжих. — Вот, был на рынке. Битый час стоял на морозе за мандаринами. Не досталось… Пропади они пропадом, можно жить и без них! Вот, нагрузился картошкой.

— Померзнет, — пришлось промолвить, чтобы не разойтись молча после встречи с Чайкуном.

— Да нет. Я на трамвае. Ну, а как ты? Отделом закручиваешь?

— Да что-то вроде этого…

— А я все сметы пересчитываю, урезаю, согласовываю, визирую, возвращаю. Малец твой? Похож. Сидел бы дома и учил уроки, чем на улице мерзнуть. Ну, заходи, если что…

После этих слов Рыжих заторопился со своей тяжелой сумкой. Он и ранее, при любой встрече, всегда мне говорил это свое — «заходи». Оно стало у него обязательным в завершении

любого разговора. Чего-то бы не хватало в нем без этого слова, как карты в колоде. Я ему ничего не ответил, зная, что его приглашение ни к чему не обязывает. И Рыжих отлично знал, что я к нему не заходил и не пойду и от этого мне стало еще больше не по себе.

Я торопился к снежной горке, хотя пора уже было снова садиться за стол, но в этот день везло на встречи. Почти у самого переезда я столкнулся с бывшим студен- том–заочником юридического факультета. Я тоже тогда учился в юридической школе и мы даже иногда обменива

лись конспектами. После окончания института у него все складывалось так, что ему все завидовали. Он сразу пошел работать помощником прокурора. Давно я его не видел, но говорить с ним в таком настроении не хотелось и я думал, как бы мне его обойти. Еще не поздоровавшись со мною, он сразу же достал из кармана папиросы и протянул мне вместо приветствия. Всем своим видом я давал ему понять, что тороплюсь и не намерен с ним задерживаться.

— Не приучился? — спросил Игорь, не замечая Вовку и моей сдержанности. — Это хорошо. А я вот не могу без курева.

Небритое его лицо покрылось большими темными пятнами с синими оттенками по краям, а посередине продолговатой картофелиной выделялся красный нос. Игорь часто затягивался и старался не дышать на меня, закрывая то и дело рот рваной перчаткой. Руку от рта он почти не убирал. Выглядело это по–смешному. Уж слишком деликатно собеседник заботился обо мне, чтобы не обдать запахами, которые прорывались изо рта.

Я отослал Вовку к снежной горке, обещая подойти к нему не задерживаясь. Меня все больше раздражало в собеседнике то, что он беспричинно улыбался, старательно закрывая рот, очевидно, полагая, что я не замечаю этого. Табачный дым забивал в какой-то мере запахи и получался букет, от которого, наверное, пропадала бы моль.

— Торопишься? — поинтересовался я с надеждой на то, что он быстрее уйдет с дороги.

— Куда мне торопиться? Уволился. Подыскиваю работу. Все шло о’ кей, а потом… В общем, нашелся один тип, который подсматривал в замочную скважину и записывал в свой талмуд каждый мой шаг, а потом все преподнес начальству на блюдечке с каемочкой. Хороши людишки? А?.. Как в пьесе Островского.

Игорь еще что-то говорил, но я плохо его слушал. Можно было понять, что уволили его за какие-то нарушения и пьянство. Но он зачем-то распинался передо мною, пытаясь доказать, что нарушений не допускал, а пил культурно, как и все.

— Закон пить не запрещает. Следовательно, закона я не нарушаю. За обедом рюмку пропускаю, как французы вино. Все культурно. За что увольнять?

Какому-то дружку давал машину для поездки на Кубань. Спидометр накрутил больше полутора тысяч кило

метров и теперь его обвиняют чуть ли не в преступлении.

— Человек просил. Ты бы отказал? — спрашивал он меня. — А теперь мне говорят: «Мало, что тебя просили, ты не должен был нарушать». Все правильно. Законы я знаю. В них не написано, что прокурор не человек.

Игорь, видимо, решил выговориться, но я ему не сочувствовал.

— Привезли несколько бочек домашнего вина, разделили… Винцо, я скажу тебе — во! — показал он большой палец.

— Извини, я пошел. Меня ждет Вовка.

— Я провожу.

— Спасибо, не надо. Я спешу.

— Нет, ты только подумай, — не отставал Игорь, — какой гусь. Я ему машину, а он мне такую свинью подложил. Вино вместе пили, и вот — на тебе на закуску…

Игорь бросил окурок, но тут же спохватился и закрыл рот замусоленной перчаткой, как будто у него болели зубы.

— Будь здоров. Извини, спешу…

— Понимаю. Да… Хотел у тебя подстрелить червонец. Чуть было не забыл. А?

Все это было заранее им обдумано, но плохо разыграно. Я видел глуповатую улыбку на его лице и стремление показать, что эта мысль пришла ему в голову неожиданно.

Я показал ему двадцать пять рублей. Меньше у меня не было. Пожал плечами и уже шагнул от него.

— Это мы сейчас, — выхватил он у меня из рук деньги и побежал к киоскам. Мне ничего не оставалось, как ждать его.

— Вот, получи сдачу. Я тебе отдам. Сейчас у меня кризис. В карманах пусто, а душа требует. Нервы натянуты, как струна. А пропустишь стаканчик–другой красненького, стимулятора бодрости, шарики сразу вращаются быстрее и жизнь становится не такой уж кислой. Скажу больше — хочется жить.

Я заметил, что руки у него дрожали. Он меня уже не слушал. Я ему больше был не нужен. Он искал что-то глазами по сторонам.

— Я отдам, — сказал он еще раз и, отходя, добавил: — Рассчитаюсь, как в английском банке!

* * *

На квартиру я вернулся поздно, нарушив обычный распорядок. И хотя надо было приниматься за педаго–гику, я ходил по комнате и никак не мог сесть за стол.

Из кухни до меня доносился тихий разговор хозяйки с Вовкой. Я пошел к ним в надежде на то, что мое настроение поправится за разговором с ними. Рассудительная, деловая хозяйка, работавшая товароведом, только и заботилась о том, чтобы сын хорошо учился в школе.

Вовка пил ситро и закусывал черным хлебом. Его любимое блюдо, — объяснила мать. Я с интересом смотрел на него, завидуя его аппетиту. Он понял мое удивление и сказал:

— Вкусно!

Беседа с Вовкой на кухне не получилась. Мать начала торопить его садиться за уроки, а когда он стал затягивать свое пребывание за столом, она напомнила ему, что надо слушать маму и папу. Вовка не переносил этих разговоров, дерзил.

— Я все уроки сделал.

— Ты еще задачку не решил и не читал.

— Нет, читал.

— Отец, — позвала мать. — Почему ты не смотришь за ним?

— Как не смотрю, — появился он сразу же с ремнем и стал за спиной Вовки. — Я ему говорил — учи уроки.

У отца, как я заметил, поблескивали глаза. Видно, он уже пропустил не одну рюмку самогонки собственного приготовления. Об этой привычке отца Вовка знал, потому что после этого у него прорывался воспитательный зуд с применением ремня. А так обычно отец молчал или вел со мною неторопливый разговор о выпивках, оправдываясь, что пьет он в меру, только дома, деньги на водку не транжирит, семью не разоряет.

— Я не какой-нибудь выпивоха, под забором не валяюсь. Я дома после работы перед ужином пропущу шкалик и точка.

— Шкалик?.. — с ехидцей подхватил Вовка и почему-то нарочито громко и неестественно закатился смехом. — Шкалик–бухарик…

— Замолчи, зараза. Ну, что с ним делать?.. Ты лучше слушай училку на уроках и не вмешивайся в разговор старших, — пригрозил отец ему ремнем.

«Зараза» поразила меня. Не будь за столом Вовки, я непременно бы отчитал отца. Но оставалось только укоризненно посмотреть на воспитателя. Он, кажется, понял меня, потому что на его сконфуженном лице мелькнула

улыбка, непонятно что означавшая, и он опустил ремень под стод.

Его посеревшее лицо с прилипшей к низкому лбу прядью слипшихся волос поражало в этот момент своей тупостью.

— Я бы в учителя, Алексей Иванович, ни за что не пошел, — сказал хозяин.

— Это почему же?

— В школе с чертенятами никакой справы нету. Возьмите нашего… Что с него будет?

— Пойдем, Вовочка, пойдем, — уводила мать в другую комнату сына, услышав рассуждения мужа.

Вовка неохотно встал и под конвоем отца шел в. комнату, где стоял его письменный стол.

— Читай задачку, — ласково предложила мать, подсовывая ему поближе учебник. Вовка молчал. Мать сама начала читать условия задачи. Вовка думал о чем-то другом, смотрел в окно, закатывал глаза к потолку, когда мать рассуждала:

— Значит, так: сорок отнять семнадцать… Сколько будет?

Вовка долго молчал. Мать торопила его.

— Двадцать, — ответил он, продолжая смотреть в окно.

— Издеваешься? — угрожающе спросил отец.

— Вовочка, читай задачку, — ласково просила мать.

— Не буду.

— Не купим елку, — сказал отец.

Сын недоверчиво засопел, ноздри его раздувались гневно.

— Будешь хорошо учиться, пойдем во дворец культуры.

— А что там делать? — спросил Вовка и перестал сопеть.

— Ты что? Тогда не возьму на елку.

— Не надо. Мне там не интересно.

— Читай.

— Не буду.

Послышались шлепки ремнем. Вовка хныкал, а потом стал вызывающе громко смеяться, называя отца академи- ком–бухариком. Мать опять начала упрашивать сына учить уроки. Он сидел за столом и долго шмыгал носом.

— Назови времена глаголов, — просила мать, когда с задачкой было покончено. — Ну, какие?

— Сказуемое и подлежащее…

— Да нет же, — с раздражением прервала она Вовку.

— Там написано так.

— Учил? И ничего не понял? — громко спросил отец.

Вовка молчал. Еще некоторое время он сидел за столом.

Отец и мать громко совещались на кухне. Они спорили, как поступить с сыном. Вовка все слышал. До меня тоже кое-что долетало.

— Он же видит, как ты каждый день пьешь, а потом

начинаешь воспитывать его ремнем. Он все понимает. Горе мне с вами, — притихла надолго хозяйка, наверное, со слезами на глазах;

— Пора спать. Кому-то завтра рано вставать, — заглядывая ко мне в комнату, сказал Вовка.

— Вов, пойдем ноги мыть, — позвала мать.

Вовка пошел не сразу. Отец сопровождал его с ремнем.

— Ну, бей, бей.., — говорил Вовка. Он повернул снова ко мне и пожаловался, что его бьют, гулять не пускают, лыжи не покупают. Очень просил взять его завтра на прогулку.

Я обещал ему пойти сразу к нашей горке, другой дорогой, чтобы нам никто не встретился.

— И никто не помешает?

— Никто. Обещаю.

-— Ура! — закричал Вовка. — А его не возьмем, — уже шепотом добавил он, подойдя поближе ко мне.

— Кого?

— Его. С ремнем…

Вовка поставил меня в довольно затруднительное положение. Что ему сказать? Как реагировать на его слова? Под дверью стоял отец. Ситуация была довольно сложной. В учебнике по педагогике ответа я не находил.

Обрадованный моим обещанием Вовка побежал в ванную. Мать мыла ему ноги и упрашивала учить уроки, а он ей говорил, что все уроки выучит и пойдет со мною гулять.

Я прикрыл плотнее дверь и ждал, пока все улягутся и в квартире воцарится тишина.

Для того, чтобы выполнить намеченную программу, мне предстояло проштудировать еще несколько глав по педагогике. Однако работать учителем мне не пришлось. Судьба распорядилась по–иному, забросив меня туда, где я закончил войну, на долгие годы.

3

Г оды словно промелькнули…

После возвращения из Германии последовало настойчивое приглашение поехать на работу в Калининград, бывший Кёнигсберг. Я просил дать мне отдышаться, однако меня уверяли, что лучшего места для отдыха, чем Калининградское курортное взморье, не найти. Даже расписывали уникальную Курскую косу, протянувшуюся узкой длинной лентой, отделявшей залив от моря, песчаные пляжи, к которым примыкают янтарные сосны и другие красоты этого края.

Для меня же этот переезд означал возвращение в Германию, порядочно приевшуюся за те долгие годы. Мне хотелось побыть дома.

Уговоры продолжались. Один из беседовавших со мной, видимо, любйтель рыбалки и охоты сказал, что залив богат рыбой, а на косе много дичи.

— Вот только обком партии наложил запрет на посещение косы. Даже туристам нужно истребовать разрешение, чтобы пройти по ней. Но думаю, вы найдете общий язык. Кому, как не вам, работать в Восточной Пруссии…

Уговорили. К тому же у меня не складывались отношения с тульским начальником — Полубинским, коньюнктур- щиком, с которым я работать не мог. В бытность Шеле- пина и Семичастного он нос держал по ветру, комплектовал руководящий состав только из комсомольских работников, претендовавших сразу на высокие должности, разгоняя и увольняя неугодных ему оперативников.

— Ты попал в тираж, — объявил он мне на первой же беседе. — Тебе уже за сорок.

— Что же я, лотерейный билет? Никому не нужная бумажка?

— У тебя с фронтовыми наберется на пенсию.

Разговор прервал телефонный звонок.

— Та ничего особенного, — отвечал Полубинский, откинувшись на спинку кресла с телефонной трубкой в руке.

— Отвоевался солдатик. Ха, ха, ха… Привезли в цинковом гробу. Много шума из ничего. Все будет в ажуре. На всякий случай пошлю наряд.

Я не мог больше слушать этот разговор. Видимо, у кого- то в обкоме вызвали беспокойство предстоящие похороны откуда-то привезенного погибшего солдата. Вышел.

* * *

…Случилось неожиданное. Комитет госбезопасности возглавил Ю. В. Андропов. Нас, сорокалетних «стариков», оставили в покое. Полубинский стал слащаво заигрывать с теми, кому он объявил об увольнении, и запел по–другому, но оставаться с ним я не мог.

…Вскоре после переезда в Калининград, меня на беседу пригласил секретарь обкома, Коновалов Николай Семенович. В просторном, темноватом кабинете сидел за большим столом в белой рубашке при галстуке пожилой мужчина. Он не встал и не вышел мне навстречу, как это было везде в подобных случаях. По его жесту рукой я уселся в мягкое кресло. Беседа началась с рассказа о работе в ЦК партии и как его направили в Калининград. Потом он заговорил о бывшей Восточной Пруссии и проблемах обустройства Калининградской области, которые придется решать. Область была заселена переселенцами из России и Украины, однако долго они не задерживались. Как только осложнялась международная обстановка, особенно в Германии, сразу же ощущался заметный отток населения: контейнеры на железных дорогах разбирали нарасхват, бросали все и уезжали.

— Немцы здесь сидели столетия, постоянно угрожая Руси, но не знали, на чем сидят. Мы тут нашли нефть, добываем янтарь. Они загалдели о старинном Кенигсбергском университете, в котором преподавал Кант. Там мы открыли университет, восстановили зоопарк, отстраиваем разрушенный город.

Мне пришлось сказать, что Калининград все же производит впечатление запущенного города. Особенно бросается в глаза неухоженность района, застроенного особняками, коттеджами.

— Что вы хотите… Мы здесь еще и тридцати лет нет, — не совсем понравилось Коновалову мое замечание. — Когда я работал в ЦК, мне приходилось бывать с проверками в Туле. Старинный город с Кремлем, а как запущен. Я не видел нигде ничего подобного. А что там за магазины? Какие-то забегаловки. Я стыдил тульских товарищей. А посмотри у нас… Одни «Дары моря» чего стоят, «Янтарь»… На диво всему миру.

Да, это были хорошие магазины, заваленные свежей рыбой и янтарными изделиями. Такими магазинами можно было гордиться. Коновалов спросил меня о работе. Оживился, когда я сказал, что воевал в Восточной Пруссии,

награжден медалью «За взятие Кенигсберга», пришлось работать много лет в Германии, в разведке.

— Поэтому и направили к нам. Кого же еще…

— Наверное. Дети посмотрели на дома с черепичными крышами и сказали: «Снова приехали в Германию».

— Нет, нет, — улыбнулся Николай Семенович. — В'наш Калининград. У нас тут агентура, безусловно, есть. Но вот что-то разоблачений нет. Не может быть, чтобы немцы не засылали к нам агентов. Они спят и видят Кенигсберг и Восточную Пруссию. Здесь же короновались в замке прусские короли, отсюда совершали набеги на славян. А это славянские земли! От того замка остался только фундамент, а Пруссии больше нет.

Западные немцы, восточно–прусские землячества в ФРГ, постоянно напоминали о себе калининградским властям. Слали письма «бургомистру Кенигсберга» по самым различным вопросам. Требовали справки о работе, запрашивали сведения о родственниках, об оставленном имуществе и захоронениях. Не получив ответа, совершали нелегальные набеги из Литвы, раскапывали свои тайники, оставленные при выселении из Восточной Прусии, забирали посуду и другую утварь.

Немало приходилось заниматься проверкой сообщений о местонахождении янтарной комнаты. Приходили письма от бывших наших военнопленных из Польши, Г ермании, Австрии и даже Австралии, в которых авторы описывали, как очевидцы, где она зарыта немцами при отступлении, и даже прилагали схемы, как ее можно найти.

Один из авторов, поляк, утверждал, что ящики с янтарной комнатой закопаны в траншеях на вилле Коха. Виллу нашли. Там размещался детский сад, а двор, где в войну были траншеи, засажен фруктовыми деревьями. Никаких следов войны в окружении виллы не было. Да и сама вилла уцелела неповрежденной. Тем не менее решили проверить. Прокопанные шурфы ничего не дали. Другой автор писал, что может показать на месте, около королевского замка, где он засыпал ящики с янтарной комнатой. Его пригласили в Калининград. Я с ним поехал на место. Увы, он не смог указать, где стоял замок. Из-под земли выглядывал только угол его фундамента, и он растерянно разводил руками.

Николай Семенович выслушал это с интересом и предложил активно искать комнату.

— Она где-то здесь, — сказал Коновалов, —Не могли ее увезти отсюда немцы в суматохе.

Я тоже склонялся к этому, так как в то время немцам, конечно, было не до янтарной комнаты, да и крепость Кенигсберг они не собирались сдавать.

Начальник оборонявшейся крепости генерал Ляш 4 апреля 1945 года в обращении по радио к войскам гарнизона и

населению Кенигсберга уверял:

«Для того, чтобы рассчитывать на успех штурма, русские должны будут стянуть огромное количество войск, штурмовой техники и артиллерии. Слава богу, они практически не в состоянии этого сделать».

А 9 апреля вечером Ляш заявил:

«Это невероятно! Сверхъестественно. Мы оглохли и ослепли от вашего огня. Мы чуть не сошли с ума. Такого никто не выдержит…»

В Кенигсберге осталась одна–единственная местная немка, женщина средних лет, бухгалтер жилищной конторы, не пожелавшая выехать из своего родного города в Германию. Мне приходилось с ней встречаться и беседовать. Хотелось понять ее, почему она так поступила. У нее были родственники в Западной Германии, однако ехать туда она не собиралась. Она хорошо, даже без акцента, говорила по–русски, была довольна жизнью. Ее никто не притеснял. Наоборот, сослуживцы относились к ней с большим уважением, как к какому-то уникальному явлению всего Калининграда. Я об этом тоже поведал Николаю Семеновичу.

Прощаясь, он даже рассказал мне анекдот, который, видимо, по его намекам, я должен был передать Палкину, моему начальнику.

«Встретились двое. Разговорились. — Чем занимаешься? — Работаю. — Где? — В научно–исследовательском институте. — Что же ты там делаешь? — Как что? Занимаюсь новым направлением в науке. — Но, позволь… — усомнился собеседник, зная своего знакомого… — Понимаю… Я тебе поясню и ты все поймешь. Толкать вперед науку я не могу. Г олова не начинена соответствующим материалом. Назад толкать науку невозможно, сам понимаешь. Мне остается толкать ее в бок. Что я и делаю».

Николай Семенович тихо, с хрипотцой рассмеялся, но глаза его оставались бесцветными.

В Управлении меня поджидал Палкин. Он поинтере–совался, о чем шел разговор у секретаря обкома. Я рассказал и он облегченно вздохнул.

На другой день Коновалов срочно вызвал Палкина к себе. «Наверное, что-то случилось», — подумал я. Алексей Петрович, как всегда, нервничал. Ему не хотелось к нему идти, но послать кого-то вместо себя в этот раз он не мог. Иногда он направлял Ломакова Виктора Алексеевича, своего зама или меня, сославшись на болезнь или неотложные дела.

— Вы знаете, что дом залило водой? — спросил его Коновалов, как потом рассказывал мне расстроенный Алексей Петрович.

Палкин ответил, что ему ничего не известно. Коновалов отчитал его за то, что он ничего не знает, что творится в городе.

— Что же это за контрразведка? — возмущался он. — Построили новый дом и перед заселением кто-то с верхних этажей затопил все квартиры подъезда. Весь город знает, а вы не знаете. Как прикажете это понимать?

Палкин пытался объяснить, что это не дело контрразведки. Строители должны нести ответственность или же те, кто принимал дом. Коновалов настаивал на своем: «Должны знать». Приказал расследовать, квалифицировав чью-то халатность или безответственность вредительством.

— И про собаку не знаете?

— Нет, — ответил Палкин. — Что за собака?

— Это я у вас должен спросить. Что же это за служба, ничего не знает, — сокрушался Николай Семенович.

Оказывается, в его приемную позвонил с вокзала какой-то полковник, направлявшийся в отпуск. Полковника с собакой не пускала в вагон проводница. Жена с собакой стояла у вагона, а полковник побежал звонить секретарю обкома, так как ни бригадир поезда, ни дежурный по вокзалу не могли разрешить этот инцидент. Из-за этого даже задержали отправление поезда.

— Расследовать и доложить, — приказал Коновалов. — На железной дороге должен быть порядок. Нарушение графика движения поездов — это тоже вредительство. А вы не знаете…

Алексей Петрович принял указание к исполнению, однако посмел заметить, что у нас нет вагонов для перевозки собак, как это принято в других странах. Однако Николай Семенович это весьма существенное разъяснение не принял во внимание.

Когда пришло время для докладов о «вредительстве» в доме и о собаке, Палкин позвонил Коновалову, однако, тот его не принял, а на следующий день пожелал заслушать меня по результатам расследования.

Алексей Петрович сидел за столом сам не свой. Даже попросил у меня закурить.

— Иди, тебя приглашает. Доложишь, что виноваты строители и железная дорога. Вот тебе справка, тут все написано.

По неизвестным мне причинам Палкина он не терпел. Целый год он не вручал • ему какую-то медаль, которой был награжден Алексей Петрович. В Комитете знали об этом, однако никто не решался позвонить Коновалову и напомнить, почему он задерживает у себя награду.

Николай Семенович принял меня без задержки, как только доложила ему секретарша. Мне показалось, что он побледнел, говорил с хрипотцой, тихо. Может, ему не здоровилось? Никаких

замечаний от него я не услышал, кроме того, что контрразведке надо знать все.

Я попытался ему объяснить, чем занимается контрразведка в закрытой для иностранцев пограничной области, по соседству с Польшей, о контакте с контрразведкой Ольштинского воеводства, рассказал об имеющихся материалах в отделе, над которыми работаем. Он не знал о задержании лодки с супружеской немецкой парой из ГДР в нейтральных водах балтийского побережья и передаче их властям ГДР.

Николай Семенович запомнил, что я работал в разведке и, наверное, это обстоятельство заставляло его несколько по–другому, чем к Палкину, относиться ко мне.

— Значит, разведчик… Как-нибудь на досуге потолкуем.

— Не возражаю.

— Расскажешь, как там немцы… Надеюсь, вы имели на той стороне своих людей?

— Имели.

— Русские прусских всегда бивали, русские в Берлине бывали, — многозначительно заметил Николай Семенович.

Иногда, минуя начальника Управления, он звонил мне напрямую и требовал доложить, почему кого-то пускаем или не выпускаем из закрытой области? Он все хотел знать и чтобы все делалось только с его разрешения или санкции…

Не уступал ему и Ломаков, умевший убедительными

доводами отстоять свою точку зрения. Он его тоже часто приглашал с докладами и относился к нему с уважением.

4

Рассказывать Коновалову, «как там немцы…», пришлось только однажды. Меня не пускали на Курскую косу в воскресенье. Машина стояла у шлагбаума, милиционер рассматривал мое удостоверение. Вдруг подъехал на «Волге» Николай Семенович, милиционер поспешил поднять шлагбаум. Он велел пропустить меня, предупредив, чтобы я ехал за ним. Мы долго с ним гуляли в лесу. Рядом плескалось прохладное море, а по другую сторону — залив.

— Так, как там немцы, Алексей Иванович? — напомнил мне Николай Семенович.

«Поэт Федор Иванович Тютчев, — хотел я начать со вступления, — в письме из Мюнхена, где он служил в Русской миссии, в феврале 1846 года писал домой: «Недавно я получил значок за пятнадцать лет жизни — и каких лет.' — Но уж раз мне суждено было их пережить — примирился с жизнью и со значком — каковы бы они ни были. Кабы только можно было знать…»

Я примерно то же мог сказать. За десять лет службы в Г ермании, за десять лет жизни, получил значок. Если бы можно было это забыть… Если бы не давали значка, нечего было бы вспоминать. Хорошо, что человеческая память способна многое забывать. На этом можно было бы и закончить, но Коновалов ждал. — После войны, — рассказывал я Николаю Семеновичу, — которую закончил на Эльбе, в небольшом городке — Бург близ Магдебурга, дивизия возвращалась в древний Полоцк и я вместе с ней покинул Германию и не думал, что мне придется возвращаться. Однако, после окончания факультета иностранного языка пединститута и специальной Высшей школы, готовившей разведчиков, я снова оказался в Восточной Германии, ставшей к тому времени Германской Демократической Республикой. Прибыл, когда еще можно было трамваем или автобусом проехать в Западный Берлин без всяких пропусков. Нередко я ходил пешком через Бранденбургские ворота в Тиргартен мимо сожженного и разрушенного рейхстага, встречаясь там с нужными службе людьми. Таких людей разведка постоянно ищет. Далеко не все подходят ей и далеко не все идут с ней на

сотрудничество. Нелегкая и неблагодарная эта работа с подстерегающими опасностями и неудачами, особенно на первой стадии ее освоения. Но когда в нее втягиваешься с полным напряжением духовных и физических сил, то уже как будто и не мыслишь себя на другом поприще. Наверное так думает парашютист, привыкая к своей профессии, полной трагических

случайностей. Правда, парашютист с облегчением приземляется на своем поле, разведчик же рискует приземлиться на чужом поле, за решеткой.

Чтобы добраться до цели, найти человека, который бы давал нужную информацию, разведчик всегда находится в поиске, перелопачивает множество «объектов», пока не найдет, на ком остановиться.

С одним из таких «объектов» нашей заинтересованности, вытекающей из поставленной перед службой задачей, был проживающий в провинции Мекленбург учитель, я и поехал к нему, чтобы познакомиться с ним. Идти домой я не решался, можно было получить от ворот поворот с первого шага и загубить проделаннукˆработу, поэтому надо было где-то встретиться «случайно», не вспугнув его, установить с ним отношения, которые бы позволяли перевести их на деловой контакт. Для этого необходима была основа обоюдной заинтересованности в таком знакомстве, вплоть до каких-то общих интересов, не исключая увлечение филателией, рыбалкой или чем-то другим.

Подступиться к герру учителю немецкого языка и литературы, которому было за шестьдесят, было не так-то просто.

Приехав в один из небольших городов округа Нойбранденбург, что севернее Берлина, я сразу почувствовал не совсем понятный мне диалект, на котором говорили местные жители. Это обстоятельство как раз я и избрал одним из предлогов знакомства с учителем.

Я предполагал обратиться к нему за помощью в освоении местного наречия, поскольку предстояла продолжительная работа в Мекленбурге. И мне крайне это нужно было. Оставалось определиться с местом, где можно познакомиться по задуманному мною плану. Дом учителя отпадал, место работы — школа тоже не подходила. Вступать с ним в разговор на улице в городе совсем никуда не годилось. Один его строгий вид, каким он мне представлялся, заставил искать что-то другое. Кафе, пивные и рестораны он не посещал. Солидный немец, надменно посматрива

ющий на все, что проповедовала новая власть, предостерегал меня.

После работы в определенные часы он отправлялся на вечернюю прогулку в парк. Парк был не такой большой и я остановился на нем, в надежде встретиться там. Однако мои вынужденные долгие прогулки несколько дней подряд разочаровали меня. Учителя я не встречал, но зато основательно исследовал парк, побывал на его главной исторической достопримечательности — высоком холме, где была похоронена

герцогиня. Под куполом ротонды — белокаменное надгробие, — лежавшая на постаменте женщина. Старинная скульптура, изваяние итальянской школы, казалась мне выдающимся творением художника. Лицо и фигура выражали скорбь и, наверное, никого ке оставляли равнодушным, это работа талантливого мастера. Я долго не' мог отрешиться от холодного мрамора, от запечатленного в нем бытия смертных.

От этого памятника тянулась заросшая по обе стороны высокими кустами аллея, уводившая в примыкающий лесной массив. По ней я и пошел. Уже где-то на середине из кустов неожиданно выбежала навстречу мне черная овчарка и остановилась передо мною, в трех–четырех метрах, навострив уши. Я тоже остановился, полагая, что она побежит дальше по аллее, минуя меня. Впереди и позади не было ни души. Солнце уже скатилось за макушки деревьев, чувствовалось приближение вечерней прохлады в зарослях.

Похоже было на то, что овчарка меня сторожила, наблюдая за малейшими моими движениями. Не знаю сколько это продолжалось и как долго я должен был оставаться в таком положении. В заднем кармане брюк лежал пистолет и я на всякий случай, прежде чем шагнуть вперед, решил достать его, незаметно, как мне казалось, отводил руку назад. Овчарка тут же насторожилась и готова была к прыжку. Пришлось отказаться от этого намерения и выжидать пока уступит она мне дорогу. Собака, видимо, почувствовала мою робость перед ней, мою нерешительность, хотя я и пытался не показать этого.

Я не знал, что и как нужно было ей сказать на немецком, чтобы она ушла с дороги. Мне показались эти минуты слишком долгими, а агрессивность овчарок, насмотревшись фильмов, когда немцы с ними преследовали партизан и как они рвались по следу уходивших, живо представились в эти минуты. Все это сдерживало меня от решительных

шагов. Я оказался в положении японца, исповедующего «Дзэн», если пошевелиться при самой большой неожиданности — это и будет «Дзэн». А я не мог даже что-то сказать.

Наконец вдали показался мужчина, шедший довольно медленно по аллее мне навстречу. По мере его приближения, я увидел у него в руках поводок. Значит, хозяин собаки, но он не торопился ее окликнуть. Подойдя поближе, он увидел эту немую сцену, что-то сказал овчарке и она отпустила меня, пробежав совсем рядом. Я все еще стоял на месте и хотел высказать ему свое неудовольствие.

— Guten Abend, — поздоровался он со мной. И тут же сказал, что она бы не тронула меня. Просто ждала его, чтобы услышать

от него как ей поступить.

— Так обучена, — промолвил пожилой подтянутый герр.

Мне все же хотелось выговорить ему, чтобы он не

отпускал от себя так далеко собаку.

— Как же должен в таких случаях поступать ее пленник? Ждать, пока подойдет хозяин?

— Не останавливаться, не показывать вида, что вы ее боитесь.

Передо мной стоял высокий немец, худощавый с впалыми щеками и с впалым животом, редкие седые волосы с прямым пробором были гладко зачесаны назад. Все совпадало с моим представлением об учителе. Упускать такой момент было нельзя, хотя я еще сомневался, тот ли это человек, которого я искал. Он, конечно, понял, что имеет дело с иностранцем, а точнее с русским. От этого было никуда не уйти с моим произношением.

— Да, но вы поймите положение человека, который на безлюдной аллее встречается с таким грозным зверем и не знает, что сказать. Не навредил бы я себе, если бы заговорил?..

— Пойдемте со мною и вы убедитесь какая умница Сузи.

Я согласился. Мы шли по аллее, овчарки не было. Потом она вернулась, меня не тронула, но все время была начеку, следила за каждым моим движением. Вышли из парка. Я извинился за свое произношение и сказал, что с трудом понимаю наречие сюсюкающих мекленбуржцев.

— Так же как моя дочь украинцев.

— Она знает русский?

— Преподает в школе.

— Учительница?

— Да. У нее нет практики разговорной речи на русском. Довольно трудном…

— Мне тоже не достает практики.

— Вы говорите **ziemlich gut deutsch, aber wie Ausländer {** Вы довольно хорошо говорите по-немецки, но как иностранец.**}**

С тех пор я навсегда запомнил слово **ziemlich** , которое

почему-то отсутствовало до этого момента в моем словарном запасе. Я не согласился с его оценкой моего немецкого, сказал, что мне далеко до этого и хотел бы брать уроки.

Немец подумал и промолвил, что аналогичное желание и у его дочери, поэтому можно скооперироваться.

Мне как раз это и нужно было. Так мы дошли до дома, где он жил. Овчарка сама открыла калитку и сразу же от нас убежала.

— Эрнст Моритц, учитель, — прощаясь, представился он мне.

Я ему сказал, что работаю в советской военной администрации. Занимаюсь вопросами, связанными с поддержанием контактов с местными властями и населением.

— Вы военный? — последовал неожиданный для меня вопрос.

— Да, майор Воронов, — назвал я свой псевдоним.

Учитель сразу как-то подтянулся, чуть ли не щелкнул каблуками и вытянулся в струнку. Настоящий немец. Видимо он был рядовым или унтер–офицером. Знакомство состоялось, но меня не устраивала неопределенная концовка, поэтому я спросил:

— Вы не могли бы согласиться помочь мне в освоении местного диалекта?

Моритц уклонился от прямого ответа, но я заручился согласием навестить его дома в ближайшие дни, сказав, что ни разу не был в немецкой семье, в домашней обстановке.

— Приглашаю вас зайти ко мне в воскресенье в восемнадцать часов и мы обо всем договоримся за чашкой кофе.

На этом мы и расстались. Я позвонил начальнику, что с учителем познакомился.

— По намеченному плану?

— Овчарка помогла.

— Что? — удивился начальник. — Овчарка?..

[1] Вы довольно хорошо говорите по–немецки, но как иностранец.

— Да, да, я потом расскажу.

— Ну, ладно, отдыхай.

Я с облегчением вздохнул. Но не надолго. Надо было, готовиться к встрече с учителем в домашней обстановке, что не только осложняло предстоящую беседу, но и могло раскрыть перед домашними, а может и знакомыми связь учителя с советским офицером. Лучше бы этого не делать. В какой-то мере нарушалась конспиративность начатой работы. А это крайне нежелательно в разведке.

Идти к учителю литературы, размышлял я, надо конечно не только с каким-то представлением о творчестве Гёте, Шиллера, Гейне, но и что-то знать о «Песне Гильдебранда» и «Песни Нибелунгов», героическом эпосе, т. н. минензон- гах; рыцарской лирике, литературном течении «Буря и натиск» и кое-что другое из обширнейшей библиографии. В институте я читал увлекательные приключенческие романы и рассказы Карла Май, знал его краткую биографию, выходца из бедной семьи ткача. Он стал учителем, сидел в тюрьме, редактировал журнал, путешествовал по Азии и Америке. Его пацифистские взгляды, обличение колониализма и порядков пришлись не по вкусу фашистской идеологии и он был предан запрету. Однако книги К. Мая переведены на 26 языков, а тираж его семидесяти томов достиг шестнадцати миллионов экземпляров. Это была моя

козырная карта на тот случай, если речь зайдет о литературе. Вместе с этим я намеревался испытать и учителя, его познания в русской литературе и отношение к ней.

В назначенное время, ни минутой раньше, ни минутой позже, я постучал в дверь. Моритц, словно стоял под дверью в ожидании гостя. На пороге я увидел овчарку, сопровождавшую меня в квартире. Хозяин познакомил с женой, пожилой седой немкой, в фартуке, накрывавшей стол, и двумя дочерьми — Ингой, учительницей, и младшей — Тони. Место ее работы я сразу не разобрал. Комната была обставлена удобной мягкой мебелью, пол, натертый мастикой, блестел, но чувствовался неприятный запах, к которому хозяева, видимо, принюхались. Меня усадили в мягкое кресло, в котором я утонул. Справа и слева уселись дочери, а у моих ног улеглась овчарка, положив голову на лапы. Она меня сковывала. Я заметил, что Сузи караулит каждое мое движение, водит глазами, наблюдая за мной. А хозяева словно этого не замечали. Я вынужден был

заметить, что, очевидно, их любимица заприметила меня и прислушивается к каждому моему слову.

После этого учитель позвал овчарку к себе. Она неохотно пошла за ним в соседнюю комнату, где он ее и закрыл. Меня угостили весьма скромным немецким ужином (АЬепс1Ьго1) и черным кофе без сахара и сливок. Белые чашки были массивными, тяжелыми и мне показалось, что в другой посуде кофе был бы совсем безвкусным. Хозяева пили его смакуя, с наслаждением. Инга хорошо владела русским языком, даже многое говорила без акцента. Ей было под тридцать, она была не замужем и по–моему в помощи в освоении русского языка не нуждалась. Правда, в разговоре подыскивала какое-то русское слово и на это время замолкала, как и я поначалу не всегда находил эквивалент тому, что я хотел сказать на немецком. И тем не менее она проявила ко мне повышенное внимание, ухаживала за мною за столом, занимая разговорами на русском языке о фильмах итальянского и французского производства, что должны были заметить отец, магъ, сестра. Несколько располневшая, с короткими крашеными волосами, с выпученными глазами, она все время улыбалась. Я подумал, что ей давно пора замуж. Мне пришлось принять ее предложение о взаимном партнерстве в развитии разговорной речи — она русской, я — немецкой.

Старый Моритц жаловался на то, что пришлось бросить всю мебель и многое другое в Бреслау, где они раньше проживали.

— Поляки отнеслись к нам, немцам, безжалостно при выселении. Мы унесли из дома только то, что уместилось на тачке и в рюкзаках. Шли долго пешком, пока не встретился на

подводе советский солдат. Он нас подвез. Мы положили весь наш груз на повозку и километров двадцать пять шли налегке. Поляки ни за что бы так не поступили. Я пристально смотрел ему в лицо. Оно на моих глазах серело, наливалось злобой, презрением к каким-то полякам. Мне было небезынтересно знать позицию старого немца без маски. Мне очень хотелось ему рассказать о миллионах беженцев у нас в войну и миллионах русских, украинцев, белорусов, которых выселяли немцы при отступлении и отправке рабочей силы в Германию, но пришлось воздержаться от этого ˆнамерения.

Старая немка вздыхала, подсказывала мужу кошмар

ные подробности выселения немцев с территории, отошедшей Польше.

— Теперь вы будете иметь представление о немецком ■ужине и как мы живем, — сказал Моритц, —• после изгнания нас поляками.

О литературе и языке речь не заходила. Только Инга перебрасывалась со мной на русском, спрашивала вкусный ли кофе, который она сама приготовила. У меня сложилось мнение, что они имеют весьма смутное представление о наших классиках. Инга мельком упомянула Пушкина, Достоевского, Шолохова, не называя их произведений.

Я не стал разбираться в их познаниях русской литературы, дабы не ставить хозяев в неудобное положение. Да и пришел я с иной целью. Меня интересовали связи Моритца в Западной Германии, особенно одна из них, с тем, чтобы перепроверить имевшуюся на этот счет информацию и определить возможности Моритца в установлении контакта с этой связью.

В эту колею я и перевел без особого труда разговор. Моритцы вспоминали многие родственные связи в ФРГ и ГДР, но то лицо, которое меня интересовало, не называли, несмотря на все мое вынужденное любопытство их родословной. Постепенно раскрывался учитель, не воспринимавший новых порядков в школе и в отношении молодежи. От него требовалось то, что было противно всему его существу, но он затаился. Открывались производственные школы, набирались учителя из квалифицированных специалистов, а он был замешан на тесте старого пруссака.

По мере того, как на лице Моритца сгущалась тень, мне становилась неуютной большая комната, в которой мы сидели за круглым столом.

С развешанных на стене портретов и лиц хозяев, кроме Инги, смотрели чопорные лица с холодными глазами, твердившими, что в ФРГ все лучше: мебель, обувь, пиво, шерсть, овощи,

маргарин и шмальц.

— В свое время Гитлер для меня был великим немцем, которому я поклонялся. Он остался бы божеством для нации, если бы не проиграл войну, — вздохнул Моритц.

Инга взглянула на меня, потом осуждающе на отца. Он замолчал. Она как бы извинялась за него.

— Может вам лучше переехать в Западную Германию? — с умыслом сказал я и уставился на Моритца.

О, нет, я останусь здесь, на шее у Ульбрихта, — ошарашил он меня своим ответом.

«Какой бы русский додумался до этого?» — подумалось мне.

— А дядя Карл хочет сюда переехать, — сказала Инга.

Я сразу же уцепился за дядю Карла. Ход разговора

давал мне повод для этого. Хотелось о нем все узнать, но пришлось сдерживать себя, чтобы не навлечь чрезмерной заинтересованности им.

Дядя Карл, двоюродный брат Моритца, владелец небольшой пекарни и собственного магазинчика, в котором он продавал хлеб в Кёльне, после войны работал в одном из федеральных ведомств, находившемся в этом же городе. Он был несколько моложе Моритца. Должность его в том ведомстве была на самой низкой ступеньке не на лестнице, а под лестницей. Он был что-то вроде рассыльного или посыльного. Все совпадало с тем, что имелось у меня. Важно было выяснить, почему же он хотел переехать на жительство в ГДР. Весьма интригующее обстоятельство, которое неожиданно появилось и следовало учитывать.

* * *

…К нам подошел шофер Коновалова с термосом и чашками.

— Чайку, Николай Семенович.

— Перебил ты, Сашка, на самом интересном месте, но отказываться не будем. Наливай.

Мы уселись на поваленном дереве, пили крепко заваренный, обжигающий чай.

— Значит, дело шло к вербовке, как я понимаю?

— К установлению делового контакта.

— Так, что дальше? — заинтересовался Николай Семенович.

— Дальше… Мне рассказали, что во время одного из массированных налетов англо–американской авиации на Кельн в сорок четвертом или в сорок пятом году все богатство дяди Карла оказалось под обломками разрушенных бомбежкой зданий. От его пекарни и лавки ничего не осталось. Мне в войну не раз

приходилось видеть подобную картину. Люди копались в развалинах, надеясь кого-то спасти, что-то найти, прислушивались, но под горами кирпича стояла мертвая тишина. Наверное, это же пережил и дядя Карл. Сам он случайно уцелел в ка

ком-то бомбоубежище, а вся его семья, трое детей и жена, погибли в тот день. Остался он один и едва не умер с голоду. С тех пор он возненавидел англичан и американцев, не скрывал этого в письмах к Моритцам.

Обвинял он и наци в случившемся. Жил мечтой — открыть свою пекарню, в которой сам за пекаря, и лавку — сам за прилавком. Он знал, что в ГДР допускалась частная собственность, государство поощряло конкуренцию мелких предпринимателей с государственными предприятиями. Намеревался приехать к Моритцам, считая, что в ГДР легче открыть свое дело.

Это все, что мне удалось узнать.

Время было позднее, я не стал задерживаться, испросив разрешения навестить Моритцев в ближайшее время, чтобы договориться о взаимном изучении русского языка и мекленбургского диалекта. Учитель отнесся к этому сдержанно, но сказал, что это было бы полезно Инге. Сам он уходил в сторону, передавая меня дочери. Я рассчитывал на него, однако и такой вариант меня устраивал. После того, что я услышал от старого Моритца, предпочтительнее было остановиться на Инге.

Мы с нею встречались поначалу довольно часто и начинали с языка и литературы, а потом уже переходили на интересующие нас темы. У меня был на уме ее дядя Карл, у нее проявлялась все большая заинтересованность мною. Надо было разобраться в ее намерениях, не связана ли она со спецслужбами, не опередила ли нас западногерманская разведка — БНД. Ее увлечение в общем-то не мешало, а даже способствовало поддержанию с нею контакта, который в перспективе должен был перейти в деловой, нужный нашей разведке. Создавалось довольно щекотливое положение — я не должен был ее от себя отталкивать, но и держать на определенном расстоянии, не допускать ее признания в любви. «Дядя Карл, дядя Карл, — повторял я про себя, — как до тебя добраться?» В голове возникали различные варианты, но тут же отвергались, как сырые, не до конца продуманные. Мне нужно было самому с ним встретиться, посмотреть на него, убедиться в том, что о нем рассказывали, выяснить его возможности добывать разведывательную информацию в ведомстве, где он работал.

В порыве откровенности, когда зашел разговор об эсэсовцах, Инга рассказала, что племянник отца служил в эс–эс, но на Запад

не убежал, работает в какой-то строи–тельной организации города, иногда заходит к ним. Упоминание Ингой племянника–эсэсовца я расценил как сложившиеся между нами доверительные отношения.

— Я могу вас познакомить с ним. Хотите?

— Хочу. — Как же можно отказаться побеседовать с эсэсовцем? — Только скажите, почему он остался в ГДР?

— Его мать, уже старая, ни за что не хочет расставаться со своею виллой. А он единственный сын, наследник.

— Женат?

— Да. Двое детей.

Эсэсовец всплыл неожиданно. Мне хотелось послушать его, но потом я стал опасаться, как бы он не помешал мне, не расстроил наших отношений с Ингой. Я просил ее не рассказывать о наших встречах. Она обещала. Каждый раз прохаживаясь по парку, я стремился не давать ей повод к надеждам на меня. Ее лицо почему-то всегда было красное, может быть от волнения, и какое-то жирное от крема и пудры и это удерживало меня от комплиментов, которых она от меня ждала.

— Мне что-то не верится, что дядя Карл серьезно намеревается переехать в ГДР, — сказал я Инге, когда мы с нею встретились за столом в кафе на окраине города. — Из Восточной зоны бегут на Запад. К нам тоже приходят, но несравнимо меньше. Безработные, отчаявшиеся и прочие…

, — Он же там остался один на старости лет, а здесь вся родня. Ему хочется приехать к нам.

Мы долго с нею обсуждали все плюсы и минусы возможного переезда дяди, пока я не увидел, что она стала догадываться о моей заинтересованности Карлом. Инга вовсе не интересовалась политикой и вопросы безработицы ее нисколько не беспокоили. Занимало ее другое. Она очень любила уютное кафе, сладкие до приторности ликеры и черный кофе. Как-то незаметно она пристрастилась к курению. Ей нравилось, как за соседними столами за кофе дымили девушки в узких модных штанах, откинув руку с сигаретой назад.

Я советовал ей за рюмкой коньяка, который она смаковала, выходить замуж. Она смотрела на меня такими открытыми томными глазами, что я всегда вынужден был переводить разговор на другую тему. В таких случаях она тут же доставала из сумочки сигареты и закуривала,

чиркая зажигалкой. Я как-то шутя заметил, что она при этом рискует.

— Целовать курящую женщину, — все равно, что целовать пепельницу.

— , А вы попробуйте…

Инга после этой шутки курить бросила и все чего-то ждала. Сошлись мы на том, что она, минуя отца, напишет дяде письмо и поинтересуется, можно ли ему позвонить и по какому номеру, намекнув, что хотела бы посоветоваться о смене места жительства. Он должен догадаться о ее намерении переселиться в ФРГ.

Так и сделали. Инга вскоре получила ответное письмо с номером телефона. Можно было позвонить из Западного Берлина и пригласить его на встречу, с возмещением дорожных расходов.

Для того, чтобы осуществилась его мечта, заиметь пекарню и лавку, к ненависти к американцам и бывшим наци, нужны были еще деньги, но главное, пожалуй, это первое, в чем я должен был убедиться, выступая посредником в переговорах с дядей Карлом. Позвонил ему по поручению Инги, которая не смогла приехать в Западный Берлин, но добавил, что она очень хочет с ним встретиться, так как рассчитывает на его помощь в случае бегства на Запад.

Он без восторга принял мой звонок, сказал, чтобы Инга хорошо подумала и выбросила из головы, добавив, что в Кёльне или в другом месте не мед.

— Устроиться на работу беженцам из Восточной зоны тут трудно, а покупать ее никто уже не будет, она уже стара. Таких местных здесь пруд пруди. Передайте ей.

— Приехал? — с нетерпением спросил внимательно слушавший меня Николай Семенович, останавливаясь под большим тенистым деревом, от которого в десятипятнадцати метрах сверкало на солнце холодное море.

— Приезжал в Западный Берлин, как было и задумано, и мы с ним обо всем договорились. Мне показалось, что дядя Карл даже воспрял духом. У него появилась цель в жизни. Потом он мне признался, что мы долго ему морочили голову.

В интересовавшем нас ведомстве, он, сам не зная того, имел доступ к важным документам, они были в его руках. Когда нужно было отнести папку с документами из одного кабинета другому чиновнику, приглашали дядю Карла. Он с папкой под мышкой не спеша, заходил в свою

каморку под лестницей, фотографировал содержимое бумаг, пил кофе и шел дальше в кабинет чиновника, к которому его послали отнести папку. Дядя Карл, как мы его между собою прозвали, настолько привык к этой процедуре, что уже не опасался навлечь на себя подозрения. Да и можно ли было в нем заподозрить агента иностранной разведки? Он сам задавал себе этот вопрос и уверял себя и нас, что никому и в голову такое не

придет. А это было уже опасно. Расслабление в разведке или неверный шаг — провалу подобно.

Добытые через него многие документальные материалы позволили нам знать секреты, охраняемые ведомством по охране конституции ФРГ. Мы читали и отчеты этого ведомства о «разоблаченных» советских агентах. Поражались враньем, содержащимся в ведомственных отчетах. Прослеживалось явное стремление к нагнетанию шпиономании и на этой волне укрепления своих позиций и престижа в правительственных кругах ФРГ. Приводились астрономические цифры советской агентуры в ФРГ. Меня поражало и то, что за решеткой оказывались люди, которые никакого отношения к нашей агентуре не имели.

Николай Семенович некоторое время молчал, потом спросил:

— Ну, а немец в деревне на чьей стороне?

— Сельский немец там не сила.

— А все же…

—- Представьте себе — никакого сопротивления организации сельхозкооперативов с их стороны не было. Правда, у них кооперативы трех видов с разной формой хозяйственности и обобществления. К тому же немцы сразу ввели гарантированную оплату труда в кооперативах. Чего у нас не было.

— На Запад бегут?

— Много.

— Ну, ладно, потом расскажешь, пожал он мне руку, словно благодарил за проделанную работу. Но я так и не рассказал ему, почему немцы из ГДР бегут в ФРГ. Последовал приказ переехать с берегов Балтики на черноморское побережье.

5

С наступлением лета, когда палящее солнце подогревало воду Черного моря до восемнадцати–двадцати градусов,

в кабинете все чаще звонил аппарат «ВЧ», шли шифровки о приезде высоких гостей на Черноморское побережье.

Одни останавливались в Сочи на госдачах, другие, приземлившись в Адлере, следовали на машинах дальше в Грузию. Там тоже, в Пицунде, были дачи. Одни предпочитали Сочи, другие Грузию, кому что больше нравилось.

Г ости рангом пониже просили устроить домочадцев в санаториях, в гостиницах, домах отдыха, на турбазах, где-нибудь, чтобы они позагорали и покупались в море. Так начиналась летняя лихорадка.

На побережье устремлялись десятки тысяч людей поездами, самолетами, на своих автомашинах. Становилось тесно на узкой прибрежной полоске, оседланной «дикарями». А они жарились на солнце, устилали обгоревшими телами неприспособленные пляжи, как морские котики захватывали с раннего утра свободные места и не уступали их до темноты — полезно это было или вредно для здоровья. Из года в год повторялись нашествия на побережье, тесное и не оборудованное для отдыха. Для того, чтобы уменьшить наплыв любителей солнца и морских купаний, дорожники вдоль шоссе справа и слева соорудили заграждения, своего рода коридор, в котором не оставляли мест для столпотворения автомашин. Не удавалось отгородить пологий берег у мелководного залива, защищенного отвесной горой от северных ветров, песчаную пойму пересыхающей речушки у села Лермонтово, ставших любимым местом «дикарей». Их не страшили даже скатывавшиеся с горы камни, когда вокруг дрожала земля от большегрузных автомашин, грохотавших на шоссе.

Проносившиеся над побережьем грозы таили сущее бедствие для поселения «дикарей». Ливни в горах переполняли речушку мутной клокущей лавиной, сметавшей все на своем пути к морю.

Грозная стихия подхватывала как картонные коробки «Запорожцы», «Москвичи» и «Жигули» и вместе с их владельцами несла в морскую пучину.

«Дикари» находили и другие места для поселений, образуя целые колонии палаток, в которых ютились тысячи людей.

Остывая в темноте южных сумерек от дневной жары и суматохи, они собирались у машин и палаток, включали на «полную катушку» транзисторы и магнитофоны

с записями душераздирающей хрипоты Высоцкого, обсуждали, где кто что сказал, услышал, где что-нибудь достать из продовольствия. Сходились на том, что доставание стало затянувшейся болезнью, однако винили в этом не советскую власть, а касту чиновников в партии и бесчисленных ведомствах, поносили их на чем свет стоит.

Местные власти роптали, ссылаясь на антисанитарию, нехватку продовольствия в близлежащих городах и селах из-за того, что «дикари» как саранча налетали на магазины и рынки и пожирали все, даже самые залежалые товары. Каждый день в местах скопления возникало какое-нибудь ЧГТ, особенно с детьми, требовавшее немедленного вмешательства милиции и медицины, чтобы оно не переросло в бунт слепой толпы. Однако вызвать «скорую помощь» можно было только по телефону с погранзастав. Пограничникам это не нравилось, и они неохотно шли на предоставление телефона, да и у местного здравоохранения хватало своих забот — не до «дикарей».

Совершались стихийные набеги, осаждались редкие торговые лавки на колесах с продовольствием, грозно наступала на погранзаставы толпа, требуя предоставить телефоны. Все это знали краевые власти, писали депеши в Москву, просили выделить фонды для увеличивающегося в летнее время населения края вдвое, но Москва… слезам не верит. Все настоятельные просьбы где-то терялись в многочисленных центральных ведомствах, уходили как вода в песок.

— Алексей Иванович, приезжай, — позвонил мне однажды начальник погранотряда.

— Что случилось?

— Назревает бунт. Сметут «дикари» погранзаставу. Неуправляемая толпа, что разбушевавшаяся стихия.

Я немедленно выехал. Передо мной предстал громадный шатер из разноцветных машин и палаток с его голыми обитателями. Лучше было не показываться у длиннющей очереди к автолавке, чем-то торговавшей с колес прямо на шоссе. Обозленные «дикари» проклинали на чем свет стоит власти и готовы были растерзать любого, кто посмел бы с ними вступить в разговор и призвать к порядку. Своим одеянием они напоминали островитян далекой Полинезии в набедренных повязках, увидевших вместо подошедшего к берегу фрегата фургон автолавки, которую они готовы были разломать на части.

«Дикари» и «дикие» пляжи находились совсем рядом

с фешенебельным курортом Сочи с несуразной пирамидой роскошного «Дагомыса», предназначенного для приема иностранцев. Своим туда не попасть, не по карману. Да и зачем

снимать номер в двух уровнях простому смертному, приехавшему с севера погреться на юге.

Высокий начальник, член ЦК, разыскал меня в тот день на погранзаставе.

— Можно устроить дочь с подругой на туристическую базу в Адлере?

Я объяснил, что довольно трудно. Разгар туристского сезона. Все везде забито. Надо было заблаговременно приобрести путевки.

— Так что же в Сочи нельзя снять номер? Там же гостиницы на каждом шагу. Кто же их занимает?

Пришлось объяснить товарищу, занимавшему важный государственный пост, что поселиться в сочинской гостинице невозможно ни летом, ни зимой. Для него это было открытием, а меня поражала его наивность, жившего внеземными представлениями. Хотелось ему сказать, опуститесь на грешную землю, приезжайте и посмотрите, что творится на побережье.

Проблема неорганизованно отдыхающих на взморье не раз обсуждалась, все признавали, что надо ее решать, разработать какие-то правила регулирования потока отдыхающих, отвести стоянки для автомашин, сделать их платными, контролировать санитарно–эпидемическую обстановку в местах массового скопления людей, но все это оставалось разговорами. Почему бы ее, эту проблему, не поднять перед теми, кто прибывал на отдых на гос- дачи? Впрочем, они сами должны были поинтересоваться организацией отдыха трудящихся на побережье. Как раз было бы к месту. В санатории, дома отдыха, пансионаты не все могли попасть. Там отдых и лечение проводились на высоком уровне по доступным ценам. Профсоюзы брали на себя значительную долю расходов за путевку, о чем только могли мечтать рабочие капиталистических стран. У нас это было как само собой разумеющееся право каждого.

Устремившийся поток тех и других валом валил на юг и спадал в сентябре, когда детям надо было идти в школу. Умолкали и телефонные звонки.

6

По установившейся традиции каждый раз, когда кто- то из членов Политбюро и правительства приезжал или прилетал на отдых в Сочи, на госдачи, первый секретарь крайкома и председатель крайисполкома на спецсамолете «ЯК-40» летели встречать высоких гостей, а потом после отдыха провожать.

Этот порядок не нарушался долгие годы. Г остей в летнюю пору было много и летать приходилось часто. Хорошо, что полет занимал всего сорок минут.

К использованию оборудованного салоном на 5—6 человек самолету ревностно относился С. Медунов. Самолет был приписан к Северо–Кавказскому управлению гражданской авиации, а следовательно мог быть использован и в Ростове, и в Ставрополе. Он же считал, что самолет должен постоянно находиться в Краснодаре. На борту самолета обычно был и начальник того управления, которому предписывалось по службе присутствовать в аэропорту во время прилета и отлета гостей.

Когда надо было лететь, не особенно-то присматривались к погоде. Иногда попадали в туман, дождь, изморозь, низкую облачность, плохую видимость. Над морем, в облаках, самолет обычно покачивало и невольно заходили разговоры о разного рода ситуациях, перенесенных на борту во время полетов.

Где-то в районе Джубги самолет, вынырнув из-за гор, летел вдоль берега до Адлера. За примерами происшествий и катастроф ходить было далеко не надо. Многие знали об исчезновении «ИЛа», как в Бермудском треугольнике, взлетевшего в Адлере и через несколько минут упавшего в море недалеко от берега с пассажирами на борту. Более ста человек погибло, но каких-то сообщений тогда не принято было давать. Причины катастрофы так и остались не выясненными до конца, хотя правительственная комиссия во главе с министром ГВФ работала в Адлере больше месяца.

Обломки самолета так и не нашли на морском дне. Местом падения считалось обнаруженное на водной поверхности масляное пятно, которое быстро относила морская волна и трудно было ориентироваться по нему в поисковых работах. Упавший самолет не смогла обнаружить ни подводная лодка ВМФ, ни рыболовный траулер, опустивший трал в морскую пучину. Комиссии не–чего было докладывать о причинах катастрофы. Выдвигаемые следствием различного рода версии не находили материального подтверждения. Одна из них — захват самолета преступниками, попытавшимися заставить экипаж

повернуть в сторону Турции. Версия была трудно доказуема, но за нее уцепились представители Министерства гражданской авиации и сам министр после того, как в море выловили деревянный брусок с отверстием, похожим на пулевую пробоину. Специалисты утверждали, что найденная планка — обломок с самолета. Планку срочно отправили на экспертизу в Москву, а за ней потянулась туда и комиссия, однако исследование не подтвердило пулевого отверстия. С тех пор были усилены режимные меры в Сочинском аэропорту, к которому приближался со стороны моря наш «ЯК-40». Отсюда было рукой подать до Турции.

Этим не раз воспользовались угонщики самолетов.

Для приема гостей в Адлере был выстроен в современном архитектурном стиле просторный коттедж при въезде на поле аэропорта. В нем же принимались и зарубежные гости, главы государств, правительств, министры, общественные деятели.

Мощные лайнеры «ТУ» подруливали на стоянку у коттеджа с ювелирной точностью, незамедлительно подавался трап, застланный красной ковровой дорожкой и в назначенное время — плюс–минус одна минута, открывалась дверь, на площадке трапа появлялся гость, обремененный величием государственного деятеля и тяжестью прожитых лет. Его с радушием встречали хозяева, обнимались и целовались по установившейся моде.

Непременными присутствующими на церемонии встреч и проводов были местные секретари Сочинского горкома и Адлерского райкома партии. Нередко где-то поблизости, а иногда и в первой шеренге направляющихся к трапу был и директор чайного совхоза У. Штейман, личность довольно известная не только в Сочи, а далеко за его пределами, особенно в министерских кабинетах в Москве.

В одной из комнат коттеджа к прилету гостей накрывали круглый стол на 10—15 человек. Встречавшие обычно по правилам гостеприимства приглашали гостей к столу, на котором было все, чем богата не только Кубань, но и матушка Россия, вплоть до птичьего молока. А если чего-то недоставало, то заполнялось заморскими дёлика–тесами. Отказы зайти на «чашку чая» случались редко, хотя полеты из Москвы занимали всего два с половиной часа, чай подавали в самолете и гости не успевали про- голодаться. Основательно за столом располагался председатель ВЦСПС со своими многочисленными домочадцами, сметавшими все со стола, как голодающие с Поволжья, где он и работал до назначения главой профсоюзов.

Внимание к нему было вынужденным, поскольку в его ведении находились многочисленные санатории, дома отдыха,

пансионаты на Черноморском побережье. К нему обращались с просьбами о выделении средств на строительство новых здравниц. Он обещал многое за столом, но потом начиналась длительная тяжба по выколачиванию обещанного.

За чашкой чая велись непринужденные беседы. Руководители края рассказывали гостям о положении дел на Кубани, причем обычно речь шла о хозяйственных проблемах, чаще всего о сельском хозяйстве, и редко касалась политических оценок, умонастроений народа, а если как-то и затрагивались вопросы жизни народных масс, их отношения к политике партии, к повседневной деятельности, то никакой озабоченности не высказывалось, наоборот, утверждалось, что народ и партия едины.

Гости снисходительно делились московскими новостями, некоторыми идеями, вынашиваемыми в Политбюро и в правительстве, однако все это было в форме намеков, из которых трудно было что-то понять. Охотно рассказывали члены Политбюро и правительства о своих зарубежных поездках, не касаясь существа официальных переговоров, а останавливаясь только на своих впечатлениях и наблюдениях.

Прислушиваясь к суждениям об увиденном или услышанном за границей, можно было уловить, что почти все наши партийные и государственные деятели, прилетев в Сочи, как бы попадали в другой неведомый мир, в другое государство, удивлялись заботам и нуждам большого региона, каким является Кубань. Они делали для себя открытия в запутанных до предела бюрократических сложностях сельского хозяйства, промышленности и строительства. Создавалось впечатление, что стоящие у власти не видели практического выхода из многочисленных тупиков в экономике страны, пребывали как в джунглях, в поисках просвета.

Больше всего поражало то, что государственные дея–тели не находили ответов на казалось бы простые жизненные вопросы, возникавшие в народнохозяйственном комплексе. Смешно выглядели они, когда заходил разговор о навязшей всем в зубах проблеме увеличения выпуска товаров народного потребления и повышения качества. Разводили руками, недоумевали — почему же не повышается качество.

Видна была явная их оторванность от назревших кричащих проблем в государстве. Обычно они ссылались на разработанную продовольственную программу, программу качества, обеспечения каждой семьи жильем к 2000 году, дескать там все расписано и предусмотрено. Но простые смертные сомневались в этих программах, в лучшем случае относили их к заранее обреченным экспериментам еще на стадии обсуждения.

Странным казалось, что партийные и государственные деятели как бы не замечали этого, высказывали деланную уверенность в их выполнении. у

Краевыми руководителями к их приезду готовились какие-то частные просьбы вроде: не уменьшать поставок сельхозтехники, удобрений, горючего на уборку, разрешить какое-то строительство. Больше всего, пожалуй, беспомощным и несведущим выглядел председатель Совета Министров РСФСР М. Соломенцев, рассуждавший тихим неторопливым голосом обо всем, но только не о кричащих проблемах Российской Федерации.

Как-то мимоходом, упоминая центральные области России, вынесшие на своих плечах войну и послевоенные кукурузные новшества, доведшие их до грани нищенского существования и разорения, Михаил Сергеевич говорил о бедственном положении с таким спокойствием, что не верилось о занимаемом им положении. Он как бы все это наблюдал со стороны. Рассказывал о какой-то деревушке в Курской области, где в войну формировалось эстонское воинское подразделение. Ко Дню Победы эстонцы вспомнили об этой русской деревне и направили туда свою делегацию. Они были поражены тем, что увидели. Заброшенная деревня доживала свой век. Эстонцы взялись ее отстроить. Можно было только удивляться, что никаких комментариев из уст предсовмина России к рассказанному им примеру, не последовало.

В другой раз, после шумного совещания по сахарной свекле, в драмтеатре, прибывшие из Москвы и из

районов Северного Кавказа представители поехали на ужин на дачу крайисполкома в поселке Афипском. Там Соломенцев долго говорил о том, как он усмирял бунт в Караганде. Все сидевшие за столом слушали его. Даже смелый Медунов и говорливый Горбачев, сидевший между Медуновым и Соломенцевым, притихли на время. Рассказ Соломенцева никого не заинтересовал. Виноват в доведении до отчаяния людей был, конечно, не он, а стрелочники из местных руководителей.

7

За богато накрытым столом не чувствовалась извечная нехватка продовольствия в стране, не видны были с дачи пустые полки мясных магазинов и скучающие за прилавками продавцы. Гостеприимные хозяева сделали все, чтобы это не омрачало сидевших за столом.

Настроение у всех было застольное. Вокруг длинного стола ходила официантка с двумя бутылками, водкой и коньяком, и чуть наклонившись предлагала на выбор. На совещании и между тостами неприятная тема пустых прилавков не затрагивалась. Сергей Федорович, как и все его гости, полагал, что в магазинах что-то есть. Напоминание о том, что квартальные фонды давно съели, а дорогое мясо можно купить только на рынке, раздражало его.

— Где это видно? Кто сказал? — нахмурившись, спрашивал он. — Поезжай в Тулу, а лучше в Киров и там посмотри. Может кто-то оттуда к нам заявился и ведет такие балачки? У них урожай по шесть–восемь центнеров, да и тот не могут убрать. — Но т. ут же помолчав с чуть просветлевшим лицом, словно опомнившись, начинал звонить в крайисполком, выяснять, что можно дополнительно выбросить на прилавки. Если нечего, звонил в Москву, просил оставить в крае мясо, объяснял сложность положения в торговле. Воевать он умел. За край стоял горой, в обиду Кубань не давал. Далеко не всем это нравилось и не всегда шли навстречу его просьбам.

Житница России безбожно обиралась и он возмущался таким отношением к периферии.

Мне невольно вспомнилась эта реакция Сергея Федоровича, как только гости заговорили об урожайности, непринужденно, спокойно обмениваясь своими мнениями, как купцы торговались в караван–сарае за центнеры с гектара.

— Шесть–восемь… Ну хотя бы до десяти–двенадцати натянули на круг, уже было бы что-то, — продолжал спокойно рассуждать Соломенцев.

— Мизер, — сказал Сергей Федорович, имея в виду, конечно, урожайность на Кубани, хотя она тоже была низкой по сравнению с такими же зонами земледелия в других странах. Если бы только кто-то осмелился об этом сказать, незамедлительно последовало бы замечание:

— Нам бы столько удобрений и такую технику…

Ученые–сельхозники, хотя и робко, но высказывали

свою озабоченность перенасыщением почвы химическими

удобрениями. А трудолюбивый, знающий землю бригадир колхоза Михаил Клепиков, бессменный член ЦК и депутат Верховного Совета СССР, на своих полях больше вносил органику и получал высокие урожаи. Навоза далеко не хватало, чтобы подкормить истощенную землю. По бумажной статистике вывоз на поля навоза с каждым годом увеличивался, чему мало кто верил, так как поголовье скота все время сокращалось из-за нехватки кормов. Сельскохозяйственное производство, неразрывно связанное с живой природой, попадало в заколдованный круг, который пытался разорвать «великий» сельхозник Хрущев, продвигая кукурузу в Архангельскую область.

Урожайность поднимали за счет химии, гербицидов и нитратов, от которых дохла рыба в водоемах.

Прослышав об этом, Михалков заслал на Кубань киношников из «Фитиля». Они тайком сняли фильм. Лента зафиксировала пустые прилавки рыбного магазина и дохлую рыбу на рисовых чеках. Фильм посмотрел секретарь ЦК Кириленко, позвонил Сергею Федоровичу и спросил:

— Это правда?..

Возмутившись коварством «Фитиля», Медунов организовал просмотр фильма в присутствии его авторов. Собравшиеся в пух и прах разнесли ленту. Особенно усердствовал секретарь по идеологии, доказывавший, что это чистейшей воды провокация. Вот только поливальщик подводил. Он показывал своей рукой киношникам дохлую рыбу, а те его показывали за это крупным планом. Решено было разыскать поливальщика, поговорить с ним, где он видел дохлую рыбешку. На том и закончили обсуждение фильма.

Ну а проблема удобрений и повышения урожайности

полей осталась. Хлеб-то стали все больше закупать за границей.

— А стоит ли повышать урожайность за счет химии? — всполошил всех мой вопрос. Сергей Федорович и гости уставились на меня.

— Стоп! Что-то новое, — сказал кто-то. — Послушаем.

— Сельхозатташе американского посольства в Москве, — начал я издалека, — дважды в год, весною и осенью, приезжает к нам на Кубань на автомашине по маршруту: Ростов — Краснодар — Новороссийск. Едет не спеша, вдоль наших полей, часто останавливается, идет с квадратным метром за лесополосу, накладывает его весною на посевные всходы, а осенью на стерню убранного поля, и усердно собирает каждое зернышко, высыпавшееся из комбайна в целлофановый мешочек. По его подсчетам наши потери на уборке составляют до двадцати пяти

процентов, т. е. четверть урожая.

Я обводил всех глазами. На меня косились. Откуда такая дерзость? Кто-то прикинул, получались миллионы тонн дополнительного хлеба. Притихли.

— Я не специалист. Просто размышляю вслух, не лучше ли свести до минимума потери, сохранить урожай, вместо увеличения разбрасывания химии? Разбрасывания, а не внесения ограниченных доз удобрений, требующих ювелирной точности? — подчеркнул я.

— Не может быть, — раздались голоса. — Это уж слишком. Нет, нет, нет. Откуда двадцать пять…

— Пятнадцать процентов, — согласился Сергей Федорович. — Возможно… Допускаю. Лес рубят — щепки летят.

— Преувеличивают американцы. Им это нужно, чтобы выгоднее продать нам зерно, — сказал будущий Генсек, позднее выступивший с докладом о Продовольственной программе.

— Наш ипатовский метод исключает такие потери.

— Посмотрите на пшеничные поля после уборки — они же зелеными становятся, словно их$_{ч}$ засеяли озимыми, — не хотелось мне сдаваться.

— Потери, конечно, есть, они неизбежны, но только не такие, — заметил Соломенцев. Ему тоже не понравилась эта цифра. Ее никто не хотел признавать. Так было спокойнее, меньше хлопот и забот.

Уже став Генсеком, Горбачев, приехав на Кубань, удивился большим потерям зерна. Как будто для него это было открытие. Начались разговоры о борьбе с потерями, но, пошумев, вскоре предали забвению эту проблему,

настойчивое решение которой позволило бы отказаться от закупок зерна за границей. Как только закончили затронутую тему, Горбачев тут же начал рассказывать анекдоты, как в любой подвыпившей компании. Заботы о государственных делах были отложены. В зале с высокими потолками витало тщеславие собравшихся. Горбачев упражнялся в красноречии. Анекдоты у него сыпались как из рога изобилия. Один из них о значении сочетания — перенедобрал. В его толковании это значило: выпил больше чем мог, но меньше, чем хотел. Остроты приняли вольный характер. Все были навеселе. От шампанского отказались. Пили кофе и чай.

Какой астролог мог предсказать, что в любовавшемся самим собою авторе анекдота зрела авантюра так называемой перестройки, трансформируемой им в человеческий фактор в упаковке общечеловеческих ценностей и нового мышления? Процесс пошел, и весь мир ахнул от того, что его новое

мышление привело к развалу могучего государства, к всенародному бедствию. Он точно следовал анекдоту — сделал больше, чем мог, но меньше, чем хотел. Не успел.

Хлебосольное застолье с водкой и коньяком продолжалось долго. Никто, конечно, не задумывался, откуда ломился стол от закусок и вин. Один только Власов, будущий премьер России, держался скромно и, кажется, за весь вечер не проронил ни слова.

Поднимались тосты с самым заумным содержанием. Каждый старался сказать что-то необыкновенное, далекое от жизни, но в розовой упаковке. Ну а М. Соломенцев первый тост предложил за Леонида Ильича. Присутствующие грешили своей искренностью, но так было заведено. Всем претило целование на проводах и встречах, но никто не противился. В низах подражали верхам.

Дача в Афипском — свидетельница многих событий. Ее стены хранят молчание о пребывании на ней сильных мира сего, перед которыми гостеприимно раскрывался двухэтажный особняк, окруженный голубыми елями.

За высоким железобетонным забором, отгородившим дачу от внешнего мира, охраняемую милицейским нарядом, можно было отдохнуть, прогуляться по тенистым аллеям, даже не выходя с территории, забросить удочку в иссиня–черную воду Афипса, отравленную нефтеперегон

ным заводом на его берегу. Об этом денно и нощно напоминал факел, коптивший небо.

ГТри виде его нельзя было не задуматься — а что там за забором? Как будто бы и задумывались и что-то делали, но в наступившее, такое трудное время, с большим упорством чем стены, молчат те, кто пользовался дачей, бросив всех честных коммунистов, наивно веривших им, на произвол судьбы. Молчание. Откуда такая немота у толпившихся у трона?

— Попробуй, — рассуждал бывший секретарь по идеологии, — тут же сожрут. Коммунисты коммунистов, как пауки пауков. Да и что говорить…

8

Праздничная демонстрация 7 ноября все еще колыхалась красным кумачом, но уже близилась к концу, когда ко мне около трибуны подошел дежурный офицер и тихо сказал:

— ЧП, товарищ генерал.

— Что случилось?

— В Симферополе после взлета двое захватили самолет и потребовали у экипажа лететь в Турцию.

— А мы при чем? Они что, жители края? —сразу же мелькнуло у меня, поскольку дежурный не стал бы докладывать, если бы это нас не касалось.

— Да. Но садились они в Симферополе. Билеты брали до Одессы. Рейс Краснодар — Симферополь — Одесса.

— Где самолет?

— Повернул на Турцию. Преступники вооружены.

Праздничное настроение сразу как ветром сдуло. Правда, я еще надеялся, что экипаж АН-24, покружив над морем, посадит самолет в Адлере или в Болгарии.

—[1]- Звонят по «ВЧ», требуют доложить, — сказал дежурный.

— Скажите, что я позвоню.

Стояла мягкая солнечная погода, царило праздничное настроение. Шумная красочная демонстрация под протяжные крики «Ура» продолжалась. Никто еще не знал, что в это время где-то над морем летел самолет с перепуганными пассажирами на борту, которых ждали в Одессе к праздничному столу. Угон самолета — ЧП международного масштаба. Случаи угонов у нас и за границей участились. О них немедленно докладывалось в самые верха,

начиналось расследование со сбора информации на преступников, выявления ответственных за происшествие и виновников, допустивших его.

Не успел я усесться за столом, как раздался звонок по «ВЧ» из Москвы, дежурного по Комитету.

— С праздником тебя, — услышал я знакомый голос генерала, начальника Главного управления. В нем, конечно, чувствовался намек, но я все же сказал:

— Спасибо.

— Самолет уже приземлился в Турции. Западные голоса передают, что угонщики —- немцы, просят политического убежища. Ранен бортрадист, стюардесса и один пассажир. Фамилии пока не называют. Свяжись с Симферополем, они по корешкам билетов сообщат тебе фамилии. Установи и доложи.

К этому времени у дежурного по Управлению уже были фамилии преступников. Симферопольцы действовали оперативно, чтобы откреститься от угонщиков, но ведь они садились у них и поэтому им предстояло еще объяснить, почему они пропустили на борт пассажиров с оружием или взрывчаткой, где была их служба досмотра и многое другое.

Дежурный доложил, что по данным адресного стола эти немцы недавно приехали из Казахстана, проживали в райцентре, поселке нефтяников вместе с родителями.

Я тут же сообщил эти сведения звонившему мне генералу.

— Ты доложи заму Председателя. Он у себя в кабинете.

— Доложу как только соберу дополнительную информацию, кто они такие. Выезжаю в поселок со следователем.

. — Ну смотри…

Я знал тягучий характер зама, представлял себе разговор с ним, его вопросы, на которые ответов пока у меня не было. Знал, что последуют упреки — почему допустили?

Позвонил домой, чтобы меня не ждали, извинился перед гостями, просил начинать без меня, обещал не задерживаться.

В поселке нефтяников, где давно уже закончился праздничный митинг на площади у памятника В. И. Ленину, на улицах ни души. Все сидели за праздничными столами, у кого что было, но непременно с водкой, как повелось на Руси.

В тресте нефтяников никого, кроме сторожа, не было. От него я позвонил на квартиру управляющему, извинился за вынужденное беспокойство в такой день.

— Не стоит извиняться. Я понимаю — служба. Может, вы зайдете ко мне и мы разрешим все вопросы?

Неудобно было дома уединяться от домашних для разговора о случившемся, портить людям праздничное настроение. Подумал, что, видимо, управляющему не хотелось идти в трест и поэтому поехал к нему на квартиру.

— Геннадий Иванович Гришанов, — представился мне управляющий трестом, одетый по–праздничному, в белой рубашке, при галстуке, приветливо пригласив меня за стол. Я еще раз извинился, а он тут же вышел на кухню, вернулся с бутылкой коньяка, тарелками, вилками и ножами.

— Геннадий Иванович, мне право неудобно перед вами. Я по неотложному делу, на несколько минут.

— Дела обождут. Как говорят: работа не волк, в лес не убежит.

Его открытое красивое лицо мужчины уже за пятьдесят, с поседевшими висками, как-то располагало к себе своим спокойствием, я не посмел суетиться, ждал, пока он сядет за стол

и мы начнем беседу.

Комната была обставлена мягкой мебелью. На стене висел дорогой ковер, на противоположной стороне — картина — зимний пейзаж с белоснежными макушками синих гор на заднем плане. В углу на подставке — телевизор с большим экраном. Ничего лишнего.

Хозяин раскладывал все приносимое им из кухни на столике между двумя креслами. Он что-то забывал, снова и снова шел на кухню, хлопал холодильником, возвращался с бутылками минеральной воды «Горячеключевская».

Наконец уселся напротив меня, налил коньяку в рюмки и предложил выпить за праздник Октября. Мне пришлось помолчать со своими вопросами, хотя я и спешил — машина со следователем стояла у подъезда. Никого из домашних в квартире не было. Я даже подумал, что он куда-то отослал их на время нашего разговора и хотел было спросить об этом.

— Извините, что все на скорую руку. Я один, — опередил меня Геннадий Иванович. — Все мои в Киеве, там празднуют.

Мне показалось, что он даже обрадовался моему приходу. Гостей не ждал, и я ему нисколько не помешал.

— Хорошо, что вы зашли. Рад познакомиться. Наслышан о вас, но вот такого сюрприза не ожидал. Так чем могу быть полезен? — озабоченно спросил Геннадий Иванович, наливая очередную рюмку.

Я объяснил зачем приехал.

— Не знаю таких. Народу в тресте много. Угон самолета, оказывается, и у нас входит в моду. А вашей службе достается. До меня и раньше доходило, что, когда люди празднуют, вы работаете. Теперь сам убедился в этом. Я отойду на минуту…

Он позвонил домой начальнику отдела кадров и попросил зайти к нему с учетными карточками на угонщиков, назвав их фамилии. Кадровик, видимо, сидел за столом, ему не хотелось идти в трест, искать карточки и поэтому спросил насколько это срочно.

— Весьма срочно, — сказал Геннадий Иванович. — Я жду. Не задерживайтесь.

Пить мне не хотелось. Я сидел в напряжении, выстраивал разного рода предположения, о причинах, побудивших угнать самолет на праздник.

Геннадий Иванович все больше показывал свое добродушное гостеприимство, угощал, предлагал выпить за чекистов, их нелегкий труд. Я пригубил рюмку. Хозяин не настаивал, заметив, что с такими крохотными рюмками, если бы мы даже хотели, все равно не опьянеем.

Он провел меня в свой кабинет, показал библиотеку. Книг было много, большей частью художественная литература, но немало и разных справочников, касающихся технологии добычи нефти, чем и занимался хозяин. Отдельно на полках лежали книги о войне, мемуары военачальников. Я брал некоторые из них, каких у меня не было и листал.

— Война, война, как давно это было и как свежо это в памяти. Теперь уже и самому не верится, что прошел сквозь огонь. Время сглаживает остроту фронтового бытия, — говорил Геннадий Иванович, и мне незачем было спрашивать, воевал он или нет.

На простенке в рамке висела большая цветная фотография стальных противотанковых ежей на фоне подсвета заходящего солнца за молодыми деревцами, а рядом портрет И. С. Тургенева. «Значит, хозяин неравнодушен к этому писателю, — подумал я, — Интересно. Наверное, нигилист».

Г еннадий Иванович вышел кому-то открывать дверь.

Пришел начальник отдела кадров, суховато поздоровался, показал учетные карточки управляющему, а тот передал их мне. Мы уселись в кабинете, я пробежал по карточкам

и спросил:

— Вы их знаете?

— Как сказать… Они совсем недавно у нас, посмотрите на дату заполнения.

— Что можете сказать?

— Насколько помню, жили они в соседней станице, тут рядом, работали на кирпичном заводе, а потом к нам перебрались. Один, который постарше, слесарничал, а другой ходил в учениках оператора. Смирные ребята, ничего плохого не замечал. А что случилось?

— Угнали самолет в Турцию.

— Да вы что… — ужаснулся кадровик. — Кто бы мог подумать на этих молчунов. Правда, немцы…

— В тихом болоте черти водятся, — заметил Геннадий Иванович.

— Если нужно, я могу навести о них справки у инспектора по кадрам кирпичного завода. Бойкая баба, она все знает и живет в той станице. У нее там те еще кадры: беглецы–карманники, да и беглянки попадаются. Можем проехать.

Я попросил кадровика позвать следователя и рассказать ему все, что он знает об угонщиках. Следователю же велел ехать к родителям и побеседовать с ними о подготовке сыновей к бегству, об оружии, намерениях, оставшихся связях и по другим вопросам.

— Кирпичный навестим, только не сегодня, — предупредил я следователя. — Пусть люди отдыхают.

— Да, на кирпичном следует побывать, — задумчиво, с какой-то запомнившейся загадочностью, сказал управляющий.

Мы остались с ним вдвоем.

— Продолжим. Не переживайте, Алексей Иванович. Понимаю, неприятность для вас, да и для нас, но в конечном

счете согласитесь — это мелочи жизни. Может, их выдадут турки?

— Вряд ли… Это уже не первый случай. ‘Но турки остаются турками. Вмешаются американцы и не допустят передачи нам, хотя они и преступники. Немцы из ФРГ предоставят им политическое убежище после формального расследования турками и даже суда.

— Как все сложно в этом мире. Казалось бы простое

дело. Захватили самолет, ранили трех человек, судить их нашему суду за это, а оказывается очевидной истине преднамеренно сопротивляются сильные мира сего. Я не могу этого понять. Как же после этого чему-то верить? На каждом шагу говорят одно, а делают другое. Я стал сомневаться во всем.

— Увлекаетесь Тургеневым?

— Почему вы решили?

— Полное собрание сочинений, отдельное исчерканное издание «Рудина» и «Накануне», портрет Ивана Сергеевича и наконец сомнения во всем, наверное, почерпнутые у Базарова.

— Под давлением неопровержимых доказательств вынужден признаться, — улыбнулся Геннадий Иванович, — исповедую нигилизм, хотя это и не модно. Не судите меня строго. Учитывайте откровенные показания.

Он пододвинул ко мне поближе рюмку с коньяком, налил себе.

Передо мной открывался незнакомец, которого я мог и не встретить, не будь ЧП с угоном самолета. Присмотревшись, я уже находил в его облике даже что-то похожее на молодого Тургенева, каким он мне представлялся: степенным, рассудительным, образованным, интеллигентом, романистом, которого читала вся Европа. И еще писавшего «Записки охотника» и либретто для оперетт Полины Виардо.

— Признаться, я заражен нигилизмом. И нужно же было ему откопать это слово и пустить его в оборот, как нельзя лучше отображавшее настроения части русского общества. Нигилизм — это океан раздумий и на сегодня. Проблема отцов и детей — это вечный вулкан, то затихающий, то взрывающийся, который ничем не усмирить. Те и другие правы, если не отрываться от времени спора. Давайте за русских гениев, ни на кого не похожих потому, что они русские, — поднял он рюмку.

Мы выпили. Вернулся следователь. Геннадий Иванович усадил его за стол и велел как следует закусить, а потом докладывать.

Пока он ел, мы договорились обязательно встретиться и продолжить нашу дискуссию. Я пригласил Геннадия Ивановича побывать у меня дома. Он согласился. По дороге следователь докладывал о добытых первичных материалах. Решили возбудить уголовное дело, провести расследование.

9

Приезжающие в край гости, после посещения Новороссийска Брежневым и присвоения городу звания Героя, как паломники устремлялись на Малую землю, слава которой гремела по всей стране. Акции города резко возросли. Были отпущены громадные средства на строительство. Городским партактивом шумно обсуждался генеральный план развития города–порта. Формировались строительные полки Министерства обороны. На берегу моря проектировался памятник малоземельцам, символизирующий высадку десанта морской пехоты на Малую землю.

Битва за небольшой плацдарм на западной окраине Новороссийска, продолжавшаяся 225 дней, была на редкость кровавой и полна героических свершений солдат и офицеров. Позади сражавшихся на том пятачке было Черное море, а впереди — немцы. Они вдоль и поперек простреливали открытое каменистое пространство артиллерией, а над головами защитников плацдарма завывали вражеские бомбардировщики, обрушивающие тонны смертоносного груза. Там был сущий ад и умалять подвиг моряков, всех кто сражался на Малой земле, обильно политой кровью, было бы кощунством над памятью павших и уцелевших в огне.

— На этом клочке, — вспоминал солдат–малоземелец, — не было живого места, куда бы не угодил осколок вражеского снаряда или бомбы. Земля и горы содрогались от страшного непрерывного гула. И так каждый день, каждую ночь трясло как в лихорадке, а мы держались.

На лице ветерана, приехавшего спустя много лет, чтобы отыскать свой окоп, пробилась слеза.

Немцы оставили Новороссийск мертвым городом, а точнее, горы битого кирпича, щебня, развалины домов и улиц, исковерканные в огне железные балки. Все перемешалось в страшном хаосе опустошения.

Нельзя не восхищаться тем, что город поднят из руин. Только памятники да книги напоминают о войне.

Появилась книга и о Малой земле, в авторстве которой сейчас никто не признается. С выходом ее в свет стало престижным и чуть ли не обязательным посещение Малой земли, особенно после величественного сооружения у самой кромки ЧерногО моря — символического катера, стремительно врезавшегося в отмель побережья. С него со всей решительностью приготовились спрыгнуть на Малую землю моряки–десантники.

Памятник сооружен

на том самом месте, где в суровую февральскую ночь 1943 года высадился бесстрашный десант Цезаря Куни- кова. Среди десатнтиков был и студент В. Цигаль, автор мемориала. Кому как не ему было воплотить в нем свою давнишнюю мечту, воздать должное малоземельцам.

Вот только ему кто-то подсунул идею и настоял на ее воплощении — поместить пульсирующее сердце на самом носу бетонного катера. Может быть в этом проявилось старание угодить Генсеку. Медунов не раз рассказывал о том, что, когда заходил разговор с Брежневым о Новороссийске, он откидывал левый лацкан пиджака и, показывая рукой на сердце, говорил: «Вот он здесь у меня». Но обнаженное сердце вызывало неприятное чувство. Авторы явно перестарались в угодничестве. В том символе есть что-то патологическое, вызывающее неприятие. Сердце никогда не обнажается, кроме как на операционном столе.

Памятник был сооружен в сжатые сроки, добротно, на века. Что же касается реализации генерального плана развития города, то несмотря на усердие строительных полков, он так и не был выполнен. Проложенный в это воемя водовод избавил город от постоянной доставки воды танкерами, но не разрешил полностью снабжение города питьевой водой, через некоторое время уже требовал капитального ремонта.

Приехавший на Кубань на встречу с избирателями секретарь ЦК М. Зимянин, как депутат Верховного Совета СССР, тоже заявил о непременном посещении Новороссийска. Хотя он и отчитывался о своей депутатской деятельности, но его выступления были далеки от жизни избирателей. Он охотно и эмоционально говорил о глобальных проблемах в стране и в мире, подчеркивая при этом, что в общем-то он учитель по профессии и знает и понимает заботы учительства, не вдаваясь в рассмотрение конкретных вопросов.

Слушаешь Михаила Васильевича, все у него получалось складно, но если спросить, о чем же он говорил, то трудно было ответить. От выступлений ничего не оставалось, особенно о его работе, как депутата. Даже работа школы и учителей, которым он непременно отводил место в своих речах, тонули в весьма общих формулировках, не содержавших никакого просвета. Но отчет перед избирателями ему, безусловно, засчитывался.

Во время посещения хлопчато–бумажного комбината

в Краснодаре, Михаил Васильевич подошел к станочнице, молодой женщине, поинтересовался, как она работает и живет.

Ткачиха ему сказала, что зарабатывает мало, живет в общежитии, незамужняя, потому что негде жить. —

— Рожайте, — тут же сказал он смутившейся станочнице. — Квартиру дадут.

Потом об этом совете ткачихе он рассказывал в своих речах в Новороссийске и других местах, однако избиратели безмолвствовали, не понимая, к чему он об этом рассказывает.

В сопровождении секретарей крайкома Михаил Васильевич шел дальше между станками. Директор комбината жаловался на то, что нет хороших красителей и джинсовая ткань получается низкого качества. Михаил Васильевич остановился и с удивлением посмотрел на директора. Для него это была неприятная новость.

— Вы директор и находите пути решения вопроса с красителями, — был его довольно резкий ответ, которым он тоже хвастался перед избирателями. — Всыпал одному директору…

Примерно то же самое происходило на других предприятиях и в учреждениях, которые посещал депутат Зимянин. Люди после его выступлений расходились в недоумении. Он говорил обо всем и ни о чем, как и многие, завороженные догматизмом.

Любимым словом Михаила Васильевича было — трёп. Оно запомнилось мне после нескольких встреч с ним, после его выступлений и рассказов о том, как ему приходилось воевать с правдистами, в бытность его главным редактором газеты. С устроенной ему абструкцией в редакции он справился, как я его понял. Между тем на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, в школах и в институтах, в театре и в кино народная мудрость рождала многие предложения, выдвигались идеи по совершенствованию общеобразовательной школы, организации науки, обновлению работы научно–исследовательских институтов. Укоренившиеся же догмы и представления о социализме мешали их внедрению. К тому же теоретиком развитого социализма признавался только генсек. Его доклады и речи указывались после Маркса и Ленина в списке обязательной литературы к изучению любого предмета.

Зимянин осмотрел многие памятники войны в Новороссийске, но о своих впечатлениях не распространялся.

Охотнее говорил о партизанской воине в Белоруссии, о том, как пробирался к партизанам, выполняя задания штаба партизанского движения, и как возвращался на

Большую землю.

В тот же день мы вернулись в темноте в Краснодар,

на дачу в Афипском, где за ужином Михаил Васильевич рассказывал о своей дипломатической работе во Вьетнаме и

Чехословакии, об Академии наук СССР и академике Г. Марчуке, возглавлявшем тогда один из государственных комитетов.

посетив Малую землю, нельзя возвращаться

в Москву, — сказал Зимянин. — Черненко спросит. Был?..

Потом приезжали И. Капитонов, В. Чебриков и другие партийные и государственные деятели.

10

— Вы воевали, Алексей Иванович? — спросил меня Геннадий Иванович, когда я по пути на кирпичный завод заехал к нему. Он все больше завоевывал у меня доверие своей внутренней притягательностью, увлеченностью миром поэзии, да и сам он представлялся мне по натуре лириком. А подобные ему люди очень впечатлительные и ранимые.

Я почувствовал в заданном им вопросе не праздное любопытство, а искреннее желание узнать меня, хотя он и сам фронтовик и казалось бы ему не интересно выслушивать то, что он сам пережил, испытал на себе.

— Один мой знакомый сержант, Герой Советского Союза, так отвечал, — пытался я свести на шутку свой ответ, — «я не воевал, а только отступал и наступал».

— А все же? — улыбнувшись, ждал он.

Мне сразу не приходило в голову, что ему рассказать.

— Что оставило след в душе, который не стирается? —

подсказывал он мне.

Мы сидели с ним в той же комнате за тем же низеньким столом, на котором стояла бутылка вина и яблоки на тарелке. Предо мной и пред ним на тарелочках лежали ножи, в высоких узких стаканах темнело терпкое вино.

Опять дома он был один.

— О том, что оставило след в душе, я написал книгу.

Я читал. Жаль, что она обрывается. Вы же и после

писали о войне. Значит, не все написали.

— Далеко не все.

— Не откладывайте, торопитесь писать, коль у вас это получается.

Я достал из папки набросанный рассказ, еще не совсем законченный, чтобы апробировать его на таком читателе.

…25 февраля 1942 года Совинформбюро сообщило

о довольно крупном успехе Северо–Западного фронта: «Наши войска окружили 16–ю немецко–фашистскую армию».

Эта весть облетела весь мир, так как впервые в ходе второй мировой войны была окружена в районе безвестного Демянска, вблизи Старой Руссы, группировка гитлеровских войск. Это был подвиг русского солдата в борьбе со злейшим и сильным врагом, вероломно вторгшимся в его дом. Подвиг беспримерный, потому как эта победа была добыта в снегах и болотах с одной винтовкой наперевес, без артиллерии, танков и поддержки с воздуха. Победа досталась ценой больших потерь, невиданного

самопожертвования.

Заснеженные % поля у сожженных деревень походили на жнивье, усыпанное снопами в страдную пору. В снегу лежали сраженные на поле боя солдаты. В тот же день Ставка указала командованию фронта на исключительно медленную ликвидацию окруженной демянской группировки, насчитывавшей до семидесяти тысяч человек.

С той поры почти полтора года не прекращались жестокие бои на древней новгородской земле в Приильменье, где среди лесных чащоб, болот и озер на полянах, как на островках, отрезанных от внешнего мира, ютились деревушки с почерневшими рублеными хатами.

Непроглядные вьюги и метели снежной зимы заметали леса, деревни, дороги. Крепкие морозы сковали реки и озера, поддерживали заледенелую твердь накатанных зимников, по которым шло снабжение армии, сидевшей в тех хмурых лесах. Автомашины с трудом пробирались сквозь снежные заносы, в. глубоких снегах плелись солдаты, лошади едва тащили пушки. По ночам под звездным морозным небом, казалось, нет никакого спасения от холода в заваленных снегом окопах. Шинели и валенки дубели, байковые рукавицы, телогрейки и ватные штаны, подшлемники, покрывшиеся инеем, только холодили тело. Люди цепенели от холода.

Немцы же отсиживались в деревнях, превратив их в опорные пункты. Подступы к ним насквозь простреливались пулеметами, превращались в кромешный ад, как

только замечалось малейшее движение на нашем переднем крае. В густых лесах не утихала пулеметная трескотня, немцы не жалели патронов, поливая огнем наши окопы днем и ночью с завидной педантичностью.

Попытки сжать кольцо окружения не приносили успеха. С каждым днем все меньше насчитывалось активных штыков в полках. Несмотря на грозные приказы наступать обескровленные в февральских боях дивизии перешли к обороне. Наступать было некому. В полках оставалось по одному неполному батальону.

На выручку войск, зажатых в Демянском котле, Гитлер бросил не только свыше трехсот транспортных самолетов, доставлявших боеприпасы, горючее, продовольствие, но и людское подкрепление, даже батальон своей личной охраны — «лейбштандарт», хотя в состав 16–й армии входили отборные войска — дивизии СС «Мертвая Голова» и другие. Старая Русса, «демянская крепость», как ее назвал Гитлер, с января 1942 года все чаще появлялась на страницах военного дневника начальника генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал–

полковни- ка Гальдера. 2—3 февраля 1942 года Гальдер записал: «Под Старой Руссой противник успешно наступает, наращивая свои силы. Напряжение возрастает. Фюрер вызывает к себе назавтра меня и командующего 16–й армией».

13 февраля: «Фюрер явно разделяет мою точку зрения, что решительно изменить положение 16–й армии можно только ударом из района Старой Руссы в восточном направлении и что для этого необходимо свести в один кулак все имеющиеся у нас в распоряжении наземные и воздушные силы. Наступление начнется 17.2, скорее — 19.2.

Наступление началось позже, а пока в весеннем голубом небе плыли чужие, с черными крестами самолеты на небольшой высоте, сомкнутыми рядами, как на воздушном параде. Их надрывный гул с утра до вечера наполнял бескрайние приильменские леса. Мы посматривали из своих окопов на пролетавшие над нами воздушные армады и недоумевали, почему не видно ни одного разрыва зенитного снаряда, которые хотя бы нарушили их парадный строй. При такой моугчей поддержке с воздуха окруженная группировка не испытывала перебоев в снабжении, не испытывала и особых неудобств и тревоги за свое положение. Иногда из-за сооруженной нами снежной сте

ны, отгораживающей окопы от нейтрального поля, доносилось пиликанье фрицев на губных гармошках, а то «рус капут!».

Свое положение мы знали, испытывали на себе, а что замышляли по ту сторону снежного забора, оставалось загадкой, хотя, очевидно, там не намерены были все время довольствоваться воздушным мостом с основными силами.

Командовал окруженной 16–й армией пятидесятишестилетний генерал Буш, истый пруссак, прослывший специалистом по русским делам. До войны он служил начальником русского отдела генерального штаба вермахта. Это он заверял Гитлера, что вобьет клин между Москвой и Ленинградом, и фюрер не оставался в долгу — вручил ему высшую награду «Рыцарский крест». Демянский плацдарм как раз и явился тем самым клином, направленным на Валдай и дальше в глубь России.

— Главное, — предупреждал тогда Сталин, — удержать Валдайские высоты, не пропустить немцев к Октябрьской железной дороге, на Бологое.

Окружением 16–й армии было приостановлено ее продвижение на восток. Незаметно было, чтобы Буш проявлял беспокойство из-за своего окружения и, вопреки всем ожиданиям командования нашего фронта, не предпринимал никаких попыток

вывести свою армию из котла, но наверняка искал выход. Над возможными его намерениями стоило основательно задуматься не только штабу Северо- Западного фронта, но и выше.

И вот в марте–апреле сорок второго года задумки немецкого командования и лично Буша отчетливо выявились — наносилось два встречных удара: из района Старой Руссы вдоль шоссе в направлении села Рамушево и со стороны Демянска, тоже по шоссе к названному селу, расположенному примерно на полпути между Старой Руссой и Демянском. Немцы пробивали коридор к окруженной 16–й армии.

21 марта 1942 года Гальдер в своем дневнике записал: «Началось наступление под Старой Руссой».

1 апреля: «В районе Старой Руссы наши войска медленно продвигаются вперед».

К тому времени после снежной морозной зимы в Прильменье властно ворвалась весна. В считанные апрельские дни снег пропитался талой водою, заливавшей окопы, накатанные прифронтовые зимники расквасились, стали непроезжими, транспорт остановился, армия оказалась

надолго отрезанной от баз снабжения, расположенных за сотни километров в тылу. Запаса боеприпасов и продовольствия в дивизиях не оказалось.

Немецкие генералы не могли не воспользоваться обстоятельствами, в которых находилась наша армия. Ее положение на самом деле оказалось куда сложнее, чем могли думать немцы.

…В сгустившихся вечерних сумерках, сбросив с плеча тяжелый ящик с патронами, в окоп спрыгнул старшина роты Семен Лихачев, сибиряк, из старателей, присел на корточках, потеснив меня и связного острыми коленями.

— Что будем делать, командир? — спросил старшина.

Я уловил в вопросе и его интонации тревожные нотки,

хотя он и пытался говорить нарочито спокойно.

— Ты о чем? — не понял я сразу.

— Ходил на полковой склад за провиантом, принес пустой мешок. Ничего нет. Говорят, что ничего не подвезли. И когда подвезут, даже всевышний не знает.

В последние дни старшина, закинув мешок за плечи, приносил в нем на всю роту по одному сухарю на день и немного ржи в ротный котел, из которой варил рыжую похлебку без соли. Сухарь и полкотелка этой похлебки на день — солдатский и офицерский паек сидевших в залитых водою окопах, но державших в окружении демянскую группировку.

Я видел голодных бойцов роты, у некоторых начали пухнуть

ноги, многие заросли жесткой щетиной, скрывавшей синеватую водянку под глазами, все перестали умываться, царила апатия, горели только слезившиеся глаза, но никто из окопов не уходил, никто не жаловался. Бойцы проявляли великое терпение. Их молчаливое безразличие настораживало меня больше, чем вопрос —■ когда же наладится снабжение? Я этого не знал. А очень хотелось сказать им, что скоро, вселить в них искорку надежды, и я просил, не приказывал, потерпеть. Они, как в полузабытьи, понимающе кивали головами.

Именно в эти дни генерал фон Брондорф, командир корпуса, входившего в состав окруженной армии, издал приказ, в котором отмечалось, что лесисто–болотистая местность, не имеющая хороших дорог, «исключает возможность, что русские могут продержаться весною со своей многочисленной армией в этих сырых низких местах. При снеготаянии они сдадутся или отступят».

Снеготаяние началось, а вместе с ним и тяжелейшее

испытание для каждого солдата и командира. Но они проявляли не только величайшее терпение, но и стойкость в бою.

— Командир… — напомнил о себе старшина.

— Что предлагаешь? — поинтересовался я у него, ни на что не надеясь.

— Отпустите меня в деревню, тут недалеко, за лесом…

— Зачем? На промысел или пойдешь разбойником на большую дорогу? Грабить-то, насколько я понимаю, некого.

— Однако, поищу какой-нибудь жратвы для роты. Иначе нам тут каюк.

— Там до тебя давным–давно все перерыли. Наверно, старателям легче найти золото в тайге, чем сейчас картофелину в деревне. Там же не осталось никого. Все кошки разбежались.

Старшина любил побалагурить при упоминании о золоте, о старателях, знал множество разных историй, но на этот раз только понуро промолвил:

— Золотишком баловался. Однако, бывало, и с пустыми карманами возвращался. Обещать ничего не буду. А вдруг… Чем черт не шутит. У меня на добычу нюх, командир.

Некоторое время я раздумывал — отпускать его или не отпускать. Старшину поддержал мой связной Егор Штань- ко, и я сдался. Меня тоже одолевал голод, кружилась голова, но я должен был не показывать виду, а еще и поддерживать боевой дух роты, а главное — не допустить на своем участке прорыва обороны немцами.

— Ладно, иди, — согласился я. — Утром пораньше. А к вечеру чтоб был на месте. Захватишь еще ящик патронов на

обратном пути.

— Лучше бы с вечера, командир.

— Что задумал?

— Переночую в тылах полка, просушусь, послухаю, что там говорят, покалякаю со своим знакомым Ласки- ным из продсклада, может, что и подскажет, хитрая бестия, а на зорьке покопаюсь в деревне.

Штанько опять поддержал старшину, сказав, что надо поразузнать и оглядеться на месте.

— То дило сурьезне, — закричал Егор. — Так шо его надо начинать с вечера.

Старшина вылез из окопа. Его сутуловатая спина, короткий армейский пиджак (шинель он не признавал),

выхваченные из темноты яркой вспышкой немецкой осветительной ракеты, скоро исчезли в непроглядной теми.

Я сомневался в успехе его вылазки, а Штанько убеждал меня, что Семен калач тертый, на ветер слова не бросает и зазря топтать чоботы не станет.

Позвонил комбат, справился об обстановке и ни словом не обмолвился о том, что батальон на ночь остался голодным. Мне даже показалось, что он старался побыстрее закончить разговор, чтобы я не напомнил ему об этом. Мне все же хотелось у него спросить — когда мы получим паек, но комбат, наверное, предугадывая мой вопрос, поспешил положить трубку.

Штанько сооружил мне у окопа, как он сказал, кровать из «пуховиков» — трех патронных ящиков.

— Коротковата, но ничего, лягайте, отдыхайте.

Я прилег, укрылся плащ–палаткой, но уснуть не мог не только из-за того, что желудок был пустой, мерзли мокрые ноги, и не столько от холода и скрюченного положения, сколько от клубящихся роем мыслей. Хорошо бы отключить на время мозг, выспаться. Я так за день намаялся, что скоро уже не чувствовал ни отекших ног, ни рук, только резь в глазах уже который день не утихала. Единственным домашним носовым платком, чудом сохранившимся в кармане, грязным, вытирал я слезившиеся глаза. Выстирать его было негде. Да и без мыла какая стирка. О мыле никто и не говорил, когда есть нечего. Мыло — предмет роскоши на передовой. О нем вспоминают, когда смотрят на заскорузлые, почерневшие от грязи руки. Отмыть их можно только с песком в горячей воде, и на это уйдет не меньше месяца. Когда же мы мылись? Не мог припомнить. Я потерял счет времени и пытался восстановить в памяти недели. Потом стал размышлять, а зачем мне это восстанавливать? На передовой все равно, какой день. На войне нет выходных, с передовой никуда не

уйти, даже в батальон — пятьсот метров в тыл — нельзя без разрешения комбата. Нет никакого смысла отсчитывать дни недели. Никто не знает, когда же нас сменят на передовой, поведут в баню и наступит конец кошмару. Стерлись не только границы дней, но дни и ночи. Только свет и темь как-то напоминают о круговороте времени. Замечаю светлое время суток — день, темное — ночь. Но какое это имеет значение для окопников? Стрельба не прекращается круглые сутки. Правда, в темноте затихает перестрелка, можно вылезти из окопа, размяться.

Никто не спрашивает — как вы там выстояли день? Никто не сочувствует, никто не переживает за нас. Наше положение в окопах воспринимается как само собою разумеющееся состояние на войне. Человек привыкает ко всему. В окопах привыкание связано с отупением и безразличием к своему состоянию. Ни о чем нельзя задумываться и, боже упаси, строить какие бы то ни было планы на час вперед или даже на минуту. Но в ночи под покровом темноты, раз жив и война идет своим чередом, надо готовиться к завтрашнему светлому времени суток. Эта подготовка выглядит как-то странно. Люди в окопах надеются выжить. Наверное, стремление уцелеть и есть самое светлое на войне. Оно у каждого теплится глубоко спрятанным в душе. О нем никто ни слова не говорит, но оно есть, и от этого при обстрелах невольно втягивают голову в плечи, приседают на дно окопа, перебегают от окопа к окопу пригнувшись.

Вся защита на передовой — окоп, хотя часто рытье окопов было безнадежным, так как под снегом нередко оказывалась вода. Но и в окоп в любую минуту может залететь мина, а стоит чуть приподнять над бруствером голову — сразит наповал пуля снайпера, а чаще просто шальная. Каждая минута в окопе непредсказуема. Все зависит от слепого случая. Но случай, во власти которого находится окопник, может обернуться по–разному. Можно погибнуть, но можно и уцелеть. Как распорядится судьба.

Припоминаю, как однажды при артналете на деревню все бросились в глубокий крестьянский подвал на огороде. Я почему-то побежал от него подальше и лег между грядками. Снаряд угодил в подвал, став могилой для всех, кто пытался там укрыться.

Я сжимаю воспаленные веки, стараюсь отогнать от себя набегающие мысли, но не могу справиться с собою. Начинаю удивляться, что никто из бойцов роты не просится в полковую санчасть, даже к батальонному фельдшеру Никто ни на что не сетует, хотя многие еле–еле ноги волочат.

У одного бойца на шее вскочил огромный фурункул. Грубый, засаленный воротник шинели, наполовину прикрывая его, трет, как теркой, покрасневшую шишку, но он молчит, не жалуется. Терпит. Перевязать нечем. Бинтов нет.

Знаю, у другого невыносимая зубная боль, но он тоже терпит молча. В полку нет зубного врача, а кто же его

отпустит в дивизионный медсанбат за десять километров в тыл? Смешно даже подумать.

На передовой жизнь упрощена до предела. Апатия делает свое дело, теряется интерес ко всему и даже не верится, что где-то есть другая жизнь. Наверное, притупление, как наркоз, помогает выжить в окопах. Я чувствую, что во мне все замерло. Отвлеченные мысли наваливаются помимо моей воли и кажутся смешными, как только встряхнешься, ведь стрельба не утиха. ет и ракеты ежеминутно ослепляют всех холодным светом. Они на какое-то время прерывают поток моих раздумий.

Разрыв поблизости мины или снаряда заставляет инстинктивно прижиматься к земле. Значит, можно сказать, что я еще жив, мозг срабатывает, реагирую на трескучий разрыв и визг пули. Хочется все же избавиться от нахлынувших мыслей, не дающих прикорнуть, но как это сделать — не знаю.

Бодрствуя, вспоминаю недавний разговор с корреспондентом дивизионной газеты на окопную тему.

— Из окопа не все видно, — возразил он мне.

Я понял его намек и не согласился с ним.

— Хватит того, что из окопа нам видна война в натуральном виде. Без бинокля. В штабах не все видно. Многим не мешало бы на передовой побывать, прежде чем разрабатывать планы, отдавать приказы. Посидите с нами денек- другой, и вы согласитесь, с окопниками.

Корреспондент смутился, невнятно отстаивал свою точку зрения, повторяя, что из окопа видна ничтожно малая полоска фронта.

— Да, но эту полоску видят, чувствуют на себе миллионы сидящих в окопах на всем огромном фронте. Значит, из окопов им виден весь фронт метр за метром, вся война, как на ладони. Только окопники ее чувствуют, какая она есть, а не в штабах.

Вопросы дотошного корреспондента раздражали меня, я посоветовал ему поговорить с Лихачевым, Штанько и другими бойцами, сидящими рядом по колено в воде. Он не решался. И, пригнувшись, постепенно исчез в темноте. Я не знал, что он напишет, но в конце концов все стратегические планы решают солдаты на поле боя. Без этого немыслимо осуществление даже гениально разработанного сражения. За все плохие и даже

хорошие планы солдат расплачивается кровью и жизнью.

Эти мои размышления вдруг прервали Лихачев и Штань-

ко, говорившие вполголоса, так, как будто поблизости мурлыкал ручей, как это бывало до войны, в звенящей в ушах тишине на лугу в летнюю пору.

Я удивился, что неуправляемые раздумья привели меня в родные места на Белгородщину. Защемило на душе, и я старался отогнать от себя эти мысли. Поэтому они занимали меня недолго. Я поймал себя на том, что на передовую бросают людей, как в топку. Их пожирает огонь, но он не греет, а холодит. Ужаснулся своему открытию, даже приподнял голову и заглянул в окоп, словно боялся, что меня могли услышать Лихачев и Штанько. Что бы они сказали на это? Думаю, согласились бы со мною.

— Не спится, лейтенант? — спросил сочувственно связной.

— Никак…

— Пошли бы в батальон, — заботливо предложил Штанько. — И там бы посушились, поспали.

Я мог пойти в землянку к комбату, но с какими глазами, вернувшись, смотрел бы тогда на бойцов, не сомкнувших глаз. Поэтому не уходил ни разу. Я весь у них на виду.

Тяжело, порой невыносимо на передовой, но удивительно, что меня ни разу никто в роте не спросил:

— За что воюем?

Всем ясно. Такой вопрос не возникает даже у всеядного Лихачева.

Ночь прошла, как обычно, в перестрелке. Правда, с нашей стороны я слышал только винтовочные выстрелы, а с немецкой строчили пулеметы, автоматы, светили ракеты.

111 ел и методичный минометный обстрел в темноте наших окопов. Мины перелетали нас, рвались где-то в тылу.

На рассвете снова позвонил комбат и велел прислать старшину за пайком для роты. Пришлось направить Штанько. Он свернул и взял под мышку плащ–палатку и, пошатываясь, пошел в тыл к речушке, где метрах в пятистах от окопов, под крутым обрывом находились две землянки батальона.

Вернулся он скоро, зная, что его ждут голодные бойцы. Досталось по половинке сухаря на день. Раздали в темноте. Похлебку обещали только к вечеру, когда стемнеет. Сухари сразу же съели, но от этого чувство голода только усилилось.

Ближе к середине дня после непродолжительного

налета на участке полка поднялась невообразимая трескотня немецких автоматов, видимо, рассчитанная на устрашение нас. Вслед за этим показались и сами автоматчики, валившие прямо на окопы. Они строчили на ходу. Не так-то просто было отразить

такую атаку нашими трехлинейками. Настал час испытания.

Солдаты роты на брустверах припали к винтовкам и с какой-то отрешенностью и безразличием к трескотне, поднятой немцами, палили по показавшейся цепи. Напряжение нарастало. И только лишь после того, как ударили наши пулеметы и немцы залегли на нейтральном поле, у меня отлегло на душе. Выдержали первый натиск!

Штанько, тоже усердно паливший из своего карабина, безбожно ругался:

— Вот, туды их… На ривном мисти накрыть бы их снарядами та минами. А воно, мабуть, нема у нас ни мин, ни старядив,' ни хлиба, ни сала. А воевать-то нам…

— Нам, нам, только помолчи, — бросил я ему, но он продолжал что-то бубнить.

Немцы вновь усилили огонь по нашим окопам из минометов и снова готовились для атаки. В самый критический момент, когда казалось, что ползущие по почерневшему нейтральному полю немцы вот–вот ворвутся в наши окопы, Штанько, перекрестившись, запрокинув голову, обратился к богу. Мне было не до него, бормотавшего какую-то молитву, но его набожность немало удивила меня. Удержаться в своих окопах мы могли только напористым огнем, а не обращением к всевышнему, а из винтовок плотного огня не получилось, к тому же надо было подумать и об экономии патронов, гранат, мин и снарядов.

Довольно жидкий обстрел дивизионной и полковой артиллерией немецкой пехоты вызывал недовольство не только у Штанько. Мы не знали еще, что норма расхода боеприпасов с каждым днем сокращалась и была доведена до одного снаряда на оружие в сутки, ко полк пока держался, не сдал своих позиций, не отошел ни на один метр.

Постепенно к вечеру бой утих, наступила передышка. В тыл отправляли раненых, сносили в одно место убитых, дожидались прихода старшины, запропастившегося где-то на весь день. Штанько даже высказал предположение, что старшину могли задержать как дезертира и вряд ли он вообще вернется.

— Тут у нас таке, а вин там… — высказал свое нетерпение Штанько.

Мелькала эта мысль и у меня, но я надеялся на находчивость Лихачева, верил в его добрые намерения помочь роте. А вдруг что-то принесет в своем мешке, как сказочный дед Мороз.

— Ну, как вы тут? Живы? — опустив ящик с патронами у окопа, спросил старшина из темноты.

— Живы, — ответил сдержанно Штанько. — Як там у тебя дила? Разжился чем-нибудь?

— Плохи дела, Егор.

— А в оклунке шо?

В темноте я не сразу рассмотрел в руках старшины оклунок, который он поддерживал на носках сапог, чтобы не замочить его.

■— Мука.

— Не бреши, — махнул рукой Штанько.

Я тоже усомнился. Даже засунул руку в мешок и, ощутив что-то мягкое, сыпучее между пальцами, не поверил, пока не вынул на своей ладони горсть муки крупного помола.

Хотелось сразу спросить, где и как ему удалось добыть муку, но меня опередил с этим вопросом Штанько.

— Однако, солдатская тайна, — ответил усталый Лихачев. — И все-то тебе надо знать, — добавил он почему-то с раздражением.

После этого я не стал расспрашивать старшину, полагая, что ему, наверное, удалось уговорить своего знакомого на продскладе поделиться, может быть, припрятанными им запасами на черный день.

— Ну, и что ты будешь делать из этой муки? Пироги печь? — поинтересовался я, и в самом деле не зная, что же из нее можно сделать на передовой.

— Замешаем в кипятке, — ответил старшина.

— Галушечек бы, — проронил Штанько.

— А ты знаешь, как их готовить? — спросил Лихачев.

— Бачив, як жинка месила.

— Отпустите его со мной, командир, — обратился старшина, — мы мигом приготовим.

— Идите.

Старшина вскинул оклунок на плечи, и они ушли в тыл к землянкам батальона. Место там было относительно безопасное. Можно было даже развести небольшой костерок.

Как только они отошли, вслед им, словно немцы подслушали наш разговор, полетели мины и, с леденящим

свистом вонзаясь в землю, разорвались поблизости. Я подумал, что, наверное, Штанько залег, а Лихачев, невольно пригнувшись, шагает своими длинными шагами, призывая Штанько не отставать от него. Такое я наблюдал за ними.

Через некоторое время, уже ночью, Лихачев и Штанько возвратились с полным ведром варева, снятого с огня, еще теплого. Лихачев кружкой зачерпнул мне из ведра и вылил в котелок. Я попробовал несоленое месиво, пахнущее бензином.

— Откуда такой запах/ — спросил я старшину.

— Выпросили ведро на время, а оно оказалось из-под бензина, — объяснил Лихачев извиняющимся тоном.

— Та ничого, — сказал Штанько, подставляя свой котелок старшине.

Я велел тотчас же раздать солдатам, которые все равно не спали и, конечно, ждали, как говорили в окопах, возможности чего-нибудь положить на зуб.

Варево пришлось всем по вкусу. Жаль только, что мало его каждому досталось. Но старшина заверил, что мука еще осталась, и на утро обещал еще такой же завтрак. Ничего подобного мне раньше есть не приходилось. Наверное, только житейский опыт таежника позволил ему так употребить муку.

— Ще б табачку на цигарку, и можно дальше воевать, — отведав варева, сказал довольный Штанько.

— Мало же тебе надо, — упрекнул его Лихачев, — а и того не дают. Однако, обидно за тебя, Егор.

— Чего ж так?

А того, что ты доволен мамалыгой из вонючего

ведра. Смотри, огонь ко рту не подноси, а то взорвешься от бензиновых паров. Кто будет воевать? Такое пойло разве что для свиней годится, а ты — солдат Красной Армии, вертишься под ногами у смерти, и кормить тебя должны как следует. А если б в самом деле наш солдат воевал не впроголодь? — повернулся с этим вопросом ко мне Лихачев. И сам ответил:

— О–го–го! Держись тогда, фриц! — поднял он вверх угрожающе кулак.

Простодушный Штанько был настроен на другой лад. На Лихачева он не обиделся, продолжал свою тему:

— Г1о мени б, хамсы, квасу и картошки с зеленой цибулькой… Больше ничого. Ниякого золота…

Лихачев посмотрел на Штанько с явной неприязнью,

как только услышал о его пренебрежительном отношении, к золоту. Этого он не терпел.

— Однако, погоди, погоди… Ты держал вот так золотишко на ладони? — протянул он руку к Штанько.

Тот замялся. Соврать не мог. На его мозолистых ладонях лежали только разве горсти зерна, а не золота, которого он, может, никогда и не видал за все прожитые годы.

— Та на шо мени твое золото? То ж желизо!

— Значит, не держал, темная деревенщина, раз не отличаешь золота от железа. Где ж ты жил?

— В Калмыкии.

— Все ясно.

— Та на шо воно мени нужно, — начал возмущаться Штанько.

Я не вмешивался в их разговор, хотя мне и хотелось

поддержать Штанько. Очевидно, он имел в виду, что золото, как и железо, — металл, но не знал этого слова. Лихачев же, видно, догадывался об этом, но продолжал корить Штанько за его темноту.

— Був би хлиб, а без золота прожить можно. Вот сичас кучу тоби золота, ну и шо? Шо б ты робив? Та ничого. Сдохнешь со своим золотом. А подай, як ты сказав, бильше нам хлиба, так нас и штыком не выковыряешь из окопа. Хлиб — жизня, а золото — желизо, — не сдавался Штанько.

— Я больше не могу, — обратился ко мне Лихачев. — Растолкуй ему, командир.

Растолковывать я не стал, был рад тому, что они своим нехитрым разговором отвлекли меня на какое-то время от тяжелых дум о нашем невыносимом положении. Слушал я их так, словно на миг заглянул в театр и услышал диалог между двумя героями. Мы сидели в самом пекле войны, и поэтому этот разговор Семена и Егора удивил меня. Оба они не думали о смерти, хотя она и была совсем рядом, притаилась за нейтральным полем.

Рано утром, в темноте, старшина ходил от окопа к окопу с ведром и снова раздавал приготовленный им мучной завтрак. От Штанько я знал, что когда они варили и первый раз, опасались, как бы мука в кипятке не получилась комками и не пригорела, поэтому старшина требовал энергично помешивать палкой, пока ведро было над огнем. Штанько старался.

…Уже который день напирали немцы на нашу линию обороны, но на участке полка им не удалось продвинуться

несмотря на то, что солдаты пошатывались от голода. Но сегодня к вечеру, прислушавшись к перестрелке, можно было понять, что на соседних участках им удалось глубоко вклиниться в нашу оборону. Положение становилось угрожающим.

— Выстоим, командир? — спросил меня тихо старшина, чтобы не слышал Штанько.

— Сомневаешься?

-— Однако, невмоготу.

Лихачев сказал то, что было и у меня на душе, но я не мог ему об этом сказать, хотя напряжение достигло предела. Команды на отступление не было.

— Надо держаться, — сказал я ему.

…21 апреля 1942 года после месячных упорных боев наша оборона была окончательно прорвана, немцы пробили вдоль шоссе из района Старой Руссы к окруженной 16–й армии коридор шириной 6—8 километров и до сорока в длину, прозванный теми, кто оказался по обе стороны «рамушевским» по названию села

Рамушево, занятого немцами.

Отходя под натиском немецких автоматчиков, поддерживаемых огнем артиллерии и минометов, мы бросали в лесах тех, кто ценою своей жизни пытался остановить наступление немцев. Они оставались там лежать навсегда и считались в полковых канцеляриях пропавшими без вести. Унести их мы не могли. Все живые несли на себе оружие и боеприпасы. Таковы суровые бесчеловечные будни войны.

С той поры Северо–Западному фронту шли грозные приказы Ставки — перерезать этот коридор и уничтожить демянскую группировку противника, однако кровопролитные бои двух армий — одной с севера, а другой с юга — не принесли успеха. Обе наши армии несли большие потери, а по пробитому коридору шло беспрерывное снабжение 16–й немецкой армии.

Почти все лето сорок второго года фронт с большим упорством стремился перерезать «рамушевский коридор». Противник настолько привык к этим шаблонным попыткам, что всегда оказывался готовым к отражению атак наших полков и дивизий.

В самом коридоре было тоже жарко. Недаром же немцы прозвали его «коридором смерти». В неотправленном из «коридора» письме унтер–офицер Франц Бартке писал жене:

«Лучше десять походов на Францию, чем один в Россию. Мы имеем большие потери. Русские атакуют нас непрерывно и дерутся до последнего…»

Ожесточенные бои шли за каждую деревню вдоль коридора, как за большие города и важные стратегические пункты, хотя никакой разницы, за что вести бой, нет. Там и там лилась кровь, гибли люди. Каждый полк, а то и дивизия стремились овладеть деревней, часто просто местом, где раньше была деревня. У всех на языке были названия этих деревень: Сычево, Борок, Сутоки, Цемяна, Зоробье… Всех не перечислить. Подступы к ним просматривались и простреливались, пробраться на передний край удавалось только в темноте, перебежками, когда гас свет ракет.

…Ночью командир полка вызвал к себе в землянку командиров. Трудно было протиснуться между набившимися в нее людьми. Казалось, что в землянке собрался весь Полк.

Уже в который раз майором ставилась задача — овладеть противоположным берегом реки севернее и южнее деревни Данилкино и потом с двух сторон ворваться в нее. Задача выглядела предельно просто. Но эту схему уже знал противник.

На коленях у командира уже лежала карта. Комбату она не нужна была. Он видел всю обстановку своими глазами и поэтому

предложил свой план, удививший майора.

— Предлагаешь в лоб? — спросил он комбата.

— Мы уже пробовали взять деревню в обход с двух сторон. Немцы привыкли к нашей тактике. Почему бы не попытаться наступать прямо на деревню? Такой дерзости они от нас не ждут. По крайней мере она была бы неожиданностью для немцев.

Но приказ есть приказ, его не обсуждают. Комбат замолчат.

В полку оставалось мало активных штыков — один батальон, и то неполного состава. На его пополнение бросили все резервы — шоферов и комендантский взвод. На второй день, неся большие потери от непрерывного огня противника, небольшой группе удалось зацепиться за левый берег реки и даже ворваться в деревню, но ряды стрелковых рот поредели. Развить успех, давшийся дорогой ценой, было некому. Деревню пришлось оставить.

— Зачем мы штурмуем эту деревушку? — спросил меня старшина. — Только людей гробим.

— Что за разговор? — оборвал я его, хотя был с ним согласен.

Лихачев покряхтел, обиду не затаил. Человек он был на редкость понимающий и сообразительный.

На крупные наступательные бои сил не оставалось. Каждую в отдельности деревушку, наверное, не следовало брать. Тем не менее полк должен был выполнять поставленную задачу по овладению деревней, действуя мелкими группами, которые еще нужно было наскрести в тыловых подразделениях. Бои за деревни, кроме потерь, ничего не приносили даже в тактическом плане. А о стратегическом и говорить нечего.

Ставка сменила командующего фронтом, не справившегося с поставленной задачей. В командование вступил маршал Тимошенко, и в войсках появилась надежда, что с его прибытием две армии, наступающие друг другу навстречу, замкнут «рамушевский коридор», и немцы снова окажутся в котле. Шла подготовка к наступлению.

В который раз мощная артиллерийская подготовка, призванная расчистить путь пехоте, потрясла приильмен- ские леса. До ее начала, как только рассвело, политруки зачитывали обращение командования фронта — опрокинуть ненавистного врага, уничтожить немецко–фашистских захватчиков, очистить родную землю!

Гитлеровское командование тоже обратилось к своим солдатам:

«У тебя нет сердца и нервов, на войне они не нужны. Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или

женщина, девочка или мальчик: убивай».

Маршал в роскошной бекеше и папахе в сопровождении генералов и офицеров шел по просеке, запруженной пушками, реактивными установками, машинами, штабелями снарядов, останавливался на минуту, подбадривал всех солдат и офицеров, рассчитывая на успех в начавшейся зимою 1943 года наступательной операции.

Более полутора часов содрогалась многострадальная земля от грома артиллерийской канонады, казалось, ничего живого в кромешном аду немецкой обороны, затянутой черным облаком, не останется, но как только поднялись стрелки и двинулись через нейтральное поле к немецким траншеям, ожили огневые точки, атакующие попали под их губительный огонь, несли большие потери, но командование приказывало идти только вперед.

Отдельные роты и батальоны ворвались во вражеские окопы и вели там стремительный бой. В штабах трещали телефоны, требовали во что бы то ни стало развить успех, но танки уже не первый раз застревали в трясине и были заняты тем, что вытаскивали один другого, артиллерия постепенно умолкла, словно выдохлась, пехота осталась без поддержки и развить успех не могла. Продвижение в глубине обороны противника измерялось метрами. Кто- то продвинулся на шестьсот метров. И это был успех.

К концу первого дня наступления в штабах полков тяжело вздыхали, докладывая наверх, что задачу не выполнили. Последующие дни также успеха не принесли. «Героизм пехоты и саперов, — писал очевидец тех боев, — их многочисленные жертвы пропали впустую».

Но упорные бои продолжались.

…2 марта 1943 года Совинформбюро опубликовало сводку о ликвидации Демянского плацдарма:

«На днях войска Северо–Западного фронта под командованием маршала Тимошенко перешли в наступление против 16–й немецкой армии… Противник, почувствовав опасность окружения, начал под ударом наших войск поспешное отступление на запад».

Прекратил свое существование и «рамушевский коридор», обозначенный по обе его стороны бесчисленными братскими могилами воинов, сражавшихся там.

…В тот день меня вызвал начальник штаба полка и повел разговор о новом назначении. Он все время к чему-то прислушивался, потом насторожился, уставился на меня:

— Пойди посмотри, что за тишина? А я пока позвоню.

Я вышел из землянки. Не слышно было ни одного

выстрела. Меня это поразило. В приильменских лесах вдруг установилась величественная тишина.

В это время комбат доложил, что немцы отошли. На лице начальника штаба я не увидел никакого удовлетворения этим докладом. Он какое-то время безмолвствовал.

— Однако, война не кончилась, а немцев выпустили из мешка, — сказал мне Лихачев, как только я возвратился из штаба.

Да, война не кончилась. Окопникам еще предстояли Курская битва, сражения в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии, на Зееловских высотах и в Берлине.

До Эльбы было еще очень далеко. «Рамушевскому коридору», можно сказать, не повезло. По жестокости и кровопролитное™ затяжных боев они мало чем отлича

лись от других сражений. Стоило ли тратить на это столько сил? Тогда у тех, кто там воевал в окопах, такой вопрос не возникал.

Найдет ли солдат утешение в том, что, по признанию немецкого генерала Зейдлица, окруженная 16–я армия потеряла только убитыми 90 тысяч солдат и офицеров?

А Гитлер писал, что из его любимой дивизии СС «Мертвая голова», насчитывавшей 20 тысяч человек, в демянском котле уцелело всего 170 человек?

Война шла не на жизнь, а на смерть. Но совесть скромного ветерана Великой Отечественной, гнавшего оккупантов с родной земли, чиста. И на его долю воина- освободителя выпала не лучшая участь. Не хотелось теребить ноющую рану солдата словами Матусовского:

Ни ветки какой, ни столба со звездой
Нельзя водрузить на могиле.
В траншеях, заполненных ржавой водой,
Мы мертвых своих хоронили.

Ему и так сегодня тяжко живется, попрекают и за то, что на его груди по праздникам звенят солдатские медали.

…Позарастали чащобами места былых сражений, но на их месте в приильменских лесах еще и сегодня белеют кости воинов, павших по обе стороны «рамушевского коридора».

- За их память, — предложил Геннадий Иванович, когда я закончил читать.

Мы выпили, помолчали…

11

Литерный поезд остановился на станции Кавказская у старинного вокзала, уцелевшего в войну. Л. Брежнев возвращался из нашумевшей поездки в Баку, где Алиев организовал ему грандиозный карнавал. Остановка на 15 минут. Но поезд задержался несколько больше, т. к. Леонид Ильич вышел на платформу прогуляться вместе с Черненко и Медуновым. С ними и Г. Разумовский. Перрон был очищен от посторонних. Остались только сотрудники охраны, милиции и железнодорожники. У ворот, справа и слева от вокзала скопилось много народа. Люди прилипли к железным решеткам. Любопытных было много.

Раздавались голоса с требованием, чтобы Леонид Ильич подошел к ним.

— Леонид Ильич, Леонид Ильич, — звали люди. У него на ухе был слуховой аппарат и, вероятно, он услышал обращения к нему из толпы. Подошел.

— Что вы хотите?

— Леонид Ильич, плохо у нас со снабжением, нет мяса, масла, мало молока.

С ним стояли Медунов и Разумовский.

— Вот он — хозяин в крае. Он вам ответит на ваши вопросы, — указав на Медунова, Брежнев не стал задерживаться у ворот, а Медунов вступил в спор с теми, кто задавал вопросы. Брежнев и Черненко в сопровождении охраны прогуливались по перрону.

Медунов смело отбивался от тех, кто жаловался и требовал обеспечить город нормальным продовольственным снабжением.

— Вам выделяются фонды? Выделяются. Вот вы ими и распоряжайтесь. Городские власти должны регулировать, распределять эти фонды в течение квартала. Секретарь горкома и председатель горисполкома, где вы?

— Мы здесь.

— Вот и давайте, объясняйте. А я скажу, что на Кубани с продовольствием проблем нет. Вы не знаете, как в других регионах. Там не то, что мяса, растительного масла нет, шаром покати в магазинах. Живут там впроголодь. Это крикунам кажется, что у нас плохо. У нас все есть. Поезжайте в Ростов. Там ввели рыбные дни. Всю неделю — мороженая рыба. Вы этого хотите? Мы кормим Урал, Грузию и БАМ. Вагон одного чеснока отправили строителям.

Вопросы сыпались неприятные, Медунов оторвался от ворот, присоединился к Брежневу и Черненко. Ему хотелось получить книгу Леонида Ильича с дарственной надписью. Он напомнил об

этом Константину Устиновичу.

Брежнев выглядел рыхлым стариком, с одутловатым лицом, со старческой походкой. Ничего странного в этом не было. Возраст давал о себе знать. Непривычным было видеть другое — ссутулившегося Генсека в вязаной домашней кофте без звезд и медалей, с которыми он не расставался.

Сотрудники охраны показывали на часы — пора уже ехать. Брежнев, а за ним и Черненко поднялись в вагон. Медунов ждал книгу. Поезд стоял. Черненко с тамбурной

площадки протянул две книжки «Малая земля» Медунову и Разумовскому. Оба сердечно благодарили за дорогой подарок.

Поезд плавно, почти бесшумно отходил от перрона.

У Сергея Федоровича не было предела радости. Он читал и перечитывал автограф Брежнева, восхищался, заявляя, что это не просто книга, а историческая ценность. На книге Разумовского Брежнев, кажется, только расписался.

«Книга «Малая земля», как это и бывает с произведениями истинной литературы, несет на себе отпечаток личности автора».

Вот такой лестный отзыв Сергея Федоровича позднее прочитал я и тут же спросил фронтовика Геннадия Ивановича, командовавшего в войну батареей:

— Можно ли с этим согласиться?

Подумав, он ответил мне приведенным в книге примером: «Во время одного из партактивов, который мне пришлось проводить, люди сидели рядами на земле. В середине доклада где-то позади меня, не так уж далеко, разорвался немецкий снаряд:.. Я продолжал говорить, но минуты через две разорвался второй снаряд, уже впереди… Нас взяли в артиллерийскую «вилку». Третий снаряд, как говорили на фронте, был наш. Вот тут я и отдал приказ: «Встать! Влево к лощине триста метров бегом–марш».

В этом наивном примере весь автор — литературный и военный, тот, который на обложке и тот,, писавший, придумавший «вилку».

Я охотно верю Швейку, однажды отдавшему приказ: «Бегом марш с десятью рядовыми на склад». Но, чтобы проводить партактив на виду у немцев?.. Даже подпоручик Дуб задумался бы — стоит ли подставлять людей под «вилку».

Читаем дальше из того же приказа. «На тонкую полоску Малой земли за семь месяцев боев высадились 62 тысячи человек и тысячи из них похоронены там с честью и славой».

Но павшие не знают этого утешения. А живые вспоминают как в кромешном аду перемалывались наши полки и дивизии. Шестьдесят две тысячи испытали этот ад на себе. Их мужеству

мало поклониться. Своим подвигом они завоевали себе бессмертие в летописи Великой Отечественной войны!

— Но стоило ли проливать там столько крови? Стоил ли тот пятачок десятков тысяч жизней? — размышляя, в свою очередь спросил меня Геннадий Иванович.

— В стратегическом плане Малая земля на огромном фронте была каплей в море и не решала задач большой войны. Можно было обойтись без десанта, не губить людей ради отвлечения горстки немецких дивизий, тоже ведь занятых перемалыванием русских, чтобы они не перебрасывались на стратегические направления, где решался исход войны. Командованию фронта можно и нужно было найти другое решение. Создать, например, угрозу отсечения немецкой группировки на Таманском полуострове. Может и штурмовать Новороссийск не пришлось бы?

По дороге из Кропоткина в Краснодар Сергей Федорович восторгался организацией встречи Брежнева в Азербайджане, отмечая гостеприимство народа. Видимо, поразмышляв, сказал:

— Пожалуй, переборщил Гейдар Алиевич. Утомил Леонида Ильича.

— Да, судя по всему, утомил, — согласился Разумовский.

Академик Чазов утверждает, что Брежнев уже тогда был недееспособным государственным деятелем. Ему, конечно, как врачу, как говорят, было виднее. Но слишком уж запоздалое заявление о немощности Генсека. Мне пришлось ежедневно сопровождать его от дачи до маце- стинского комплекса в Сочи, где он принимал ванны в последний приезд на Черноморское побережье, и мог еще раз убедиться в этом. Но это просто вынужденное наблюдение, а академик должен был сказать свое слово о состоянии здоровья главы государства раньше, при его жизни. Ведь от имени Леонида Ильича вершились государственные дела по бумагам, подписанным им, но составленным в лучшем случае его помощниками.

Впрочем и академику Чазову тоже писались выступления. Так что с некоторых пор укоренилась практика подготовки докладов и выступлений аппаратом, поэтому даже недееспособный мог произносить речи, управлять государством и партией.

12

Подъезжая со следователем к кирпичному заводу, я не находил в нем ничего особенного, хотя Геннадий

Иванович советовал мне побывать на нем. Потом, когда мы познакомились поближе, я понял, почему он был неравнодушен к этому заводу.

Директора на месте не оказалось, решили побеседовать с инспектором по кадрам. Узнав, зачем мы приехали, она сразу же припомнила, что на заводе работали немцы Шмидты.

— Они угнали самолет в Турцию, — сказал следователь. — Что вы о них можете сказать?

— А что о них говорить… Немцы они и есть немцы. Этим все сказано. Правда, от работы не отлынивали, а смотрели на всех исподлобья.

— Кто их знал поближе? На работе, дома…

— Не замечала, чтобы они с кем-то водились из заводских. Наведывался к ним какой-то шофер на грузовике. Тот, который был помладше, кажется Вальдемар его звали, увивался за молоденькой рабочей. Сама из окна видела.

— Кто она?

— Рабочая, беглянка.

— Что значит беглянка?

— Ну, ни с сего ни с того взять и приехать на какой- то кирпичный завод… Как вы думаете, кто она такая? С виду тихоня, а отчаянная девка. Может, к ним и прикатила, а они, значит, ее, дуреху, с собой не прихватили. Понятно, без бабы легче, — фантазировала инспекторша.

Следователь посмотрел на меня.

Я тоже ничего подобного не ожидал услышать и предложил инспектору рассказать подробно о той рабочей.

Она начала с того, что в том году март выдался на Кубани холодным. Небо хмурилось, дули северные ветры, приносившие дождь со снегом. Слякоть расквасила проселки, дороги и улицы большой станицы, вытянувшейся на километры вдоль шоссе, покрылись жидкой грязью.

Судя по такому вступлению, нам предстояло услышать довольно подробную историю появления на заводе близкой связи одного из угонщиков самолета.

— С чем черт не шутит, — заметил следователь, скрывая улыбку, — может быть она прольет свет на подготовку Шмидтов к бегству.

Надо установить, где она тогда проживала, опросить ее и

жильцов дома.

…В центре, у станичной столовой, останавливались редкие маршрутные автобусы, облепленные черной дорожной жижицей. Из одного такого автобуса сошла вытянув

шаяся девочка, подросток в пальтишке с короткими рукавами, явно выросшая из него, в платке, в черных резиновых ботах. Вслед за ней сошла и отяжелевшая с виду суровая казачка с пустой корзиной, в годах, одетая тепло, по–станичному, как охотник, в резиновых сапогах. Девочка держала в руках небольшой чемоданчик, который не решалась поставить в грязь.

Она осматривалась по сторонам, словно попала в большой многоликий город, захвативший ее своими видами, не зная, в какую же сторону ей идти.

А станица с саманными домами была самой обыкновенной, каких много на Кубани, ничего примечательного в ней не существовало, кроме кирпичного завода, построенного еще в начале века.

На автобусной остановке в дощатой будочке, похожей на курятник, у окошка с дверцей сидела кассирша. Ей должно быть тоже было зябко в таком грубо сколоченном помещении. А рядом навес с шиферной крышей, под которым стояло несколько съежившихся станичников в ожидании автобусов или попутных машин.

— Одень, — показывая на варежки, сказала девочке казачка. — Руки как красные бураки. Иди вот по этой улице, по шоссейке, да гляди, шоб машины не сшибли. По левую руку увидишь высокую трубу завода. Мой там работает и говорил, что людей там не хватает. Возьмут… Ежели негде будет приткнуться на ночь, приходи ко мне. Спросишь бабку Пелагею на той улице, — показала она рукой.

Вход на территорию кирпичного завода был прямо с шоссе по развороченной грузовыми машинами дороге, усеянной по обе стороны битыми кирпичами. Подтверждением, что это был завод, возвышалась прокопченная труба и печи для обжига кирпича.

Слева от дороги стояло одноэтажное старенькое зданьице, к которому и направилась девочка со своей поклажей — чемоданчиком, вместившим все ее пожитки. Она спросила у стоявшей женщины в брезентовой куртке и таких же штанах об отделе кадров. Та показала ей рукой на дверь старого здания. Справа по коридору на первой же двери висела табличка: «Инспектор по кадрам. Бухгалтерия». Девочка перевела дух, подтянулась, но робко открыла дверь. Увидев сидевших женщин, занятых работой с бумагами, она поздоровалась несмело, поставила у своих ног сбоку чемоданчик. Инспектор отдела

кадров

и бухгалтер смотрели на нее, как на подростка, только что освободившегося из трудовой колонии, хотя лицо ее было робким и добрым.

— Что скажешь? — спросила инспектор, еще молодая женщина, хрипловатым голосом, судя по пепельнице, спичкам и пачке сигарет на столе, только что курившая, так как в комнате, хотя и была открыта форточка, дымок еще не выветрился, пахло табаком.

— Я бы хотела поступить на работу.

— На работу? — с удивлением спросила инспектор, рассматривая ее с ног до головы, хрупкую, худенькую, в поношенном платке, с варежками в руках.

Бухгалтер, женщина в годах, безусловно годившаяся ей в матери, прервавшись в работе над счетами, разложенными на столе, тоже уставилась на нее. Она безошибочно, материнским чутьем определила, что девочке–подростку с миленьким личиком 16—17 лет, может быть даже с хвостиком. Ее тоже удивлял чемодан, наводивший на такое же подозрение, что и инспектора — освободившаяся из детской колонии. Но лицо и ее поведение не совпадали с этими предположениями. Бухгалтер выглядела в глазах девочки представительной, несколько располневшей, во цвете лет, солидной дамой в теплой вязаной, импортного производства кофте, в накинутом на плечи белом платке, с накрашенными губами и ногтями. На простенке у ее стола в • застекленной рамке висела большая фотография белоснежного лайнера у причала. На верхней палубе стоял моряк с поднятой рукой. Больше, пожалуй, было не на чем глаз остановить.

— Откуда ты? Местная или приезжая? — спросила инспектор.

— На местную не похожа, — сразу сказала бухгалтер, заинтересовавшись незнакомкой.

Такие молодые, да еще девушки, редко приходили на кирпичный завод.

— У тебя есть какие-то документы?

— Есть паспорт. Я приезжая.

Она расстегнула верхние пуговицы пальто и красными руками достала из бокового кармана паспорт. Инспектор вчитывалась, листала паспорт, посмотрела на нее, сверяя фотографию с ее посиневшим от холода лицом. Нашла, что она повзрослела.

Бухгалтершу, облокотившуюся руками о стол, удивляло

выжидающее, смиренное лицо незнакомки. Ей хотелось сказать: «Будь посмелее».

— Откуда ты? — спросила инспектор. И даже хотела

добавить: «А справка у тебя об освобождении есть? Или ты сбежала?» Уже не первый раз она имела дело с беглецами не только из колоний, а из детских домов и просто убежавшими из дому, но только подростками другого склада. Их сразу можно было узнать по первым же словам. Выдавала их грубоватость, безразличие, да вопрос — сколько будут платить. Обычно они тут же уходили, узнав о низкой зарплате, хлопнув дверью.

— Я из Орловской области. Может, слыхали, есть такой город Новосиль, наш районный центр, а сама я из Долгожитово.

— Г орода?

— Нет, деревни, вблизи Новосиля.

— Как же ты к нам залетела? — расспрашивала инспектор, — аэропорта у нас нет…

У нее выработался этот трафаретный разговор со всеми, кто приходил наниматься на работу на завод и она не делала никакого исключения для приезжей, хотя говорить с ней стоило бы по–другому.

Часто принятые на работу через день–два, неделю уходили или бросали работу, даже не заглянув к ней и не объяснив причин бегства, доставляя ей немалые огорчения.

— Как же ты сюда попала? Или по путевке комсомола на стройки коммунизма? — с усмешкой допытывалась инспектор.

— У тебя, наверное, кто-нибудь есть в станице из родственников или знакомых? — пришла ей на выручку бухгалтер.

— Нет у меня тут никого.

— Сирота, — не удержалась бухгалтер.

— С автобуса прямо к вам. Я — комсомолка. Женщина, ехавшая со мною в автобусе, мы с ней сидели рядом от Краснодара, сказала, — что тут можно устроиться на работу на кирпичный завод. Сама она тутошняя. Пелагеей ее зовут. Ее муж работает у вас.

— Так, так, — неопределенно сказала инспектор, — залетная птичка.

Бухгалтерша же про себя отмечала детскую непосредственность и наивность незнакомки и вместе с тем ее смелость. Она не увидела на ее лице ни сознания ее отчаянного положения, ни даже озабоченности своей без

домной неустроенностью. Может быть,' сказывалась молодость или скрывалось что-то такое таинственное, безвыходное, отчего она решилась пуститься в дальнее путешествие и остановиться в незнакомой ей станице только лишь потому, что какая-то женщина, случайная попутчица, посоветовала ей пойти на кирпичный завод. И она доверилась ей.

Напрашивалось что-то похожее на тех людей, женщин, которых встречал Горький, бродя по России.

— Значит, так… Приехала автобусом и сразу к нам, на завод?

Это уже напоминало допрос, но он не смущал незнакомку.

Да…

— Почему ты уехала из дому? Сбежала?

— Нет, что вы… Села в поезд, доехала до Орла, а потом автобусом. Люди говорили, что на Кубани тепло, можно устроиться на работу, и жизнь здесь получше, чем у нас. С одеждой проще. Не нужно зимнего пальто, других вещей. У нас там холодно.

— А родители?..

— У меня же никого нет, кроме тетки. Бабушка умерла. А у тетки своих четверо, не до меня.

Другого она сказать не могла. То была ее глубокая тайна.

— Значит, что-то ты натворила и сбежала. Как это так — с бухты–барахты сесть на поезд и уехать, куда глаза глядят? Что там, нет у вас работы?..

Незнакомка склонила голову, но не как провинившаяся, а с обидой на то, что ей не верили, хотя говорила она правду.

— Как тебя зовут? — спросила бухгалтерша.

— Ольга.

— Оленька, ты не обижайся. Зоя Петровна — кадровик, она отвечает за прием на завод. Ей надо все знать о человеке.

Слушая разговор и все время посматривая на доверчивое лицо Ольги, бухгалтер все больше проникалась к ней материнской жалостью. Ее дочь, ровесница Ольги, училась в музыкальном училище в Краснодаре и она представила себе свою Аллочку в таком виде, в таком положении пришедшую проситься на работу не на швейную фабрику, где сам бог велел работать женщинам, а на кирпичный

завод. Это не вмещалось в ее понятии. Она переживала за незнакомую девочку.

— Ничего я не натворила, — вздохнула Ольга, видя, что ее не понимают. — Так случилось, что я должна была уехать из Долгополова. Ничего не украла, а уехала, чтобы устроиться на работу.

Ольга опять потупила глаза и уже начала сомневаться, что ее примут на завод, а жить на что-то надо, и надо где-то ночевать. Она надеялась сразу устроиться в заводском общежитии, пока найдет где-нибудь себе угол в станице.

— Ты где-нибудь работала?

— Заведующей клубом в колхозе.

— Образование?

— Десять классов.

— Рабочей пойдешь? Подсобной?

— Пойду, — сразу, не раздумывая, ответила Ольга.

Другого выхода у нее не было. Мелькнула надежда пристроиться хотя бы на первые дни, чтобы оглядеться на новом месте и не чувствовать себя бездомной, никому не нужной, что ее больше всего пугало только из-за того, что она не могла жить на улице.

О том, что она несчастный человек в этом мире, Ольга еще не думала. Запросы ее были весьма скромные — устроиться на работу и переночевать в любом общежитии. О большем она не помышляла в первый день на Кубани.

Услышав ее согласие, обе женщины переглянулись.

— Предупреждаю — работа тяжелая, грязная, пыльная… Кирпичи, глину таскать, вагончики опрокидывать — дело не женское. А другого тут ничего нет. Женщины там работают, кому деваться некуда, так они привыкли к тяжести, у них все позади, а тебе еще детей рожать. А так в основном там мужики и многие после срока. Да и заработки у подсобных рабочих — кот наплакал. Это — чтобы ты знала.

Инспектор по кадрам могла бы ей рассказать многое из своей нелегкой жизни, ожесточившей ее. Так и напрашивалось сказать Ольге: «У меня вот от тяжелых сырых кирпичей, которых я здесь перетаскала не на один дом, нет своих детей и врачи говорят, что не будет». Но заводу требовались рабочие и она не могла ее отговаривать.

— Оленька, ты не торопись, подумай, может что- нибудь другое найдешь, — советовала бухгалтер.

— Я согласна. А общежитие у вас есть?

— Есть, но там одни мужики. Пьют они там день и ночь, дерутся… Туда лучше не показывайся.

— Нет, я туда не пойду, — сразу ответила Ольга.

Ольга уже испытала горе, слишком много обид, зла, глухой деревенской забитости, разных поверий и житейских невзгод, выпавших на ее сиротскую долю. В полной мере она этого еще не сознавала в свои годы, когда вся жизнь была впереди, но на сердце помимо ее воли уже откладывалась жестокость мира, в котором она жила и предстояло жить.

Ожесточится ли она или останется человеком с доброй душой — время покажет. В ней была велика природная надежда на лучшую долю, как и у каждого человека, что вся неустроенность пройдет, как только начнет сама зарабатывать себе на хлеб. Она не могла не тянуться, как молодой цветок, стоя на подоконнике, к свету, к теплу. Это и была ее естественная, заложенная в

человеке, сила к жизни, преодолевающая все житейские трудности.

— Где ты будешь ночевать? — спросила бухгалтер. — У нас же нет гостиницы, нет и вокзала.

— Переночую у той тетечки.

— А что это за тетечка? — теперь уже начала добиваться бухгалтер. — Может, у нее там притон, заманивает к себе вот таких цыплят, как ты?

— Нет, она не такая, — уверенно ответила Ольга.

— Если у нее не выйдет, приходи ко мне, — предложила бухгалтер. У меня переночуешь.

— Спасибо, я пойду к ней.

— Ну, смотри…

Ольга написала заявление о приеме на работу, заполнила учетную карточку, оставила свой паспорт у инспектора и ушла с наказом — завтра прийти к ней. Она должна познакомиться с мастером, у которого ей предстояло работать.

Как только она закрыла за собой дверь, обе женщины пустились в рассуждения об Ольге, свалившейся, как снег на голову.

— Смелая девица, — сказала инспектор.

— Дитё, — не согласилась бухгалтер. — Попадет в смену мужиков, они ее быстро облапошат. А личико у нее симпатичное, не обветренное. В своем убранстве она выглядит замухрышкой. А приодеть бы ее — невеста.

Если бы этот разговор услышала Ольга, она бы зарделась от таких слов. Ничего подобного она о себе не ведала.

— Ты хотя бы что-нибудь другое ей предложила, чтобы она осмотрелась, — подсказывала бухгалтер. — Она же не представляет, что с ней будут творить. Мне жутко становится от того, что она там услышит. Может, какой- нибудь посыльной в канцелярию?.. Грамотная девочка, десять классов…

— Ничего у меня нет. Только разнорабочие. Пускай посмотрит, как трудится его величество рабочий класс страны Советов. Комсбмолка. Это ей будет полезно.

— Зоя, что ты говоришь? Полезно другим, шатающимся, болтающимся.

— Знать будет, почем фунт изюма, то бишь, буханка черного хлеба.

— Там же сплошной мат. Они же разучились по–человечески говорить. Я бы ей просто отказала.

— Нужны рабочие руки. Директор все уши прожужжал — не можешь найти рабочих. Пусть посмотрит из своего окна на кадру, таскающую сырые кирпичи и гогочущих мужиков. Может, у него

сердце ёкнет.

— Ты цыпленка бросаешь в клетку к удавам. Я тебя не понимаю, как ты можешь посылать дитя к уголовникам?

— А ты можешь из-за жалости прибавить ей зарплату?

— Не могу. Но и у тебя на душе должны кошки скрести из-за того, что ты направляешь девочку носить кирпичи, куда и калачом никого не заманишь. Сломается она там, как тонкая соломинка. Забыла ей сказать, чтобы она шла побыстрее со своим чемоданом, пока светло, и вообще не ходила в темноте. Ты же знаешь, что у нас творится.

— Завтра просветишь по этой части. Здесь я с тобою согласна. Набросится орава… Но всех, дорогая моя, не убережешь.

Ольга ночевала у бабки Пелагеи, приютившей ее как сироту. Это для нее было не впервой. Муж поздним вечером пришел с работы под хмельком в грязной робе, сбросил ее в сенях, поужинал и улегся на скрипучем диване отдыхать, а они долго в тесной кухоньке у теплой плиты тихо переговаривались. Ольга рассказывала, как ее принимали на работу, а бабка Пелагея обещала переговорить с дедом, чтобы он присмотрел за ней на первых порах, пока обвыкнет. Жили они с дедом вдвоем в большом доме, да собака дворняжка во дворе. Сыновья, для которых и строился дом, уехали на Сахалин, стали рыбаками, надолго уходили в море, годами не показывались дома.

Ольга обещала бабке платить за жилье, как только дадут получку, а пока просила ей поверить на слово, что она с ней непременно рассчитается.

— Сирота ты моя, сирота, — только и сказала бабка, выслушав чистосердечное заверение Ольги, крепилась, чтобы не затуманивались глаза слезами. Дед же ее ни о чем не спрашивал, привык к тому, что бабка, уже не раз у себя приютила таких, как Ольга.

На следующий день утром Ольга пришла на завод пораньше, дожидалась у двери инспектора в том же своем одеянии. Мороза в ночи не было, ветерок поутих, но все равно было холодно. Кроме нее поначалу в коридоре никого не было. Со двора доносились голоса приходившей на работу утренней смены, топот тяжелых сапог, хлопатье дверью и удушливый табачный дым, которого с некоторых пор не переносила Ольга. Ей казалось, что кто-то пускал дым в ее лицо и она должна была терпеть этот смрад, вызывавший у нее тяжкие воспоминания.

Она прошла по коридору дальше, прочла «Директор», но тут же, словно испугавшись, вернулась к двери инспектора. Бухгалтер пришла раньше. Открыла дверь и пригласила Ольгу в комнату,

расспрашивая, у кого и как она переночевала.

— Я вчера хотела тебе сказать, чтобы ты в темноте не ходила по станице. У нас тут в сумерках как в джунглях, и пером не описать. Не будь доверчива, гони всех от себя. Иначе изнасилуют и бросят в канаву. Говорю это тебе как мать. К нам тут наведываются разные усатые гости, охотятся за русскими девочками, вот такими несмышленышами, как ты. Наобещают золотые горы, только слушай. Такие у нас станичные порядки, — снимая серое модное пальто с роскошным пушистым воротником, сказала бухгалтер.

Ольга стояла, понурив голову, но, кажется, того впечатления, которого ожидала наставница, эти слова на нее не произвели. Никакого страха. Чем немало удивила бухгалтершу, поправлявшую прическу крашеных волос перед зеркалом и посматривавшую на ее зеркальное отображение.

— Я все понимаю, — покорно, тоненьким голосом сказала Ольга.

И эти ее слова были искренние. Она действительно все это представляла и была благодарна за заботу о ней.

Пришла Зоя Петровна в забрызганных грязью резиновых сапогах, в короткой куртке и мужской меховой

4 Заказ 0201

97

шапке и от этого выглядела больше похожей на мужчину, чем на женщину.

— А, это ты, — взглянув на Ольгу, сказала она.

Тут же, в чем была, уселась за стол, позвонила.

— Сергеич? Посылаю тебе обещанную подмогу. Оформилась. Сейчас придет, встречай. Зовут ее Ольга, а фамилия Ватрыкина. Только ты там не очень-то… Молоденькая, не нагружай там сразу кирпичами. Надорвется и на бюллетень… А деньги ты будешь платить. Понял?

Инспекторша подозвала Ольгу к окну, выходившему во двор завода, показала, как пройти к бытовке мастера Сергеича.

— Алевтина Ивановна, — обратилась Зоя Петровна к бухгалтеру, — ты что-то ей хотела сказать… Давай, пока не ушла,

— Все уже сказала.

— Ну, тогда иди… ‘

Ольга ушла.

Инспектор и бухгалтер снова заговорили о ней, как о странной пришелице.

— Что она тебе ответила на твой инструктаж? — спросила кадровичка.

— Выслушала, по–моему, с пониманием и сказала, что

поняла.

— А может, она, такая тихоня, все это уже прошла? В тихом болоте черти водятся. Понимаешь, мне все же показалось, в ней есть что-то загадочное. Ну, никак не могу взять в толк, как это уехать, встретиться с какой-то женщиной и с чемоданом прийти — принимайте меня на завод? Что-то ее заставило пуститься очертя голову, не зная, куда. Мы же объявление в газету не даем, вербовкой в других областях не занимаемся, как другие.

— Ну, разве к нам не приходили сбежавшие из дому без куска хлеба?

— Приходили. Посмотрим на эту беглянку… Убежит.

…Вечером уставшая Ольга после первого рабочего дня,

оттянувшего у нее сырыми кирпичами руки и ноги, пришла к бабке, села в кухне на стул и долго смотрела в окно в сгустившиеся сумерки, за которыми почти ничего не было видно. Темнота… Это все, с чем вернулась она с работы и что было у нее впереди.

Рабочую спецовку ей не выдали, хотя мастер и обещал приодеть, как и всех рабочих. Но рукавицы, в которые

можно было вместить до десятка таких рук, как у нее. Сёргеич ей дал из своих запасов.

Бабка понимала ее состояние, но удержалась от причитаний и жалостных слов. Это было не в ее характере. Много она повидала на своем веку. Нежностям обучена не была, но сердце ее сберегло доброту к людям, к бездомным, к людям со сломанной судьбой.

— Первые дни всегда тяжелые на непривычной работе. Вон дед уже другой десяток на заводе, а как придет домой, поест и на боковую. Все кости у него ноют. Втянешься, легче будет. Умывайся, мой руки, попарь ноги и за стол, — что бог послал! И полежи.

Все это Ольга проделала, крепилась, чтобы не расплакаться и не от того, что устала, а от заботливых бабкиных слов, вспоминая свою родную бабушку, которая после смерти матери, когда ей было около двух лет, если не меньше, выходила ее. А отец где-то воевал и вскоре после войны тоже умер. Трудно стало после смерти бабушки, но она уже ходила в школу и живя у тетки, была самой старшей среди ее четверых. Летом ходила за гусями, оставалась с малышами дома, когда вдовая тетка с утра до вечера работала где-то на полевом стане в колхозе.

Теперь жизнь у нее началась новая. Первый раз она увидела завод, окунулась в его омут. От непривычного запаха и кирпичной пыли, поднимаемой ветерком, задыхаюсь, однако, ничего другого ей пока не светило.

Так и шли день за днем, месяц за месяцем. Ольга старалась на работе, получала зарплату и отдавала ее почти всю бабке Пелагее, собирая рубли на одежду и отрывая от них на кино. На работу брала с собою в газете два кусочка черного хлеба и вареную картошку. Иногда, сжалившись, бабка отрезала ей кусочек сала, как и своему деду.

На первых порах Ольга никуда не ходила, помогала бабке по дому и на время забывалась, даже выглядела веселой, но как только со всеми домашними делами справлялась, на нее нападали тяжелые раздумья. Что-то ее мучило невысказанное даже бабке, к которой она все больше привязывалась, как к родной. Да и бабка видела затуманенные печалью глаза, но никак не могла найти повод, чтобы поговорить с нею по душам. Что-то у нее было глубоко спрятано от людей. Бабка задумывалась над этим, но вопросов, как инспектор кадров, не задавала, не допытывалась, почувствовала, что с нею, с сиротой, где–то

что-то случилось. Незащищенность Ольги удерживала бабку от многого и деду она не позволяла пускаться в расспросы.

— Мне тоже все это рассказали, когда я поинтересовался, откуда появилась беглянка,ˆ— ответил на заданный мною вопрос Геннадий Иванович. —А потом, а потом… И от нее услышал.

13

Расцвет деятельности неугомонного Сергея Федоровича Медунова, его звездный час, пришелся на годы после посещения Л. Брежневым Новороссийска. Именно в эти годы он выдвинул многие идеи и ревностно их отстаивал. Достаточно назвать такие шумные компании, как борьба с курением на Кубани, проведение чрезвычайного съезда по уничтожению сорняков, сражение за миллион тонн кубанского риса, введение равенства посевных и уборочных площадей, контрольных обмолотов и другие.

Все эти начинания были известны не только на Кубани. О них докладывалось в ЦК, они обсуждались на пленумах и партактивах, поддержавших эти мероприятия. Во всяком случае, открыто их не критиковали, не отвергали, хотя они были и не бесспорны. В курилках стоял дым коромыслом, острословы сочиняли про них анектоды, приезжие не подчинялись запрету на курение, гонялись за сигаретами «Марлборо», которые привозили моряки загранплава- ния. Все охотились за импортными товарами с наклейками или ярлыками иностранных фирм. Эта погоня отвлекала людей от осуществления выдвинутых идей. Взоры многих устремлялись туда, где сверкала разноцветными огнями реклама, на забитые товарами витрины и магазины, где свободно продавались автомашины, холодильники, телевизоры и новинка — видеомагнитофоны.

Идеологическое обеспечение борьбы с курением и уничтожения сорняков, даже амброзии, в виде наглядной агитации и рекомендаций идеологов в блокноте агитатора проводить беседы в обеденный перерыв, не срабатывало. Сами идеологи сидели в кабинетах, сочиняли глобальные доклады о международном положении, но не могли объяснить, что происходит на внутреннем рынке.

Даже наведывавшийся в край всезнающий помощник Генсека охотнее делился о делах внешних, чем о нехватке и низком качестве ширпотреба, да и сам появлялся во

всем импортном. Может быть, поэтому он не внушал доверия и многие задавались вопросом — что за помощник? Он как бы курировал Кубань и был полновластным хозяином в портовом Новороссийске, где избирался депутатом Верховного Совета СССР. Во время его приездов Сергей Федорович выделял ему в провожатые второго секретаря крайкома, и тот находился при нем неотлучно, как адъютант, выполняя все его пожелания, организуя увеселительные разрядки с коньяком и шампанским из подвалов Абрау–Дюрсо. Сергей Федорович оставался как бы в

стороне, не вступал в споры с помощником, даже виду не показывал, понимая, что он дверьми был гораздо ближе к Генсеку. А он этим вовсю пользовался в подборе и перестановке кадров в Новороссийске, вмешиваясь в жизнь города. Медунову это было не по душе, но он вынужден был терпеть. По рекомендациям помощника сменялись и назначались прежде всего первые секретари Новороссийского горкома партии. Медунов как-то даже пожаловался, что с ним не советуются, смещая одного, другого, третьего. Пленумы горкома послушно освобождали старого и так же послушно утверждали нового. В номенклатуре помощника находилось Новороссийское морское пароходство, цементный комбинат, совхоз Абрау–Дюрсо и другие крупные предприятия до базы виноматериалов включительно, где имелись емкости для слива с танкеров виноматериалов, доставлявшихся из Алжира.

В разгаре был ажиотаж вокруг туристских поездок за границу и устройства на суда загранплавания, особенно в смешанные советско–арабские экипажи. Там и там манила валюта, на которую можно было купить и перепродать тряпки, а то и машину. Дома же от борьбы с курением и уничтожением сорняков — никакого навара.

Особое пристрастие питал помощник к директорам ресторанов. У него были избранные, которых он опекал со своего высокого поста, за которым стоял Генсек, видимо, не знавший как пользуется его помощник своим положением и его именем.

Однажды секретарь крайкома после отъезда помощника срочно созвал в Новороссийске комиссию, рассматривавшую дела на моряков загранплавания. Заседание комиссии было чрезвычайным.

…В отделе кадров Новороссийского пароходства спешно комплектовались экипажи судов, которые надолго уходили в плавание. Кадровикам, как всегда, не хватало времени подготовить команды заблаговременно. В коридоре у дверей толпились люди. Почти целый год им предстояло бороздить воды далеких морей без заходов в советские порты, перевозить грузы на экваторе, под палящим тропическим солнцем. Комиссия рассмотрела уже не один десяток личных дел моряков, отбирая лучших: сильных, смелых, бывалых, отлично знающих сложную технику современных судов и не дрогнувших в борьбе, с морской стихией.

Среди них были матросы, боцманы, повара, радисты, механики, штурманы и капитаны. Всем им не сиделось на берегу. Они скучали по морю, по обычной для них работе, по корабельной жизни. Солеными ветрами романтики овеяны штиль

и шторм, встречи и расставания. Но море и испытания не для искателей длинного рубля и слабых духом. Оно отбирает сильных, вступающих в поединок со стихией, когда волны перекатываются через борт, а огни на мачте устремляются к воде, палуба уходит из-под ног. Такова их профессия, в которую они влюблены, такова их будничная работа.

Дорога в море начинается с земли, но там, вдали, чем дальше они уходят, тем сильнее чувствуют земное притяжение.

Моряк должен уходить в плавание так же, как летчик летать, а шофер ездить на машине. Без этого нет моряка.

Комиссия интересовалась семейными делами, учебой детей в школе, жильем и многими другими вопросами, которые могли влиять на настроения и жизнь моряков вдали от родных берегов. Когда возникали какие-нибудь сомнения, комиссия приглашала моряка на беседу и с ним обстоятельно разбирались. В качестве поваров и буфетчиц иногда оформлялись женщины. Им комиссия уделяла особое внимание.

Председательствующий объявил, что приглашена Тамара Черных, оформляющаяся в состав экипажа в качестве буфетчицы.

Вошла женщина в седом парике с лиловым оттенком.

— Украсит флот? — толкая меня в бок, тихо спросил сосед.

Я присмотрелся. Ее лицо, как и парик, было раскрашено в разные цвета. Она, наверное, долго возилась с ресницами, веками, бровями, губами. И все же скрыть не удалось — ей было уже под сорок — бабий век. Наоборот, краски выдавали то, что она пыталась закрасить. Сыну пятнадцать, читал я в ее анкете. Она не побоялась явиться на комиссию в брюках с манерами заправского моряка.

Тамара бойко отвечала на вопросы председателя. По ее ответам получалось, что уйти в длительное плавание ей ничто не мешает, что для нее это дело обычное, так как приходилось даже однажды в бушующем океане перебираться с горящего судна в шлюпку и она не утонула, хотя и сорвалась в морскую пучину.

— А где ваш сын? — спросил мой сосед, член комиссии.

— В интернате.

— Сколько ему лет? — вмешался я. Его возраст я знал по анкете, но мне хотелось, чтобы она сказала об этом вслух.

— Пятнадцать.

— Давно он в интернате?

— Со второго класса. А что? — насторожилась она, — Я все время в рейсах. Мужа кет, в разводе.

— Вы бываете у сына?

Тамара задумалась на какое-то время. Морщила лоб, припоминая.

— Бываю. А что? Случилось что-нибудь?

— Да нет, ничего не случилось. Давно у него были?

Она растерянно смотрела на меня. Трудно сказать,

о чем она думала, но видимо никак не могла сразу вспомнить, когда последний раз была у сына.

— У него брат бывает, — нашла она выход из положения.

— Это хорошо, но сыну нужна мать. А вы его редко видите. Вас это не беспокоит?

— Я договорилась с братом. Он за ним присматривает.

Она понимала, куда направлены вопросы, но у нее не

хватало смелости признать ненормальность положения. Сын со второго класса был предоставлен самому себе. Она к нему наведывалась редко, как гостья, когда находилась на берегу. Тамара покраснела. Вся морская удаль пропала. Она боялась, что ее не пустят в плавание. В руках у нее была большая заморская модная сумка, которую

она то открывала, то закрывала, то перебирала пальцами цепочку колец, украшавших сумку.

— Разве вы не можете найти работу на берегу, чтобы 'быть вместе с сыном?

Этот вопрос застал ее врасплох. Члены комиссии ждали объяснение, но похоже было на то, что она не знала как ответить.

— Что вас тянет в море? Женщине, наверное, нелегко одной среди мужчин на судне? — подсказывали ей.

— Я привыкла. Это не ваша забота, — сверкнула она глазами в мою сторону. — Сын уже большой парень, что я ему. Поднакоплю денег, куплю ему автомашину. Так что сына я не собираюсь забывать. Регулярно посылаю ему деньги, одеваю, обуваю.

— Вы можете потерять сына. У него нет отца и нет вас. Подумайте, прежде чем уйти на целый год.

— Я подумала, — сразу ответила Тамара. — За сыном посмотрит брат. Я с ним договорилась.

Я сидел и думал, что же у нее осталось материнского? Она все растеряла в море, в чужих портах, гостиницах, за стойкой своего буфета, в погоне за длинным рублем, за той жизнью, к которой она привыкла за годы работы в море на танкерах. Уважаемые кадровики сидели за столом и серьезно рассуждали о том, что ее надо пустить в море. Иначе для них проблема — найти буфетчицу на судно. Проблема сына, куда более важная, не вызывала беспокойства. Она не ощущалась ими. Все это было никак не осязаемо. А вот отсутствие буфетчицы, это уже ощутимо. За это спросят.

— Смелая морячка, свое дело знает, сын пристроен, —

приводил доводы начальник отдела кадров. — В конце концов, сын, это ее личное дело и формально из-за этого отказать ей нельзя.

— Не согласен. Это наше дело, — не выдержал я и сказал довольно резко. На меня все посмотрели, притихли.

— Есть, есть вопрос, — констатировал мой сосед. — Формально, конечно, ей мы не можем отказать. У нее все в ажуре. Но повторяю, вопрос есть. На прошлой комиссии мы отказали буфетчице Меликсетян, а сегодня она стоит у нас под дверью и просит принять ее. Предлагаю включитТамару Черных в состав экипажа, — неожиданно, вопреки своим собственным рассуждениям, закончил он. Председатель комиссии, спросив мнение других, объ

явил, что Черных надо побыть на берегу, позаботиться о сыне. Возражений не последовало. Тамара, сверкнув глазами, хлопнула дверью.

— Долго мы задержались на этом деле. У нас много еще не рассмотренных дел. Давайте вначале отпустим всех приглашенных на комиссию, а потом рассмотрим все остальные дела, — предложил председатель.

Предложение было принято.

— Приглашайте Меликсетян.

Секретарь комиссии объявил, что дело Меликсетян уже рассматривалось и ей отказали. Она работает в магазине продавцом. До этого неоднократно выходила на судах буфетчицей.

— Я на прошлой комиссии не был, — сказал председатель, секретарь крайкома партии. — Пригласите. Пусть заходит.

Секретарь пригласил, указав ей на стул у стола. На лице ее было написано полное безразличие не только к комиссии, но и, казалось, ко всему живому на свете.

У нее был муж — директор ресторана, двое детей — школьники: в третьем и пятом классе. Была легковая машина и хорошая квартира. Просилась она буфетчицей на судно в состав смешанного экипажа. Я считал, что ей совершенно правильно отказали на прошлой комиссии. У нее семья. Двое школьников, и нет нужды на год уходить в плавание. Все тогда сошлись на том, что надо заниматься воспитанием и уходом за детьми.

Меликсетян сидела и ждала. Похоже было на то, что ее кто-то пригласил на комиссию, чтобы она своим невозмутимым видом оказала давление на всех. Она ждала ответа. Я насторожился. Председатель комиссии посматривал на меня. Он знал, что я буду возражать. Видимо, меня выдавало мое хмурое лицо. Я еще не оправился от разбора дела Черных.

— Так, что у вас? — спросил председатель, листая выездное дело. По его голосу чувствовалось, что он нервничает.

— Хочу в море, — небрежно проронила Меликсетян.

Она не просила комиссию, ничего ей не объясняла.

Она чувствовала себя уверенно. Думала о чем-то другом.

— Вопросы есть? — спросил председатель.

— Зачем вы хотите в море? — задал я вопрос.

— Ну, ясно зачем… — кто-то из членов комиссии по

спешил ей на помощь. На ее лице мелькнула довольная улыбка.

— Подзаработать хочет, — шептал мне на ухо мой сосед.

— А как же дети?

Сосед пожал плечами, гадал, как ему поступить.

■ — Вы обождите там, — обратился председатель к Меликсетян, показав ей на дверь.

Она поднялась лениво и вышла из кабинета, не проявляя никакого беспокойства за исход решения вопроса. Наступило молчание. Никто не решался что-то сказать. Председатель смотрел на меня.

— На прошлой комиссии мы совершенно правильно приняли решение об отказе ей в работе на судне буфетчицей, потому что она работает, у нее двое детей и нет никакой надобности на целый год бросать семью и уходить в плавание. Кроме этого, — настаивал я, — она же недавно вернулась из рейса. Есть другие.

Думаю, что этого достаточно. Правда, мои доводы ни в каких инструкциях не предусмотрены, но в данном случае, они не против Меликсетян, а в защиту ее.

Когда я кончил, мне показалось, что никто не осмелится взять под сомнение то, что я сказал.

— Позвольте мне, — попросил слово член комиссии Швыдкий.

— Я поддерживаю, — заявил он без всяких объяснений, — предложение о недопущении ее в рейс в составе комплектуемого смешанного советско–иракского экипажа.

— Правильно! Надо заниматься детьми, — послышался еще чей-то голос.

— На прошлой комиссии я не был, — начал тихим голосом председатель, — но считаю, что семейные дела — это дело не наше, а семьи. Пусть они сами между собой договариваются. Она же не первый день замужем. Дела семейные не могут в данном случае служить препятствием для выхода в рейс.

— Я тоже так считаю, — сразу же послышался голос представителя профсоюза. — Местком этот вопрос рассмотрел.

Председатель никак не реагировал на эти слова. Он

продолжал:

— Хотелось бы, конечно, чтобы наше решение было единодушным. Значит, вы стоите на букве инструкции?

Этот вопрос был задан мне. Я его не совсем понимал,

так как до этого уже объяснил свою позицию. Председателю хотелось, чтобы я согласился с ним. Тогда все, что говорилось на комиссии, останется за протоколом.

— Я настаиваю на разумном решении и руководствуюсь только своим внутренним убеждением. Я не понимаю, почему она должна бросать детей и идти в море. Кстати, она не ответила на мой вопрос. И если в данном случае инструкция помогает найти правильное решение, то я готов придерживаться ее буквы. Для этого они и пишутся.

— Позовите Меликсетян, — довольно резко сказал недовольный председатель.

Она вошла и остановилась у двери. Она отнеслась спокойно ко всему происходящему на комиссии, будучи уверенной, что уйдет в рейс.

— Вы не ответили на вопрос члена комиссии. Почему вы стремитесь в море, оставляя детей?

— Я сказала, что хочу в море. Больше добавить ничего не могу. Хочу и все. Это мое дело.

— Ну, ясно же всем, зачем она хочет в море, — вмешался мой сосед. Но дальше не пошел, не договорил, не назвал, как говорят, вещи своими именами.

— Пожалуйста, побудьте в коридоре, — предложил снова председатель Меликсетян.

— Почему мы не должны поправить ее? Почему мы должны идти на сделку со своей совестью, отлично понимая, что надо остановить человека, иначе он может оступиться и упасть за борт?

— Муж дал согласие на ее выход в рейс. Вот его заявление, — поднял вверх председатель лист бумаги.

— Не понимаю психологию мужа, — заявил Швыдкий. Он — директор ресторана. С утра до позднего вечера на работе. А кто же с ребятами? В школе теперь с первого класса алгебра… Пусть мать смотрит за детьми, а не болтается по морям и океанам. К тому же — как же он?.. Отпускает на год жену, еще молодой…

Почему упорствует председатель? — спрашивал я себя. Человек он трезвый, деловой, порой даже резкий, когда требовался принципиальный подход в решении вопроса, а сегодня настаивал только на своем, что никак не вытекало из обсуждения. Опасаясь, что комиссия откажет, Меликсетян, председатель вынужден был выложить свой последний козырь,

который держал в запасе:

— Я уже сказал, — начал он, опустив голову, — что

прибыл специально, чтобы провести эту комиссию, учитывая принятое ранее решение.

Теперь он смотрел на меня. Я понял, что дальше все уже будет относиться ко мне, а не к его заместителю, который председательствовал на прошлой комиссии.

— Я предполагал, что некоторые товарищи будут сопротивляться. Так оно и вышло.

Председатель обвел всех глазами, словно искал виновника того решения. После продолжительной паузы, многозначительно закончил: — Мне был звонок от весьма ответственного товарища из Москвы.

Председатель опять смотрел по очереди на каждого присутствующего, молчаливо призывая поддержать его.

Особого впечатления на членов комиссии его заявление не произвело, но всем хотелось знать, что же это за таинственная персона.

— Так вот, — продолжал председатель, — это лицо высказало недоумение по поводу принятого решения. Не думаю, что мы умнее всех. Ставлю на голосование…

— Зачем? — сразу забеспокоился Швыдкий.

Надо было определиться, поднимать руку: за или против.

— Кто против? — спросил председатель.

Я поднял руку. Швыдкий посмотрел на меня. У него еще было время.

— Один, — констатировал председатель.

Я надеялся на Швыдкого, но он руку не поднял, спрятал под стол. Он же меня поддерживал, кажется, без колебаний. Швыдкий наклонил голову над чистым листом бумаги. Председатель и другие тоже чувствовали себя неловко. Это можно было уловить по напряженной тишине, которая воцарилась после голосования, когда все чувствуют, что все виноваты, но никто не решается признать очевидную вину, то что натворили, а она у всех на виду, но каждый молчит, понимая, что без слов все понятно.

Объявили перерыв. Вышли в коридор на перекур. Ко мне подошел Швыдкий.

— Не солидно ведет себя… — начал он, не называя председателя. — Видите ли, он специально прибыл… Ссылается на звонок…

— Может быть, я не прав? — спросил я Швыдкого. — Может быть, я чего-то не понимаю?

— Ты прав.

— Тогда почему все так?.. Объясни мне, в чем дело?

Швыдкий развел руками. Мы с ним отошли в сторону. Он курил, часто затягивался, словно опасаясо, что если он этого делать не будет, то ему придется отвечать на мои вопросы.

— Где же собака зарыта? — размышлял я вслух.

Швыдкий посмотрел на меня прищуренными глазами и сказал, понизив голос:

— В ресторане, под столом, за которым бывает тот из Москвы. — Он не называл фамилию, но я знал о ком идет речь.

И опять она поплыла по волнам в заморские страны на целый год, потому как тем лицом был помощник Брежнева Голиков.

14

Медунов хотя и был не из робкого десятка, но М. Суслова он побаивался. Пожалуй, единственного из Политбюро. Михаил Андреевич обычно отдыхал на госдаче в Сочи. Как только поступило сообщение о его прилете, я доложил второму секретарю крайкома о дате и времени его прилета. Сергей Федорович отсутствовал, был в каком- то районе. Второй сказал, что он сам проинформирует об этом первого секретаря. Вообще он ревностно относился к докладам Медунову, проявлял недовольство, если его кто-то опережал.

На следующий день, в день прилета Суслова, в театре был назначен партактив. В зал уже заходили и рассаживались участники актива, в отдельной комнате собирался президиум.

Мне показалось странным, что Медунов не вылетел — в Сочи для встречи Суслова. Такого ни разу не было. Как только он появился в театре, я доложил о прибытии Суслова. Лицо его посерело, на нем закипело недоумение.

— Ты понимаешь, что это не кто-нибудь, а Суслов, второй человек в партии? — с возмущением выговаривал он мне. — Да если бы я знал, я бы отменил партактив.

Второй стоял рядом, слушая этот разговор, помалкивая, Посматривал на меня. Я на него, с надеждой, что он сам скажет о том, что я ему докладывал, и примет гнев Сергея Федоровича на себя. Он же меня заверил, что сам обо всем сообщит ему. Второй молчал, — как ни в чем не бывало, а Медунов продолжал мне выговаривать. Я не вытерпел и сказал, что своевременно доложил второму.

Медунов посмотрел на него, переминавшегося с ноги на ногу. Тот стал объяснять, что он меня не совсем понял. Сергей Федорович сдержался, замолчал. Время подошло идти в президиум. Второй, улучив момент, с недовольным лицом сказал, что не ожидал такого, дескать не принято подводить товарища. Удар надо брать на себя.

Отдых Михаила Андреевича подходил к концу и я заблаговременно доложил Сергею Федоровичу о времени его отлета в Москву.

— Полетим, — сказал он.

В аэропорту у правительственного коттеджа прогуливался отдыхавший в Сочи В. В. Кузнецов. Очевидно приехавший для встречи кого-то или проводить Суслова.

Мы подошли к нему и Сергей Федорович представил меня Первому заместителю Председателя Верховного Совета СССР.

Василий Васильевич смотрел на нас как-то странно. Я даже подумал, что он чем-то недоволен. Он протянул мне мягкую старческую руку, а в его потускневших глазах запечатлелось полное безразличие. Видимо, мы выглядели перед ним как в тумане и он разбирался, кто же я такой, хотя Медунов назвал мою должность.

Сергей Федорович сразу же занял его разговором о самых северных чайных плантациях в Сочи совхоза, директором которого был Устим Штейман, готовый в любое время подойти и представиться. Высокий, с усиками, в очках он выглядывал из-за зеленого куста у коттеджа. Однако Василий Васильевич, молча слушая, не проявил интереса к Штейману, как впрочем, и к чаю.

Я отошел от них справиться о выезде гостя с дачи. Мощный красавец «ТУ» уже стоял на площадке у коттеджа, поджидая единственного пассажира с охраной.

Пришлось снова подойти к беседовавшим Кузнецову и Медунову, чтобы сообщить, что Михаил Андреевич в пути, скоро подъедет.

Василий Васильевич посмотрел на меня так, словно увидел впервые и к моему великому удивлению снова протянул мне руку. Он ее только прикладывал. Ощущения рукопожатия не чувствовалось. Его отсутствующий взгляд насторожил меня. Может запамятовал, что он со мною уже здоровался. Не велика беда со мною… Высокий государственный пост, сдержанность, почтенный возраст вызывали у меня глубокое уважение к нему. Но ведь он часто принимал зарубежных государственных деятелей и там подоб

но

ные моим наблюдения могли расцениваться совершенно по–другому.

В Адлере светило яркое солнце. Вдали в синеватой дымке виднелись горы с белоснежными макушками. В аэропорту утихли шум взлетавших и приземлявшихся самолетов. Готовился литерный рейс.

Подошли два черных лимузина. Михаил Андреевич, как всегда глубоко озабоченный, непроницаемый, похожий на монаха в своем длинном черном пальто и в глубоко посаженной на голове шляпе поздоровался с Кузнецовым и Медуновым. В голубом небе не было ни облачка, из которого могли бы упасть капля дождя, а на ботинках Михаила Андреевича были галоши. Я не поверил своим глазам. Спросил кого-то из стоящих рядом со мною, не показалось ли мне? «Нет, нет… В галошах», — ответил мне тихо охранник. Михаил Андреевич с неприязнью относился к своей охране, приставленной, как ему было хорошо известно, по

решению Политбюро. Тем не менее он ворчал, когда на глаза кто-то попадался из сотрудников Девятого управления или замечал следование машины при переезде из аэропорта до госдачи. Его тяжелая «Чайка» ползла как танк, не превышая скорости сорока километров в час. На полпути, где-то в районе Хосты, машина останавливалась. Михаил Андреевич выходил размяться. Ему из термоса наливали чай. После этого поездка продолжалась.

Пока заносились в самолет чемоданы и коробки, Суслов, не заходя в коттедж, беседовал с Кузнецовым и Медуновым. Сергей Федорович, как всегда, стремился сказать об успехах кубанских хлеборобов, об урожае на полях.

У трапа самолета Михаил Андреевич попрощался с теми, кто его провожал.

Я отошел в сторонку, зная его отношение к сотрудникам Девятого Управления. Михаил Андреевич уже перешагнул две–три ступеньки на трапе, но потом почему-то оглянулся и посмотрел в сторону, где стоял не только я, а еще два–три человека. К удивлению всех он спустился с трапа и направился к нам. Я никак не мог предположить, что случилось и что последует, ожидая какого-нибудь замечания за сопровождение от дачи до аэропорта. Михаил Андреевич подошел именно ко мне. Пожал дружелюбно руку и вернулся на трап. Другим, стоявшим рядом со мною, руки не подал. Может быть потому, что они

отступили за меня при его приближении. Потом все спрашивали, чем я заслужил такое внимание. Мне приходилось пожимать плечами, так как ни разу беседовать с ним и даже представляться не приходилось. Правда, заочно он мог меня знать по направленным в Центр телеграммам, по крайней мере по одной из них, взятой по его указанию на контроль.

…В Новороссийске в февральскую стужу разразился небывалый шторм на море. Затонули три небольшие судна, по существу катера, оторванные бурей от причальной стенки.

В ту ночь погибло три человека, пытавшихся вплавь с тонущих судов добраться до берега. Об этом происшествии доложили в Центр. Телеграмма попала в ЦК.

Последовал звонок по «ВЧ».

— Почему затонули?..

— Стихийное бедствие. Суда обледенели и под тяжестью льда ушли под воду.

— Понятно, что стихийное бедствие, но почему корабли затонули?

— Я же объяснил.

— Я понимаю, а вот начальство не понимает. Что мне доложить?

— Так и доложите.

— Требуется доложить, почему не спасли суда.

— Ничего другого сказать не могу. Кто требует?

— Михаил Андреевич.

— В телеграмме все изложено. Что еще?

— Должен же быть кто-то виновен в случившемся.

— Стихия.

— Мне это понятно, а ему нет.

— Что нужно?

— Дайте телеграмму о виновных. Доложим Михаилу Андреевичу, снимем с контроля.

Я сказал, что теперь мне понятно.

Дали телеграмму, что обстоятельства расследуются специалистами пароходства, которые вынесут заключение, однако телеграмма еще долго не снималась с контроля. Видел меня Михаил Андреевич только в аэропорту, в дороге, в числе встречающих и провожающих. Мне подумалось, что он меня с кем-то перепутал, а может за то, что я строго выдерживал скорость — сорок километров в час и знал его место отдыха на полпути до дачи, останавли

вал машину, не дожидаясь команды его личных охранников.

Возвращаясь в самолете в Краснодар после проводов, Сергей Федорович и Георгий Петрович Разумовский тоже размышляли над неожиданным жестом Михаила Андреевича. Этот случай напомнил мне эпизод из отношения к своим охранникам Н. С. Хрущева во время его посещения в Туле оружейного завода. В одном из старых, но еще крепких, петровской кладки, цехов, Никита Сергеевич в присутствии сопровождавшей его большой свиты работников ЦК и местного актива, остановился между станками и разразился бранью на своих телохранителей.

— Ну, что вы ходите у меня по пятам. Не даете шагу ступить, — кричал он на весь цех так, чтобы слышал окруживший его величество рабочий класс славной Тулы. Умел красоваться Никита Сергеевич. Сотрудники Девятого Управления были в замешательстве. Они не могли его оставить без охраны. Один из них подошел ко мне и попросил занять его место. Хрущев успокоился. Весь день я неотступно был при нем. Замечаний не получил. Видимо, он принимал меня за работника обкома и тоже пожал мне руку.

…Прилетали и улетали лайнеры, взрывая тишину зеленой благодатной долины, окруженной горами, оставляя в ней смрад сгоревшего керосина и бензина.

На глазах провожавших они скрывались в мареве поднебесья, как будто бы их и не было. После проводов все же теплилась

надежда на лучшее завтрашнее. Терпимость в ожидании главенствовали, скрепляли великое государство, однако прилетавшие и улетавшие, напуская на себя величие своей непроницаемостью, злоупотребляли доверием народа.

15

В один из январских дней председателя колхоза «Восход», Михаила Назаркина, человека уже в годах, откуда-то присланного в Долгожитово со стороны, как будто в деревне не нашлось своего, вызывали в райисполком с отчетом об итогах сельскохозяйственного года возглавляемого им колхоза.

В деревне его прозвали просто Мишкой, хотя поначалу он показывал себя строгим и деловым, покрикивал на колхозников, командовал ими направо и налево, де–монстрируя свой председательский характер. Однако дела в колхозе после отстранения от правления местного партийца пошли вниз. Разума у Мишки, как сходились в своем мнении на перекурах местные мужики, явно не хватало, чтобы вывести хозяйство из прорыва и погасить многочисленные недоимки, но коли прислали, деваться было некуда, пришлось слушаться, помалкивать. К тому же они побаивались Мишкиного буйства, в котором было больше мата–перемата, чем других слов, когда он находился под хмельком. Председатель же в деревне никого не боялся, опасался только районных властей, понимая, что они его посадили на колхозный трон, они же рано или поздно все равно снимут, как и всех его предшественников.

Жил он в деревне без семьи и свою командную независимость подрывал тем, что побирался по хатам, как в свое время сельский поп обходил с большой плетеной корзиной на руке прихожан, собирая пожертвование церкви. Председателя кормили и, конечно, подносили по стакану самогона, к которому он питал особое пристрастие. Шляться без сˆяьи по вдовым бабам ему было удобнее. Они его принимали, хотя вида он был невзрачного, непричесанный, сорокалетний мужичишка, с вздернутым крючком носом, под которым зияли две большие дыры, к тому же замусоленный без женского присмотра, но зато обладавший властью — что хочу, то и ворочу. Мог дать подводу на базар, в лес за дровами, на мельницу, а то и в районную больницу, а мог и отказать не только в этом, но даже не выписать с поля неубранной соломы, чтобы прикрыть дырявую крышу хаты. Как же его было не принимать и не угощать самогоном?

Предчувствуя горячую, если не сказать жестокую проработку на исполкоме, Назаркин, сидя один в темноте в правлении колхоза, думал как бы увильнуть от отчета, но ничего придумать не мог. Направился к деревенскому сапожнику, у которого всегда водился самогон, на ужин.

Долго они при свете керосиновой лампы, подвыпив,

рассуждали о делах колхозных. Сапожник сочувствовал Назаркину, подливал ему в стакан, пока тот не упился до того, что начал грозить районному начальству разнести его в пух и прах и доказать, что руководимый им колхоз не отстает.

— Пей, Миш, пей. Оно полегчает, — приговаривал сапожник. — Не нужда б, кто бы пил… Нужда заставляет. [1]

В хате у сапожника места для ночлега Назаркину

не нашлось и хозяин выпроводил его в колхозную контору, уложив на широкой скамейке под стеной, пододвинув стол, чтобы не свалился. Утром конюх запряг лучшую лошадь, бросил на розвальни охапку соломы, подъехал к колхозной конторе, где Назаркин, подбирая бумаги, потребные для отчета, говорил накоротке с агрономом и даже хотел его взять с собой, но тот, сославшись на недомогание, не поехал. Назаркин не раз ему напоминал, что в агрономии он тоже разбирается не хуже его, окончил трехмесячные курсы при сельхозтехникуме перед направлением в «Восход». Они вместе вышли из конторы, конюх передал вожжи в руки председателя, попросив его подвезти в район дивчину, заведующую колхозным клубом, Ольгу, собравшуюся туда за книгами.

Она стояла рядом, ожидая согласия Назаркина.

— Возьми, — поддержал агроном.

— Садись, — буркнул ей председатель, а сам на ходу продолжал советоваться с агрономом, как оправдать отставание колхоза по сравнению со среднерайонными показателями, не говоря уже с областными, которые тоже были низкими.

— Ни пуха, ни пера, — пожелал ему, пряча улыбку, агроном.

— К черту, — сказал Мишка, подумав, что может придется возвращаться уже не председателем.

До райцентра было не меньше двадцати километров по ненакатанному зимнику, угадывавшемуся по телефонным столбам, вдоль которых он проходил.

Ранним утром морозец пощипывал уши и нос, небо было затянуто сплошным сизым облаком, легкий ветерок мел поземку, сдувал с крыш снежную пыль, клубившуюся под стрехами.

Ехали медленно. Лошадь, несмотря на грозные окрики и длинные вожжи, которыми угрожающе размахивал над головой Назаркин, и время от времени огревал ими костлявый круп, семенила чуть быстрее после удара, а потом переходила на свой обычный ритмичный шаг, не торопясь тащила тяжелые сани.

Ольга уселась спиной к ветру, на соломе, поджав под себя ноги, засунув руки в варежках в короткие рукава своего пальтишка. Председатель, с загрубелым обветренным лицом в полушубке и валенках не испытывал того холода, который

проникал сквозь легкую одежонку Ольги. Он, наверное, уже несколько дней не брился, на отросшей

жесткой щетине выделялся красный нос, да порыжевшие от курева зубы, показывавшиеся каждый раз, когда он угрожающе рычал на лошадь.

Ольга переживала, видя как он нещадно, со злобой, гнал кобыглку, считая, что может запоздать к назначенному ему часу. Ехали молча. Он не обращал внимания на попутчицу, на то, что она давно замерзла. Ольга словно застыла, свернувшись в комочек, ей казалось, что дороге не будет конца и края, но крепилась, не жаловалась.

В райцентре заведующая клубом быстро справилась со своими делами, даже успела забежать и перекусить в райпищеторговской столовой. С двумя связками книг, в каждой по десять–двенадцать, в Основном художественной литературы, пошла к райисполкому, где отчитывался Назаркин. К изгороди была привязана поникшая лошадь. Ольге пришлось долго ждать председателя в коридоре, на первом этаже, где было холодно, но все же сносно, не то, что на улице. Между тем небо еще больше нахмурилось, к вечеру заметно усилился ветер, бесновалась вьюга. Надо было бы спешить домой, пока не затуманился[1] белый свет. Ольга не раз выходила к лошади, смиренно стоявшей с низко опущенной головой, смотревшей на нее яблоками больших выпуклых глаз, таких печальных, что нельзя было вытерпеть, чтобы не дотронуться до нее, покрывшейся ледяной коркой. Ольга варежкой сметала с нее белый покров, а потом взяла с саней охапку соломы и положила перед ней. Лошадь не набросилась на нее, не выбирала по соломинке и не жевала. Найти же хотя бы одну травинку, пахнущую сеном, ей не удалось.

Почти целый день она простояла некормленной и непоенной, и Ольга думала, где бы раздобыть для нее корма. Но председатель уже спускался со второго этажа в нахлобученной шапке, в полушубке нараспашку, со злым покрасневшим лицом. Ему было, видимо, жарко от состоявшегося разговора и не до заботы о лошади.

— Поехали, — снова буркнул Назаркин, мимоходом, увидев Ольгу и ни на секунду не задерживаясь. Он отвязал лошадь, подтянул чересседальник, присел на сани и рванул на себя вожжи. От райисполкома они отъехали совсем немного. Председатель подвернул сани почти к самому входу в закусочную, в окне которой уже мигал желтый огонек лампочки, от где-то стучавшего поблизости движка.

— Тп–р-у… — остановил Назаркин лошадь, откинул

вожжи наперед и привязал их к столбу, у которого гудели от

ветра провода, как натянутая струна.

— Пойдем, — нехотя предложил он Ольге. — После такого надо подкрепиться, а то не доедем.

Ольга отказалась. Он не настаивал. Из закусочной выходили подвыпившие мужики, доносился оттуда пьяный гомон и разухабистый мат. Долго ей пришлось ждать Назаркина. Он, наверное, забыл про нее. А она на морозе сначала сидела на санях у своих книг, а потом стала ходить около закусочной, пытаясь согреться в стареньких валенках, даже заглянула в закусочную и на минуту задержалась там, но в густом дыму и врывавшемся с улицы в теплое помещение морозном тумане не могли отыскать председателя, а пройти между столами побоялась пьяных мужиков. Компания там заседала довольно шумная. Горланили кто во что горазд. Ее появление сразу заметили и уже неслись приглашения присесть, что могло кончиться для нее весьма плачевно.

Она предпочла ожидание председателя на морозе.

Покачиваясь, Назаркин вышел из закусочной, уставился по–бычьи на нее мутными глазами.

— Айда домой, сивая, — подстегнул он вожжами лошадь.

Как только они выехали из городка в чистое поле, сразу услышали тревожное завывание пурги, ослеплявшей сечкой лошадь и сидевших на санях.

Ольга снова повернулась спиной к ветру, облокотилась на книги и замерла в таком положении, а председатель сидел с вожжами в руках, он не отворачивался от ветра, а потом разлегся на санях в расстегнутом полушубке, как в теплой избе. Удобно расположившись, он начал ругать безбожными словами, наверное, тех, перед которыми держал отчет, затем, была не была, вдруг запел: «Три танкиста, три веселых друга, выпили по триста…» — Однако слов он не помнил, обратился к Ольге поддержать его. Ей же было не до пения с пьяным мужиком, которого она боялась, как и всех пьяных.

— «Выходила на берег Катюша, на высокий на берег крутой…» — затянул Назаркин, но и этой и других популярных песен, кроме первых куплетов, он не знал, а Ольга упорно молчала.

— Как дальше? Подскажи… Что воды в рот набрала?

— Не знаю, — сказала она, как можно мягче, чтобы он не прицепился к ней.

— Как это не знаю? Ты же у меня завклубом. Ну-ка повернись сюда, — начал он тормошить ее. Уцепился, как клещами за ее холодную коленку, до боли сжал своей лапой, пытаясь развернуть Ольгу лицом к себе, но она противилась, ухватившись за отвод

саней.

Назаркин, занятый Ольгой, не следил за дорогой, отпустил вожжи, лошадь сбилась с заметенного снегом зимника, тащила тяжелые сани по снежной целине. Разыгравшаяся метель все больше окутывала путников непроглядным туманом, секла как песком их лица.

— Куда мы едем? — забеспокоилась Ольга.

— А куда надо… Домой, — не унывал Назаркин. — Сивка довезет. Но, но, но…

Ольга оглядывалась по сторонам, ничего не видела, но почувствовала, что под полозьями не дорога, а глубокий снег.

— Замерзла?.. — обхватил он Ольгу со спины полами своего распахнутого полушубка. — Вот так теплее будет, — услышала Ольга у своего уха.

Она пыталась вывернуться из его пьяных объятий.

— Ну, ну,… Не дури, не царапайся…

В это время лошадь вдруг провалилась, как в яму, а за ней поползли в пропасть сани. Ольга только взвизгнула от неожиданности и они оказались в глубоком овраге, занесенном снегом. Назаркина это нисколько не обескуражило. Ольга, удерживаемая его крепкими руками, повалилась вместе с ним, к чему и стремился Мишка. Сползание саней остановилось и замерло. Лошадь стояла как вкопанная в глубоком снегу, сзади ее подпихивали сани, непроглядная пурга со свистом завывала. Со всей силой Ольга отбивалась от Назаркина, плакала, упрашивала пожалеть ее, но разъяренный Мишка не унимался. Никто не мог услышать ее мольбу, никто не мог увидеть куражившегося Назаркина и прийти ей на помощь. От него несло сивухой, луком, солеными огурцами. Все это смешалось с крепким табачным духом, испускаемым курильщиком, и превращалось в невыносимый тошнотворный пар, которым он обдавал Ольгу.

После бурного натиска Назаркин утихомирился, не проявляя никаких опасений, что они могут замерзнуть и быть заметенными снегом до весны.

Всхлипывая, Ольга соскочила с саней, провалилась в пушистый снег, набившийся в валенки и рукава. Где-то в снегу валялись сброшенные с саней, мешавшие председа

телю книги. Он их не только не читал, хотя и наведывался иногда в колхозный клуб, но и не заглядывал в них. Ольга была в отчаянии, а притихшего Назаркина, вытянувшегося на санях, потянуло в сон. Ее первой возмущенной мыслью было бросить его, но она тут же спохватилась — замерзнет и ей еще придется отвечать за него.

Назаркин лежал с открытым ртом, в который набивался и

таял снег, и так храпел, что даже завывавшая вьюга не могла заглушить в его горле словно пыхтевший с надрывами трактор.

Ольга пробралась к лошади, потянула ее за уздечку вперед на себя, пытаясь сдвинуть ее с места, но из этого ничего не вышло. Лошадь топталась на месте. Ее надо было распрягать, как-то вызволять как из болота, развернуть провалившиеся сани и только после этого можно попытаться выбраться из оврага.

Председатель без шапки на морозе протрезвевал. Его тормошила Ольга, говорившая сквозь плач, что они замерзнут, упоашивала встать и высвободить лошадь, которую она распрягла. Назаркин, наверное очнулся от того, что продрог, сел, свесил ноги с саней, как дома с печки. Зевая, толком не проснувшись, он не сразу осознал положение, в котором они находились. И если бы не Ольга, он опять бы завалился в сани.

Она собирала в снегу книги, нашла шапку, надела ему на голову и снова попросила Назаркина опомниться, называя его Михаилом Федоровичем.

Долго они барахтались в снегу, помогая лошади выбраться из снежного плена, а потом вытаскивали тяжелые крестьянские развальни, сидевшие в глубоком снегу. Назаркин, ухватившись за длинные оглобли, хрипел, тянул на себя, требовал, чтобы Ольга навалилась на сани сзади и посильнее толкала. Сани трудно было сдвинуть с места, Ольга помогала ему, Назаркин ругался отборным площадным матом, как будто это прибавляло ему силу.

Он запряг лошадь, потянул ее за повод по протоптанному следу и она с трудом вытащила сани из оврага.

Ближе к утру метель заметно утихла, они выбрались на дорогу, у телефонных столбов.

В сгустившихся предрассветных сумерках заморившаяся лошадь дотащила сани в деревню. Ольга, не чувствуя ног, прибежала домой ни жива ни мертва, забилась на теплую печку к теткиным ребятишкам и всю ночь всхлипывала во сне.

— Уж не Мишка, антихрист, над тобой измывался? — допытывалась тетка утром.

Ольга ей ничего не сказала.

— Да, я ему… морда, — пригрозила она, — не знаю, что сделаю.

Но это были только слова. Она не могла даже выговорить ему, так как он в деревне был полновластным хозяином и устраивать ему скандал из-за племянницы, портить отношения с председателем ей было невыгодно. Лучше промолчать. Так все и осталось.

Через несколько дней поползли слухи, исходившие от Мишки, как они сбились с дороги, долго возились в снегу, как он

потерял шапку, а после стакана самогона уже бахвалился со всеми другими намеками, относившимися к Ольге. Правда, везде говорил, что Ольга спасла ему жизнь. Не будь ее, замела бы его метель и поминай как звали.

Вернувшись с заседания райисполкома, Назаркин, каждый день напиваясь так, что к вечеру уже терял всякие ориентиры и ночевал там, где его сваливал крепкий самогон, не переставал повторять: «А все ж таки наш колхоз не отстает. Есть похуже…» Вслед за этим начинал проклинать районное начальство за то, что пригрозили снять его с председательства. За время работы в «Восходе» он нахватался кое–каких верхушек, рьяно выступал за выполнение указаний, поступавших из района, чтобы удержаться в председательском кресле, но затуманить головы мужикам матом было трудно, хотя они смирились, не бунтовали против его правления. Все роптали, чаще всего между собою, однако дальше внутреннего сопротивления и недовольства дело не шло, хотя нужно было кричать караул! Но мужики оставались себе на уме. Не пропустили незамеченным поцарапанное лицо Мишки и его приставание к Ольге.

Выговаривали ему по–своему за обиду сироты, чего раньше на их памяти в деревне не было.

— Не трепись, Мишка, — предупредили они его. — Не то под суд угодишь. Как пить дать…

Назаркин струхнул, язык прикусил, но в деревне ничего не скрыть. Все друг друга знают, все на виду. Ольга, заметив, как на нее стали коситься, замкнулась, ходила с надвинутым на глаза платке, с опущенной головой, как провинившаяся перед всеми. Она была одинока со своими переживаниями, ей некому было открыть душу, не с кем

было поделиться, оставалось только горько выплакаться в нетопленном клубе. И она подолгу рыдала. Все накопившееся, все обиды, бушевавшие в ней как в грозу, постепенно улеглись, перемешиваясь с раздумьями — что же дальше? Как быть? Она почувствовала ненужность своего просветительства в деревне, всего того, что она делала в колхозном клубе, читая со сцены стихи. Ей не за кого было ухватиться и удержаться в эти трудные дни. От тех, кто метил на ее место, она испытывала на себе злорадство, ее обзывали последними словами, а сверстники оскорбляли своим хихиканьем и ухмылками.

Все это становилось невыносимым, терзало душу, даже сочувствие, желание защитить ее вызывало у Ольги отвращение.

Больше оставаться в деревне она не могла. Да и тетка, у которой она жила, женщина жалостливая, но забитая беспросветной нуждой, видя, что она собирается куда-то, не стала

ее отговаривать. Перекрестила на прощанье, усадила на табуретку перед дорогой и сказала у отвалившейся калитки:

— Поможет тебе бог. Я буду за тебя молиться денно и ношно.

От нее Ольга слышала, что на Кубани, где когда-то проживали теткины дальние родственники, тепло, не нужна зимняя одежонка и прожить там легче. Туда и направилась Ольга с небольшим чемоданчиком, вместившим все, что у нее было.

Об этом она даже следователю постеснялась рассказать, как ни словом не обмолвилась о Шмидте, приставшем к ней. Спустя несколько лет Ольга открылась человеку, страстно полюбившему ее. Она поведала ему все как на исповеди только лишь потому, что никогда раньше не чувствовала ни от кого такой жалости к себе, к своей судьбе. Она видела, как он переживал вместе с ней, может даже больше, чем она сама, проникнувшись к ней еще большим состраданием.

16

К Алексею Николаевичу Косыгину нельзя было не проникнуться уважением. При его встречах и проводах чувствовался занимаемый им высокий пост Председателя Совета Министров СССР. И это несмотря на все сложности его положения, созданные вокруг него. Даже своим

видом и обращением он внушал доверие как государственному деятелю. Уже будучи больным, он приехал в Сочинский порт встречать правнучку. В ожидании теплохода Алексей Николаевич прогуливался по пирсу в сопровождении Медунова, рассказывавшего ему как обычно о делах на Кубани, о значении построенного Краснодарского водохранилища в увеличении производства риса. Алексей Николаевич, склонив голову, больше слушал краснодарского собеседника. Между тем высказал озабоченность нехваткой хлеба в стране и проводимыми за границей закупками зерна. Значительная его часть доставлялась в Новороссийский порт танкерами. За границу танкеры заливались сырой нефтью, там емкости очищались, мылись иностранными специализированными фирмами, потом загружались зерном. Фирмы наживались на мытье танкеров, не доверяя нашим экипажам самим готовить посуду под зерно.

В Новороссийском порту все больше скапливалось иностранных зафрахтованных и наших судов с зерном. Разгрузка шла крайне медленно. К приему зерна оказались не готовы ни порт с примитивной механизацией работ, ни железная дорога, ни элеваторы. Простои неразгруженных судов дорого обходились государству. Зерно становилось золотым, однако дальше разговоров дело не шло. Капитаны иностранных судов удивлялись неповоротливости наших властей и примитивности портовых сооружений. За простой платили валютой. Их экипажам надоедало стоять на рейде в ожидании разгрузки, поэтому капитаны обивали пороги наших портовых властей, выясняя, когда же, наконец, их поставят к пирсу.

— О, русские, знать у вас много золота, коль вы позволяете нам болтаться у вас по месяцу, — однажды сказал мне капитан греческого судна.

Ничего конкретного сказать им в Новороссийском пароходстве не могли, а количество судов все прибавлялось. Располагая такой информацией, Управление проинформировало Центр о сложившейся ситуации, о больших затратах советской стороны. Видимо, Совмин и лично

А. Н. Косыгин имели не только нашу информацию. В других

сообщениях преподносилось все в другом свете:

— Разгрузка судов идет по графику… План выполняется.

Алексей Николаевич позвонил мне и спросил о положении дел в Новороссийском порту. Я доложил о скоплении

иностранных судов, ожидавших разгрузки по две и больше недели, до месяца.

— Поручаю вам лично заняться организацией разгрузки зерна, — услышал я его спокойный голос. — Примите меры, которые вы сочтете нужными. Я скажу об этом товарищу Медунову.

После этого на бюро крайкома меня официально назначили ответственным за разгрузку зерна.

Нелегко пришлось развязывать узлы не свойственной мне хозяйственной работы, однако указание Председателя Совета Министров я считал делом государственной важности и сделал все, чтобы страна не несла огромных затрат за простой иностранных судов.

Пожалуй, впервые я столкнулся с вопиющей безответственностью портовиков и железнодорожников, удивлялся спокойствию многих должностных лиц, не проявлявших должной настойчивости в принятии чрезвычайных мер. Никто, конечно, денег из своего кармана не платил за простой судов и поэтому особого беспокойства это не вызывало.

Целые составы железной дорогой подавались под погрузку, вагоны которых были непригодны для перевозки хлеба, не только тем, что они не подвергались специальной санитарной обработке после перевозки скота, удобрений, других грузов, но и походили на решето, сеявшее зерно по дороге. Железнодорожное полотно было усеяно зерном. Такими разбитыми вагонами, требовавшими ремонта, целыми составами забивалась железнодорожная станция Новороссийска, не приспособленная по своей пропускной способности к массовой перевозке и перегрузке зерна с судов в вагоны. Отремонтированные составы, годные под погрузки зерна, нельзя было подать в порт, так как станция была забита подвижным составом.

Многим не нравилось вмешательство КГБ в разгрузку зерна. Да, это, конечно, не входило в обязанность органов, и никого мы не арестовали, ни на кого не возбудили уголовного дела, но порядок и дисциплину навели.

— Это что же, тридцать седьмой? — гневно возмущались начальники разных ведомств. Впрочем, это ходячее выражение можно было встретить всюду, когда органы безопасности проверяли поступавшие заявления о вопиющей бесхозяйственности и крупных злоупотреблениях служебным

положением, наносящим громадный ущерб государству.

Приходилось терпеливо разъяснять, что выполняем

поручение Председателя Совета Министров СССР. Ежедневно докладывали в Центр о ходе разгрузки зерна. Месяц ушел на то, чтобы снять напряжение, выполнить ответственное поручение А. Н. Косыгина.

Это был не единственный случай обращения Алексея Николаевича в Управление КГБ за правдивой информацией, касающейся Новороссийска. Он непосредственно обращался к дежурному Новороссийского отдела, выяснял обстановку в городе.

Сотрудники старались выполнять распоряжения главы правительства, питая к нему глубокое уважение. Они, как и весь народ, знали о деятельности А. Н. Косыгина, еще в 1949 году заявившего о том, что «всего два года потребовалось Советскому государству, чтобы после тяжелой и длительной войны создать условия для отмены нормированного снабжения по карточкам и перейти к открытой продаже продовольственных и промышленных товаров по единым розничным ценам при снижении цен на хлеб и крупу. Население выиграло при этом от снижения цен около 86 миллиардов рублей в год. В 1949 году был проведен второй этап снижения цен на товары массового потребления. От этого снижения цен повысилась покупательская сила советского рубля, чем обеспечено улучшение благосостояния трудящихся. Уровень народного потребления достиг довоенного уровня по важнейшим товарам, а по некоторым изделиям превосходит его».

Кто еще из наших премьеров мог заявить об этом народу? Никто. И следует повторить, что произошло это в первые годы после опустошительной войны.

Народ жил, конечно, неважно, но с надеждой. Без надежды жизнь обречена на прозябание.

Золотой жилой не только уже для дельцов теневой экономики была транспортировка танкерами из Алжира виноматериалов, а потом перевозка их в цистернах по железной дороге вплоть до Сахалина. Видимо, своих виноматериалов в стране недоставало или Алжир расплачивался за наши поставки, но ввозилось этих материалов много. В ходе транспортировки они теряли свое качество. Разного рода жулики, нанимаясь сопровождающими цистерн, наживались, торгуя виноматериалами по дороге, разбавляя их водой. Крупные аферы были вскрыты органами КГБ, материалы передавались в милицию, однако как правило они бесследно исчезали там.

Видимо, в Совмин тоже поступали заявления о «поряд

ках» на базе виноматериалов и А. Н. Косыгин находил время поинтересоваться достоверностью информации, однако ему об этом уже не пришлось докладывать.

Были встречи с председателями Совета Министров Тихоновым и Рыжковым во время их приезда на Черноморское побережье, но они не нисходили до таких «мелочей», как Алексей Николаевич.

17

В залитом солнцем уютном кабинете, в приподнятом настроении, в рубашке, на которой вдоль и поперек можно было прочитать «миллион тонн Кубанского риса», Сергей Федорович сидел за столом и видно было, что он хотел сказать что-то весьма важное и радостное. Я видел это по его лицу, удержаться он не мог.

— Получил личное письмо от Леонида Ильича, — сказал он. — Это не только письмо, а исторический документ.

О содержании не распространялся. Почему-то держал в секрете, хотя о получении письма знали уже многие.

— Надо снять копию, — сказал он, — для пользования. В ЦК никто не знает об этом письме. Скажи, кому Генеральный секретарь посылал письма? — спросил он. — Даже Капитонов не знает. Кстати, Иван Васильевич хотел бы прочитать этот документ, так как он принадлежит не только мне, а всей партии. Но я подожду.

Потом Сергей Федорович все же не вытерпел и предал гласности содержание письма в книге «Кубанские были». В нем ничего особенного не было. Никакого впечатления своей значимостью оно не производило, сенсацией не пахло к великому удивлению Медунова, так гордившегося этим посланием.

Сергей Федорович все же воздал должное автору: «Тепло принял читатель фронтовые воспоминания «На левом фланге». Но особое место среди литературы о новороссийской эпопее по праву принадлежит книге воспоминаний Леонида Ильича Брежнева «Малая земля». Написана эта книга Леонидом Ильичем по велению его чуткого сердца. Он всегда с глубоким вниманием и заботой относился к восстановлению и сохранению героических картин минувшего, тонко и мудро поддерживал и направлял тех, кто брался за перо во имя этого большого патриотического дела.

Ярким примером тому может служить письмо, присланное Леонидом Ильичем Брежневым в мой адрес. В этом письме Леонид Ильич писал: «С чувством глубокого волнения прочитал я книгу фронтовых воспоминаний «На левом фланге». Хочу от всей души поблагодарить тебя за участие в создании этой книги, которая займет достойное место в летописи славных дел нашей партии, всего нашего народа в годы Великой Отечественной войны».

Сергей Федорович обещал мне дать копию письма, но я так и не получил, не напоминал ему об этом. А вот рубашку 6 надписями «миллион тонн кубанского риса» на воротнике, мне

хотелось иметь, как необычный сувенир. Несколько таких рубашек сшили на швейной фабрике. Распределял их Медунов. Достались они кому-то и в Москве, чтобы там знали об успехах тружеников Кубани.

— На Западе сразу делают рекламу, на рекламе бизнес, а у нас не додумываются. Возьмите, как пестрят рубашки в Америке, рекламируют черт знает что, а мы чем хуже их? Такой успех — миллион тонн!.. — восторгался Сергей Федорович.

А я остался без рекламной рубашки.

Шумели, конечно, много по поводу сбора миллиона тонн риса, Сергей Федорович был больше чем доволен тем, что на предстоящем съезде партии он мог громогласно с пафосом об этом заявить, но все же чувствовалась какое-то его беспокойство, вызванное недоверием к этой цифре. Да и пресса как-то скромно отнеслась к сенсации с Кубани, но встречать прилетевшего из Болгарии Л. Брежнева с супругой было с чем. Приземлились сразу два «ТУ». На следующий день начала работу отчетно–выборная краевая партконференция.

Брежнев у трапа расцеловался с Медуновым, с остальными поздоровался. В Болгарию он вылетал на отдых, но его супруга там почувствовала недомогание и они вернулись домой. Так объяснил Генсек свое неожиданное возвращение. Он велел подозвать кого-то из присутствующих корреспондентов и сказал им, как дать в прессу: «…Возвратился на Родину, домой». Корреспондент записал и сразу куда-то побежал. Медунов и Разумовский неотступно были с Брежневым, пока он отдавал какие-то распоряжения помощнику. Супругу усадили в громадную черную машину, поджидавшую хозяина. Наконец Медуно- ву удалось вклиниться в разговор и сказать несколько слов. Брежнев был занят своими мыслями, но две–три минуты

слушал Медунова, приглашавшего зайти в коттедж, где все было приготовлено на столе по высшему классу. Леонид Ильич не Стал заходить, направился к машине в сопровождении многочисленных охранников.

— Леонид Ильич, — торопился Медунов, — у нас завтра отчетно–выборная краевая конференция. Что бы вы нам рекомендовали в плане ее проведения?» Брежнев словно не слышал обращения Медунова, искал кого-то глазами. Медунов шел рядом, ждал. Леонид Ильич, — решился напомнить Медунов, — что передать делегатам конференции?

— Передавай, передавай, — махнул рукой Брежнев, так и не сказав, что именно.

— Ваши поздравления и напутствия, — сказал Медунов.

— Передавай, — махнул он снова рукой, как от назойливой

мухи.

Брежнев пожал руку ему и Разумовскому и уехал на дачу. Мы вернулись в Краснодар.

Открывая конференцию, Сергей Федорович во вступительной части к докладу сказал о встрече в Сочи с Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым, который просил передать горячие поздравления делегатам конференции и пожелания успешной работы. Это было преподнесено под аплодисменты чуть ли не как исторический момент в самом начале доклада, длившегося как всегда более двух часов. Открывая конференцию, пленум или любое совещание, на которых он был постоянным многословным докладчиком по всем вопросам, Сергей Федорович обычно обращался к залу со словами: «Докладчик просит не ограничивать его во времени, а докладчику не злоупотреблять доверием». По установившейся традиции возражений не было, хотя доклады каждый раз изобиловали многими мелкими подробностями и нередко представляли собой экскурс от посевной кампании до уборки урожая с рекомендациями всех агротехнических приемов, хорошо известных всем сидевшим в зале.

18

Заседания бюро всегда затягивались допоздна. Начинали засветло, кончали в темноте. Слушали отчет коммуниста начальника Управления связи. Положение дел в этой отрасли выглядело довольно сложным, хотя многое было сделано, радиофицированы многие населенные пункты,

введены новые мощности АТС, однако острый спрос на телефоны далеко не удовлетворялся. Десятки лет даже фронтовики ждали и сейчас еще ждут очереди на установку домашних телефонов, а многие населенные пункты — радиофикации.

Докладчик–связист уложился в отведенные ему десять минут, сказал честно и открыто, что существует много объективных трудностей, которые он не может устранить. Нужны капитальные вложения, нужны материалы, нужна поставка новой техники. Кажется все он объяснил. Его можно было понять. Однако тон обсуждения задал ведущий бюро. И почему-то настроен был агрессивно. Заглядывая ему в рот, некоторые члены бюро, как это случалось не однажды, тут же сориентировались и не намерены были идти против «сквозняка».

— Есть предложение исключить…

А это означало автоматическое освобождение от должности знающего специалиста. Докладчик покраснел, потом побледнел, с ним, кажется, стало плохо.

— Мы же ему недавно за все это записали строгий выговор, за что же его здесь опять подвергаем экзекуции, кому это нужно?

— Товарищи, — услышав эти слова, почуяв надежду на спасение, начал он тихим дрогнувшим голосом, — я только что из больницы, у меня был инфаркт. Мне осталось немного, дайте мне возможность доработать, всего несколько месяцев до пенсии и я уйду.

Он очень волновался, но пытался сдержать себя. Его пробивал холодный пот.

Пришлось еще раз сказать в его защиту, чтобы спасти человека. Исключение из партии было жестоким наказанием. Такой жестокости подвергались иногда люди, объективно не имевшие возможности выполнять те или иные решения, вовсе не потому, что они не хотели или не справлялись со своими обязанностями. Но это не принималось во внимание. На всех уровнях существовала установка — знать ничего не знаем, никаких ссылок на трудности, и из-за боязни, как бы не обвинили в беспринципности и мягкотелости, нередко отменялись решения

бюро райкомов, поступивших недостаточно жестко.

Со мною согласились. Ограничились тем, что начальника связи предупредили.

Многие исключенные из партии убежденные коммунисты апеллировали к съезду, настойчиво через пять, де

сять и более лет добивались восстановления в партии. Они верили в справедливость, защищали свою честь и достоинство. Добивался реабилитации и восстановления в партии один из министров правительства бывшей Крымской АССР, татарин, человек преклонного возраста, но ему отказали в восстановлении по причине его автономистской активности среди крымских татар, проживающих в крае.

После рассмотрения вопросов повестки дня начинался обмен мнениями на свободную тему о наболевших житейских делах, которые занимали всех. Плановые вопросы хотя и готовились, но их обсуждения превращались в бесконечные, порою нудные разговоры, часто не имевшие никакого практического значения. Принимаемые постановления носили общий декларативный характер, не поддающийся контролю. Докладчики как правило сползали с партийно–политических и идеологических вопросов на хозяйственную деятельность и администрирование. Трудно было разобраться в этой машине — кто за что отвечает. А между тем на любом участке накапливался ком неразрешимых проблем.

Коммунальное хозяйство Краснодара находилось в крайне запущенном состоянии. Обустроить эту большую станицу, кем-то в насмешку прозванную «маленьким Парижем», преобразить ее в современный город — дело весьма непростое, трудоемкое, хлопотное, требовавшее миллионных вложений и истинного патриота, который бы денно и нощно заботился о «парижанах». И все равно ему бы не удалось реконструировать башню у Сенного рынка, придать ей вид Эйфелевой вышки. Городские власти в основном латали дыры на отпускаемые им гроши, не успевали менять проржавевшие трубы водопровода, не выдерживавшие не только давления, но и стандартов питьевой воды из Кубани.

— И такой воды в городе не хватает, — робко сказал председатель горисполкома, посматривая на Сергея Федоровича.

— Да, вода неважная, — согласился с ним секретарь горкома. — Я был во время турпоездки в Париже…

— Видел Эйфелеву башню? — кто-то перебил его со смешком.

Хотелось добавить: возвратившихся из Австралии обычно спрашивают — видел кенгуру? Как будто там больше и ничего нет.

— Видел. Не об этом… Парижане пьют воду из Сены. Вода в

ней дождевая, а мы пьем воду из Кубани, ледниковую. Длина Сены — 780 километров, а Кубани — 907! Правда, пахнет хлоркой…

Спор о чистоте воды затягивался. Секретарь горкома настаивал на том, что у нас вода чище, чем в Сене.

Сергей Федорович сказал, что не пьет воду из-под крана городской сети. Где-то на окраине города есть колодец или криница с хорошей питьевой водой.

— Пьешь и напиться нельзя, — заинтриговал он членов бюро. — Я посылаю шофера с канистрами и он привозит мне домой водичку. Могу угостить.

Многие из присутствующих переглянулись. Такой возможности у них не было. Никто не стал расспрашивать, где же та криница, из которой он пьет родниковую воду. Душно было в зале заседаний и, наверное, всем захотелось выпить чистой холодной воды.

Инициативу перехватил Сергей Федорович, сказав, что у станицы Ивановской тоже есть источник чистейшей воды. Он недавно проезжал и видел, что около него останавливаются машины.

— Ну и пусть на здоровье пьют, а вот ломать кукурузу проезжим — это уже не в ту степь.

Он рассказал, как задержал на обочине шоссе врача из Архангельска, возвращавшегося с Черноморского побережья домой на своей машине.

— Еду… Смотрю стоит «Москвич», хозяина нет. Остановились, подождали. Выходит из кукурузного поля с початками в авоське… Спрашиваю, ты сажал кукурузу? — Нет. — Зачем же воруешь? Если каждый приезжий будет увозить по авоське, нечего будет сдавать государству.

Врач остался недоволен выговором и тем, как его выпроводили с поля.

— У кукурузных полей вышки надо строить, наподобие тех, какие были у казаков на линии, — требовал Сергей Федорович. — Еду дальше. Смотрю на дороге валяются початки…

Он тут же вызвал первого секретаря и председателя райисполкома с мешками и заставил их собирать початки.

— В оклунках будут носить кукурузу на элеваторы, — довольный своей находкой сказал Сергей Федорович. — Золото рассыпают на асфальте. Да и по цвету кукуруза, что золото. А пшеница?.. Тоже.

Он был прав. Много раз на бюро обсуждался вопрос

о пологах на автомашины, перевозившие зерно, но дороги края были усеяны пшеницей и кукурузой.

— А куда смотрит прокуратура и милиция? — спросил Сергей Федорович. — Прокурор, начальник УВД здесь?

— Здесь, здесь, — поднялись со своих мест прокурор и начальник.

— Вы об этом знаете?

Они замялись. Сказать, что знаем — значит, последует вопрос — почему не принимаете мер, сказать, что не знаем — почему не знаете? Прокурор что-то пытался объяснить, но довольно невразумительно.

— А о воровстве почему молчите? — допрашивал Сергей Федорович.

— Принимаем меры, — сказал прокурор. Назвал цифру осужденных за кражу зерна нового урожая. Дальнейшие его размышления свелись к тому, что на токах зерно не охраняется, развелось много несунов. Его поддержал начальник милиции. Умолчали о том, что милиция и прокуратура арестовывали и сажали в тюрьму за килограмм мяса и за полмешка зерна, уворованных на мясокомбинате и на колхозном поле, но не трогали тех, кто воровал миллионы. «Миллионеры» имели надежные тылы прикрытия в милиции, в прокуратуре, в партийных и советских органах. Дела на них прекращались или пропадали бесследно.

В разговор вмешался кто-то из идеологов, высказав мысль, что проблема лежит гораздо глубже, в социальном положении общества, в стремлении к накопительству, захвативших всех, как гриппозной инфекцией.

— Машины, телевизоры, холодильники, видеомагнитофоны, тряпки, — перечислял идеолог, занимавшийся обновлением наглядной агитацией, но не знавший почему произошли такие сдвиги в психологии людей, в которых в общем-то ничего крамольного не было.

Невольно вспомнился рассказанный мне случай со спасением телевизора. Тогда было довольно трудно его достать.

…Как-то осенью к вечеру на Азове подул ветер, отогнавший от берега воду. Рыбаки ушли на ночь в станицу, оставив в рыбацкой хижине, на самой кромке берега крепкого казака, лет сорока, как сторожа лодок, снастей, всего хозяйства.

Перед сном он вышел покурить, присел на ступеньки. С берега дул ветер, небо заволокло, поблизости в темноте

шумело море. Около рыбака полукругом расположились собаки. Их было пять, обыкновенных дворняжек, прижившихся в рыболовецком стане. Покурив, рыбак зашел в хижину и завалился в чем был на матрац, укрывшись пиджаком и натянув на себя брезентовую робу. К полуночи собаки вдруг всполошились,

завыли, заметались. Рыбак проснулся, выскочил из хижины. Ветер дул с моря, грозно клокотал прибой, высокий вал воды накатывался на берег. Собаки рвались со двора, обнесенного изгородью, на которой сушились сети.

Рыбак открыл калитку и чувствуя приближение грозной стихии, бросился бежать к станице в резиновых рыбацких сапогах так, что собаки еле успевали за ним. Прибежал в темноте и, не мешкая, улегся на кровать и захрапел. В станице поднялся переполох. Вода подошла к станице. Жена тормошила рыбака.

— Вставай! Вода, наводнение…

Рыбак вскочил с постели, распахнул дверь, вода уже подступила к крыльцу. Он схватил тяжеленный телевизор и потащил его на чердак.

— Детей спасай, — закричала жена не своим голосом. Какое-то время казак еще раздумывал с телевизором в руках, пока она не ударила его по рукам. Телевизор он все же не бросил, а поставил осторожно на стол. Жена уже держала на руках завернутого в одеяло трехлетнего сынишку, а рыбак подхватил сонную дочь, школьницу. И они побежали по колено в воде к высокому бугру у станицы, куда бежали все станичники кто с чем.

Схлынула вода, рыбаки во время перекура перед выходом в море подтрунивали над собратом, бросившимся спасать телевизор. Он сидел рядом с поникшей головой.

— Не жена, прибежал бы на бугор с телевизором и смотрел, где там дети.

— Телевизор — вещь! — вмешался бригадир. — Стоит деньгу. Попробуй достань. А дети что… Дожили? Дожили…

Мне запомнился этот разговор рыбаков. В нем соль, оставшаяся на поверхности после того как утихла стихия. Скоро рождение детей стали связывать с ценами, опустошившими души, и заглушившие призывы к нравственности. Содержать детей не по карману простому смертному. Платные роды стоят — 5 тыс. рублей, а приданое для младенца — 7 тыс. рублей.

Вспомнились и размышления героев М. Э. Ремарка о мире, в котором они жили. С тех пор минуло много лет.

И мир как будто бы изменился. Смерчем пронеслась вторая мировая война. Но он остался таким же, жестоким, каким был во все времена: в нем жили и живут люди, умирают, сменяются поколения. Этот вечный кругооборот связывает в единую цепь все времена. О чем лее говорили герои Ремарка?

«— Если бы мы создавали этот мир, он выглядел бы лучше, не правда ли?

— Да, мы бы уж не допустили такого.

— Жизнь так плохо устроена, что она не может закончиться».

Здесь блеснула искорка надежды, без которой жизнь невозможна. Но это наивная надежда.

«— Отдельные детали чудесны, но все в целом — совершенно бессмысленно. Так, будто наш мир создал сумасшедший, который, глядя на чудесное разнообразие жизни, не придумал ничего лучшего».

Герои Ремарка не борцы, а обреченные жертвы. Они терпеливо переносят невзгоды жизни, пытаются выдержать ее удары, они охвачены апатией. Писателя–гума- ниста упрекали в безысходности, но совершенно напрасно, так как хорошо известно, что немцы, о которых он писал, пошли слепо за фюрером, и борьбы с фашизмом, за исключением одиночек, у них не было. Ремарк не мог ее придумать. Это была бы фальшь.

Он не видел силу, которая могла бы устранить общественную несправедливость. Была надежда на социализм, кое-что сделавший в этом направлении, по крайней мере декларировал. Люди этого не забудут и, наверное, будут искать его совершенствования, опираясь на достигнутое, записанное историей и ее летописцами. Идея не пропадет. Мечта о лучшей доли всегда живет в человеке.

Завидую людям, у которых душа расположена к мечте, им легче живется. Мечты помогают им жить с надеждой, со стремлением к ней. И герои Ремарка думают, что так жизнь не может закончиться. Теплилась у них надежда даже перед смертью.

Однако приходится согласиться с Ремарком о неразрешимости в обозримом будущем противоречий между человеком и обществом. Доказательством тому — более чем тысячелетний опыт человечества.

…Заседали с трех до десяти тридцати. Наговорившиеся, насидевшиеся расходились. Гасли огни в окнах крайкома, перед которым на высоком пьедестале стоял В. И. Ленин

спиной к входу, словно отвернулся от всего того, что там только что закончилось. С тяжелой головой по пустынным улицам с этими мыслями возвращался и я домой.

— Ну, что так долго? — спросили дома. — Что можно обсуждать весь день? Толку-то?..

Пересказывать не хотелось.

19

Нельзя не радоваться тучным нивам Кубани в пору созревания золотистой пшеницы, стройному лесу кукурузы, рису в обрамлении чеков, повисшему под тяжестью корзинок подсолнуху. Все ближе и ближе подступала страдная пора, далеко не всегда с ясными погожими днями. Налетали грозы, лили дожди, ветры вихрем закручивали хлеба на корню.

— Хлеб всему голова, — часто убежденно повторял Сергей Федорович. Уборку урожая называл не иначе, как сражение за урожай, которое он возглавлял как полководец, никому не давая покоя и передышки и сам мотался по районам. «И никакая глыба золота не перевесит крошку хлеба», — напоминал он некрасовские строки. Его девизом была пословица: «Великие цели дают великую силу», — своеобразный эпиграф ко всем начинаниям и починам, многие из которых рождались и тут же утихая, забывались. Слишком уж надуманны они были, но их требовали и люди ломали головы, что бы такое придумать, чтобы не отставать в «творческом» поиске, чтобы заговорили о почине, показать себя не дремлющим ручейком. Сергей Федорович в этом был неисчерпаем. Энергия в нем била ключом.

Кончилась уборочная страда на скошенных золотистых полях Кубани, на какое-то время наступала пауза, но первый секретарь крайкома всегда был в творческом порыве. Родилась идея: сохранить последний сноп богатого урожая, как символ трудовой победы. И послать этот сноп Л. И. Брежневу. На символической ленте, опоясывавшей вазу вместо снопа, написали:

Человеку
С любовью к людям от матери,
Мудрому
От народа.
Степенному от земли,
Твердому от металла,
Патриоту от Родины,
Герою от труда и войны,
Интернационалисту
От пролетариата.
Творцу мира
От человечества,
Коммунисту
От Ленина,

Вождю нашей партии
Леониду Ильичу Брежневу.

Сергей Федорович был очень доволен этой находкой, хотя в ней был явный, до тошноты слащавый перебор. Надпись сложилась не в поле и не в сердцах хлеборобов, как утверждал Сергей Федорович, а в кабинете с помощью людей, сочинявших стихи. Ничего народного в ней не было, стиль не тот, но зато еще никто ничего подобного не придумал. Льстивая новинка в упаковке полетела в Москву.

Здравица Леониду Ильичу была оригинальной, но ожидаемой сенсации не вызвала. Все это было уже сказано и не раз, только другими словами в другой упаковке.

Надо было что-то другое, ближе к жизни. Осенила мысль: «Запах хлеба не совместим с запахом табака!» В этом уже что-то есть. И развернулась борьба с курением — одна из незабываемых страниц в летописи деяний С. Ф. Медунова на Кубани. Сам он не курил. Чистоту воздуха и свежий запах в своем кабинете поддерживал степными травами, разложенными на полированном столике в углу около рабочего стола. Курильщик сразу обнаруживал себя, как только переступал порог.

В крайкомовских ведомствах курение было запрещено. Везде появились плакаты и надписи: «У нас не курят». Дело дошло до того, что в Сочинских ресторанах вспыхивали скандалы с курильщиками из других регионов, где запрета на курение не было.

На собраниях и совещаниях выступавшие обязательно вставляли два тезиса, которые они поддерживали: уничтожение сорняков и борьбу с курением. Если этого не было, то выступления считались непродуманными и подразумевалось игнорирование решений крайкома партии. Бывало кто-то оговаривался и вместо уничвтожения сорняков призывал бороться с сорняками.

Сергей Федорович был настороже. Он тут же поправлял

оратора, указывая на то, что из борьбы ничего не вышло, амброзия процветает, ее надо уничтожать.

Ничего плохого в том, что первый секретарь объявил борьбу с курением, не было, но постепенно его увлеченность доходила до смешного, словно им овладела навязчивая идея. Он останавливал курильщиков на улице, шел в туалеты, ловил дымивших сигаретами и там срамил их. От него начали прятаться, в крайкоме выбирали укромные места, где можно было бы свободно покурить. Один из заведующих отделом крайкома после

курения усердно полоскал рот водой на случай внезапного вызова Сергеем Федоровичем. Все это походило на игру. Всерьез мало кто принимал этот почин, хотя и были ссылки на Ленина, заботившегося, как известно, о здоровье людей своего окружения.

И вдруг новый прилив сил в борьбе с курением, как второе дыхание. «Медицинская газета», долго молчавшая, в какой-то заметке рассказала о вреде курения и приводила в пример постановку борьбы с курением на Кубани. Сергей Федорович был не совсем доволен таким скромным отзывом, надеялся, что будет правительственное постановление о борьбе с курением, предлагал свои меры, а пока на месте все газеты, радио и телевидение ставили барьер курильщикам. Медунов ссылался на опыт скандинавских стран, где велась борьба с этой вредной привычкой, приносящей ущерб здоровью людей, а у нас почему-то не замечали его усердия. Сыпались анекдоты и смешки скептиков, а расчет был на то, что в Москве заметят этот почин и по достоинству оценят. Этот продуманный шаг не нашел должной поддержки ни на Кубани, ни в Москве. Даже на этом, в общем-то благородном фоне, накапливалась неприязнь к властным замашкам Сергея Федоровича, утверждавшего свою единоличную власть, как высший авторитет по всем вопросам жизни края. В этом он следовал Н. Хрущеву, как известно, выступавшему по любому вопросу с докладами, будь это сельское хозяйство, промышленность, строительство, искусство, педагогическая наука или литература. Никита Сергеевич читал то, что ему подсовывали писаря–сочинители. И крайком тоже пыхтел над сочинением докладов Сергею Федоровичу, а два опытных, трудолюбивых помощника доводили их до нужной кондиции, обосновывая необходимость борьбы с курением. Доклады и принимаемые по ним постановления, нередко дельные, превращались в самоцель, но тем не менее постоян

ной заботой крайкома было придумать повестку дня пленума, которая бы еще не обсуждалась в других партийных организациях и'нашла одобрение в ЦК своим новшеством.

Такие повестки обычно предлагались Сергеем Федоровичем. Он был лидером, и, конечно, они от него и должны были исходить. Секретариат и бюро соглашались и начиналась работа по подготовке очередного пленума, стержнем которого был доклад и постановление. Кропотливо выписывалось решение пленума, словно сочинение на аттестат зрелости. Однако, все записанное и продуманное оставалось на бумаге. Помыслы авторов сводились к тому, чтобы все было красиво, выверено каждое слово с точки зрения стилистики, изложения, а потом постановление забывалось, так как готовился новый пленум и

новое постановление.

— Не успеваем писать постановления, — признавался заведующий отделом в курилке. — Когда же их выполнять?

Если постановления пленума ЦК оставались на бумаге, то что же говорить о местных постановлениях, проносившихся, как ветер. Между тем, в них вкладывались мысли и заботы, стремления улучшить или поправить жизнь. Об этом же говорили и выступавшие в прениях. Внимание привлекали не стандартные, бесцветные выступления штатных ораторов, умудрявшихся в течение десяти минут ничего не сказать, а тех, кто выходил на трибуну впервые, говорил свободно и раскованно. Им было что сказать, их хотелось слушать, они сходили с трибуны с большим запасом того, что они, коммунисты с чистой совестью хотели сказать.

Готовился к выступлению на съезде партии и Сергей Федорович. Ему тоже хотелось сказать о многом, но это невозможно в считанные минуты. Надо было остановиться на самом важном, которое бы произвело не только впечатление, о чем нельзя было не сказать, а для этого не занимать ни одной секунды ненужной шелухой.

Сергей Федорович волновался, обдумывал, как бы удачно произнести речь, не повториться, не ударить в грязь лицом, учитывая, что некоторые ораторы уже сказали много лестного в адрес Л. И. Брежнева. Нет бы Леониду Ильичу встать или сидя возмутиться и сказать — хватит!.. Нет, он прислушивался к ласкающей ухо лести.

Заготовленную речь пришлось основательно править в гостинице «Россия». К Сергею Федоровичу заходили

делегаты съезда, члены бюро крайкома, он зачитывал отдельные фрагменты, был чем-то недоволен. Было, конечно, что сказать о Кубани, но времени отводилось на трибуне мало.

— Выступить на съезде, — говорил он, — это все равно, что защитить диссертацию.

Наконец, окончательный вариант выступления был готов. Сергей Федорович пригласил членов бюро, других работников крайкома и читал текст речи:

«…Съезд открывает собой новый этап восхождения советского общества к вершинам коммунизма».

— Может, не к вершинам коммунизма, — кто-то заметил, — а просто по пути продвижения вперед?

«…Главные направления, — не останавливаясь, читал он дальше, — по которым должно совершаться это восхождение, с исчерпывающей полнотой раскрыты в глубоко содержательном, по–ленински научном, революционно страстном и реалистически

мудром докладе ЦК, с которым выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев», — не обратив внимания на реплику и другие замечания в отношении полноты, революционной страстности и мудрости, продолжал Сергей Федорович, посматривая на часы с тем, чтобы определиться с темпом чтения и уложиться в регламент.

Это та же лесть, уже высказанная на ленте того мифического снопа. К ней очень восприимчивы сильные мира сего. В ней то, что человек думает о себе. Не следовало бы по крайней мере повторяться.

Высказывались замечания, уж слишком речь была помпезной и неконкретной, почти ничего не говорилось о насущных, неотложных проблемах Кубани.

Заведующий отделом Василий Иванович Зенов заметил, что речь перенасыщена восхвалениями. Предложил сделать ее поскромнее. Это не понравилось Медунову. Он грубо оборвал его:

— Знай свое место… — добавив оскорбительную ругань.

Руки у него тряслись, лицо побагровело. Однако Зенов

не смутился. Его поддержали, но речь осталась такой же, хотя автор и заверил, что подумает над замечаниями. Впереди была ночь на размышления.

Некоторые ушли, а оставшимся Сергей Федорович предложил по рюмке коньяку. Рюмку он держал двумя дрожащими руками, напоминая, что за здоровье Леонида Ильича он пьет всегда двумя руками. После этого расска

зал свой любимый анекдот о «первом», видимо, в назидание Зенову и другим. Я слышал его много раз в разных ситуациях.

Сошлись двое, партийные работники, и в разговоре заспорили — летает ли крокодил? Один из них усомнился и покрутил пальцем у виска с определенным намеком: «Ты спятил. Тебе надо отдохнуть». Тогда начавший этот разговор сослался на утверждение «первого», что крокодилы летают. «Вот те крест, слышал от самого!» — «Да, да… Постой, постой, — пошел на попятную сомневающийся. — Припоминаю, что-то подобное мне приходилось видеть. И как это вылетело из головы. Сам же видел. Они так медленно, тяжеловато задирают головы над водой, выползают на сушу, отталкиваются хвостом и взлетают. А потом парят как птицы. Точно — летают».

Сергей Федорович от души смеялся, посматривая на Зенова, оставшегося при своем мнении. Фронтовик, добрейший человек, писавший стихи, не согласился с тем, что крокодилы летают, но это не нашло отражения в приготовленной речи. Многие же были согласны, раз сказал об этом первый, так тому и быть. Среди них — секретарь крайкома, всегда поддерживающий первого по

принципу: неважно, кому служить, лишь бы служить.

Однажды в театре на концерте после торжественного собрания он сел на место, отведенное Медунову. Подошел Сергей Федорович, секретарь тут же поднялся, сказав, что сел не в свое кресло. Эти слова очень понравились Сергею Федоровичу и он их часто повторял, делая намек — не в свои сани не садись, знай свое место. Секретарь тут же подтверждал, что так и было. Вскоре это превратилось в расхожую байку с подачи Медунова.

20

Туапсе… Небольшой курортный городок у кромки моря. Ничего уже, кроме могил, не напоминает в нем о войне, о страшных непрерывных бомбежках прифронтового города, ближнего тыла Новороссийска.

— Небо заволокло, лил дождь, — вспоминал об этом городе бывший капитан–лейтенант П. Державин во время прогулки по тенистым аллеям санатория. — Благодать, тишина. Но вот проглядывал просвет и над городом и бухтой, где базировались наши катера, сразу же зловеще завывали самолеты с черными крестами…»

Бесстрашный моряк умолк, не стал больше расписывать мне кошмарные бомбежки. Это как раз и было сильнее того, что он мог рассказать. Державин командовал отрядом десантных катеров, высадивших морских пехотинцев на Малую землю. Нельзя было не преклоняться перед мужеством этого человека и стойкостью горожан.

Спустя десятки лет вспомнили о Туапсе, о том, что пережил город и как выстоял в войну, наградили орденом «Отечественной войны».

Город украшался, готовился к торжественному событию — вручению ордена! Ждали приезда секретаря ЦК Андрея Павловича Кириленко. Он задерживался. Наконец определился срок, приуроченный к отдыху Андрея Павловича на Черноморском побережье Грузии.

В Туапсе съезжались ветераны–фронтовики, делегации городов и станиц края, почетные гости из Москвы.

Летний солнечный день благоухал под раскидистой зеленью платановой аллеи, выходящей к морю. Искрами поблескивали легкие волны, накатывавшиеся на пляжи. В бухте сновали прогулочные катера с отдыхавшими. В городе царило праздничное оживление.

Для встречи Кириленко в Туапсе прибыл Сергей Федорович Медунов, командующий войсками СКВО, генералы и адмиралы. На переднем плане были хозяева города, представители городских властей во главе с первым секретарем Туапсинского горкома и райкома КПСС, обе женщины.

…Прибыл специальный поезд с высоким гостем. На перроне его встретили с хлебом и солью. Кириленко, видимо, был нездоров, шел по перрону медленно, его поддерживала под руку секретарь горкома. Медунов, расцеловавшись, не отходил от него. Туапсинский секретарь, врач по профессии, рассказывала о

Туапсе, о военных годах, а Сергей Федорович напоминал, что в городе бывал Леонид Ильич, который и поддержал идею награждения города орденом.

Перед церемонией вручения награды состоялось возложение венков к памятнику В. И. Ленина в центре города, а потом все направились в Дом моряков, где собралось немало народа, заполнившего до отказа зал.

Прибытие секретаря ЦК КПСС, А. П. Кириленко, сидевшего в первом ряду президиума, присутствующие встретили горячими аплодисментами. Произносились взволнованные речи, в которых отмечались заслуги города

в Великую Отечественную войну, а потом председатель-ствующая„секретарь горкома, предоставила слово А. Г1. Кириленко. Он выступил с довольно пространным торжественным докладом, подготовленным ему не без участия горкома партии со вставками об успехах в выполнении планов, развития города и знатных людях Туапсе. Его нужно было только внятно прочитать на трибуне. Еще на платформе все сочувственно заметили, что Андрея Павловича основательно пошатывало, а глаза, хотя и были живые, но настолько поблекли, что вся затея митингового собрания, казалось, виделась им не иначе, как в тумане. Его все время поддерживала под руку секретарь горкома, тоже пожилая, но еще крепкая женщина. Она его проводила и до трибуны.

Чтение доклада превратилось в сплошное недоговари- вание слов, которое можно было сравнить с маневровыми работами старенького паровоза, пыхтящего паром, толкающего вагоны, с частыми перерывами и передышками. Трудно было разобрать границы предложений, понять о чем говорил докладчик. Трудно ему было читать даже этот трафаретный доклад. Ни одного предложения он не смог прочитать внятно, искажал согласования, пропускал и не выговаривал фамилий, должности ударников коммунистического труда города.

В зале и в президиуме все опустили головы от того, что происходило с докладчиком, сочувствовали ему, иногда по залу прокатывался шум. Выслушать речь Кириленко было просто невмоготу, но он, словно ничего не замечая, продолжал чтение доклада.

Я вытащил из кармана носовой платок и чтобы как-то отвлечься, не смотреть из президиума в недоумевавший зал, крутил жгут с такой силой, что порвал его. Мне стыдно было за Кириленко и по–человечески жаль его, что он взялся за доклад, и выглядел перед собравшимися в довольно плачевном и комичном виде. Сидевшие рядом со мной справа и слева, как и весь президиум, очень переживали с низко опущенными головами,

тоже стыдясь того, что происходило, как будто они в этом были виноваты. Облегченно выдохнули, когда Андрей Павлович закончил и сошел с трибуны. Раздались аплодисменты. Орден был прикреплен к знамени города. Обедать поехали в пансионат нефтяников в 15 км от Туапсе. Там Андрей Павлович отдохнул, а во второй половине дня состоялся прием по случаю награждения города.

В зале собралось довольно много приглашенных. Кири

ленко произносил тост медленно, но никак не мог его закончить, хотелось подсказать ему, когда он задумывался.

— Склероз, — сказал за столом мой сосед, генерал, приглашая попробовать греческие маслины. Он тянул руку и ему дали возможность произнести тОст вслед за Медуновым за здравие Политбюро ЦК КПСС во главе с выдающимся деятелем мирового коммунистического движения — малоземельцем — Леонидом Ильичем Брежневым и его ближайших соратников в лице товарища Андрея Павловича Кириленко.

Склероз Андрея Павловича еще задолго до Туапсе ощутили делегаты съезда партии, когда ему было предоставлено слово — внести предложения по составу Центрального Комитета. Предстояло прочитать не одну сотню фамилий. Уже тогда он не смог произнести правильно почти ни одной фамилии и должности, особенно трудно давались ему казахские, узбекские, туркменские имена и фамилии и довольно сложные для выговора наименования министерств, главков, объединений.

В зале стоял шум и возмущение делегатов, но президиум как бы не замечал, хранил молчание и ему дали возможность дочитать список членов ЦК до конца. Спустя некоторое время Кириленко побывал в Сочи, посетил цирк. Медунов сидел рядом с ним в ложе. Они вели неторопливую беседу, касающуюся организации отдыха трудящихся в профсоюзных санаториях. Опыт работы в Ялте и в Сочи, где он был первым секретарем горкомов партии давали ему возможность говорить об этом со знанием дела. Он, конечно, лучше, чем кто-либо знал работу здравниц и жизнь курортных городов. Его стремление сосредоточиться на этом можно было понять. Затрагивал он эту тему и в своем выступлении на съезде партии. Однако его планам не суждено было сбыться. Кто-то вверху не пропускал его кандидатуру на профсоюзный пост, что его не могло не беспокоить.

Однажды пришлось ему напомнить о разговорах в крае, что он перейдет на профсоюзную работу. Такие слухи действительно широко распространились. Медунов знал. Да и изданная им книга об отдыхе служила своеобразным подспорьем к его

намерениям.

— Если я захочу, у меня такие связи, что меня переведут на эту работу, но я в Москву особенно-то не стремлюсь, — был его ответ. — У меня тут больной сын, есть и некоторые задумки.

Медунов чувствовал, что ему надо уезжать из Краснодарского края, неприязнь к нему несмотря на его бурную деятельность нарастала. Она была связана с разложением кадров на всех уровнях.

«Все как будто бы было правильно в его выступлениях на пленумах и совещаниях, звучала беспощадная критика и строгая требовательность, а кадры он распускал, — делилась со мною работница крайкома, занимавшая ответственную должность. — На деле же было так: «Оставьте у меня материалы…» О них забывали, никаких мер. Я была в недоумении. Ведь оставленные заявления касались чистоплотности кадров. Даже отец, услышав о продвижении своего сына в. крайкоме на более высокую должность, просил не делать этого. Он как в воду смотрел. Вскоре сына осудили за взяточничество».

Его просьбам никто не внял. Этого падения почему-то не хотел замечать Медунов. Обнажать ему было невыгодно потому, что в таком случае рушились все его планы. Кто же его взял бы в Москву, если бы в крае вскрылись негативные явления. О их нарастании свидетельствовал резко увеличившийся поток писем с требованием навести порядок, улучшить продовольственное снабжение и товарами первой необходимости. Медунов уходил от этих вопросов, считая, что на Кубани жить можно. Он не встречался на заводах с рабочими коллективами, редко принимал заявителей и то как правило только должностных лиц. Гораздо охотнее он бывал в колхозах и совхозах. Сельское хозяйство он безусловно знал, был компетентен решать любые вопросы, но всегда советовался с учеными сельхозниками. И Кириленко, с которым Медунов находился в добрых отношениях, почему-то не смог поддержать его желание перейти в ВЦСПС. Очевидно, влиятельные люди в ЦК, прежде всего М. Суслов, придерживались иного мнения. Уж слишком штормило в крае от жалоб и заявлений, которые на месте при проверке, как правило, не «находили» подтверждения.

Уже надвигались тяжелые свинцовые тучи, доносились громовые раскаты, приближалась ранняя гроза.

21

Шло время… На поля и в станицы властно хлынула теплая буйная весна. Под лучами приветливого солнышка постепенно оттаивала Ольга. Мелькавшие перед ней люди

в серых робах, обремененные тяжелой работой, казалось, не замечали ласковых дней. Они жили словно во мраке под сводами продуваемых печей.

Молодая рабочая, проходившая у них курс заводского университета, радуясь весне, уже не была такой задумчивой, как в первые месяцы. Она упорно старалась выполнять наряд, заработать лишний рубль, таскала сырые кирпичи в сушилку по толстому слою коричневой пыли, подхваливаемая своим наставником Сергеичем.

Ольга многому училась, когда во все ее поры стал проникать обжиг кирпичной гари и всего того, что нельзя было услышать ни в одной академической аудитории, ни у одного профессора и у появлявшихся время от времени на заводе лекторов райкома и крайкома.

Жизнь диктовала свои условия, отличавшиеся во многом от того, что она слышала по радио и читала в газетах, но как и все поддавалась бодрому настрою. А читала все подряд, записавшись в местную библиотеку и слыла одной из самых заядлых читательниц в станице по отзывам заведующей библиотекой.

Дед, однажды увидевший кипу принесенных ею книг, сказал:

. — И до самой смерти столько не прочитать.

Чтение будило в ней новое, неизвестное и непознанное, открывало воображение необъятного мира, привносило раздумья в однообразную жизнь, как-то облегчало не женский труд. И еще одно медленно, но настойчиво тревожило дремавшие девичьи грезы, туманные надежды на будущее.

«Испуганное сердце, — прочитала она у Горького, — ищет Веры и громко просит нежных ласк любви». Эти слова были для нее открытием, заставлявшим задуматься над своим нищенским существованием, чаще посматривать на себя в зеркальце — какая она есть и повторять вслед за Горьким, утверждавшим: «Я — Человек!» Ей все больше стала надоедать беспросветная работа. Появилось желание — куда-нибудь выбраться из глубокого карьера, у обрыва которого стоял завод и оттуда черпал вязкую глину для кирпича. Когда она там очищала лопатой, как в шахте забой, а это нередко случалось, то ей вспоминался тот, занесенный снегом овраг, с той лишь разницей, что здесь она утопала не в снегу, а вязла в глине и проходу ей не давал не

Мишка, а бригадир Семка, чем-то напоминав–ший председателя «Восхода». Его приставания на виду у всех пугали ее, и она убегала из карьера.

— Подумаешь, недотрога, королева Шантеклер, — как-то кричал он ей вдогонку, обидевшись за то, что она презрительно на него смотрела и сказала, чтобы он не смел прикасаться к ней. — Видали мы таких… — сказал Семка. — Пардон, мадам… — добавив к этому довольно грубое слово из жаргона уголовников, глубоко ранившее ее.

Но бежать было некуда. На следующий день надо было идти на работу и получать наряд у Семки.

Ольга стала мишенью, по которой стреляли часто устраивавшие перекуры сезонники. Сцены эти напоминали фронтовые эпизоды, когда истосковавшиеся солдаты, увидев молодую женщину, служившую где-нибудь в штабе полка связисткой или в батальонном санвзводе санинструктором, кричали: «Воздух, рама!» Но то было на войне, а это происходило на заводе, боровшемся, словно в насмешку, за предприятие коммунистического труда, а следовательно и коммунистического отношения, предлагавшем карабкаться к высшей культуре поведения работников труда. На заводе же можно было споткнуться о разбросанные везде кирпичи и свалиться в карьер, вылезти из которого женщине было довольно трудно.

Бабка Пелагея дома намекала Ольге, что она уже обвыклась у них, на заводе, в станице и пора ей подумать, как дальше жить. Она ее не торопила, не гнала от себя, но советовала присматриваться к людям, чтобы не связаться с каким-нибудь прощелыгой, пропойцей.

— Не дай бог, — говорила бабка. — Тогда ты пропала. Попадешь к волкам, надо по–волчьи выть. Л ты не сумеешь. У тебя птичий голосок. Дед мой по молодости тоже бражничал,. но дал бог, опомнился, бывало, что я его веником обучала. — Слышишь? — спросила его бабка.

— Слышу, слышу, — отозвался он из другом комнаты.. — С кем не бывает греха? А я и сейчас не прочь после работы пропустить чарку, как водится у казаков. Ну, и что из того? Считай, повезло тебе со мной. Я сам не перевариваю выпивох. Умудряются же прийти утром на работу под газом.

Дед пришел к ним на кухню, присел на табуретку, крепко сработанную им самим и присоединился к разговору, из которого он кое-что уловил. Бабку он рассудительно поддерживал. Даже рассказал, что бухгалтер и инспектор по кадрам как-то у него интересовались Ольгой,

как мол, она там, дома? Обе они были хорошего мнения о

ней. Инспекторша даже ратовала на профкоме за поощрение Ольги премией.

— Вот что я тебе скажу, Ольга. У меня есть племяш Васька. Фамилия его казачья — Найда, как и у меня. Кончает он службу в армии. Сейчас в отпуску, если хочешь, познакомлю. Малый он домовитый, пить не будет, отца слухает, як и положено в казацкой семье. Одним словом, подоспел жених. К тому же хозяйство у батьки его — корова, двое свиней и другая мелкая живность — куры, гуси. Живет на хуторе, не тужит. Будешь там за молодую хозяйку. Бабка умерла.

Ольга не ожидала такого разговора. Она как-то не задумывалась о замужестве и ничего деду не ответила, а бабка промолчала. Похоже было на то, что она другого мнения о Ваське.

— Ну шо ты набиваешься ей своим Васькой? — спросила бабка Пелагея деда, когда Ольга вышла из дома.

— А шо?

— Она хоть и деревенская, но не пара он ей.

— Это почему? Не нравится казацкий наш род?..

— Она книжки читает, умная. Чувствую — на душе у ней камень. Ей добрый человек нужен, который пожалел бы ее. А твой Васька — байбак, ему бы вместо нее на завод. Он сроду в руках книжки не держал. Забыл, как он тебе сказал: «Что я — дурак, — на завод…»

— Чем он тебе еще не угодил?

— Чем?.. — гневно сказала бабка. — Ты болел, помнишь?.. Я попросила его дров наколоть. Куда там… Убежал баклуши обивать по станице. А вот на базар с медом — хлебом не корми. Он первый… Не затевай, не порть ей жизни.

— Начали за здравие, кончили за упокой, — недовольно буркнул дед. — Эт уж их дело, а я познакомлю.

На Ольгу засматривались парни в станице, иные предлагали ей руку и сердце. Особо хотела ее видеть своей невесткой заведующая станичной библиотекой. Но вмешался чужой дед и это вмешательство нежданно–негаданно решало Ольгину судьбу. Впечатлительная Ольга задумалась, но не могла собраться с мыслями, не решилась сразу сказать деду — нет. Ее, выросшую в деревне, не только не пугала работа в богатом хуторском хозяйстве отца Васьки, но даже притягивала. Там ей все было знакомо.

К тому же дед еще сказал, что у брата, отца Васьки,

самая большая пасека на хуторе и он зашибает немалую деньгу за мед. Однако богатство Ольгу нисколько не прельщало, она просто не задумывалась и не стремилась к нему, не знала, что это такое и зачем оно. Более понятным для нее был достаток.

Жить в достатке… Для этого нужна повыше зарплата, чем у нее, чтобы хватало на пропитание и одежду. Лишенная ввякой зависти, как и все крестьянские дети, она мечтала только об этом. А жила она на нищенскую зарплату, считала копейки.

На следующий день Ольга у заводоуправления, после работы встретилась с Алевтиной Ивановной. Им было по пути и они шли вместе не спеша домой. По дороге Ольга, чувствуя материнские слова попутчицы, не удержалась, рассказала ей о предложении не Васьки, а деда.

Затаив дыхание, она слушала совет Алевтины Ивановны.

— Ты не торопись, посмотри на него со всех сторон, что он за парень. Будь построже.

Хотела даже сказать: «Не расслабляйся», но удержалась, посчитала неуместным говорить об этом такой серьезной девушке.

— Дело твое, смотри… Я бы советовала тебе пойти куда-нибудь учиться. Ну, хотя бы в заочный техникум или на худой конец в училище. Нельзя же себя обрекать на всю жизнь ковырять лопатой глину или носить кирпичи. Не женское это дело. Смотрю я на тебя и мне становится не по себе. А время все равно идет — будешь ты учиться или не будешь. Его не остановишь. Выйдешь замуж — все усложнится.

С этими размышлениями Ольга вернулась на квартиру и увидела за столом с дедом молодого солдата в форме. Он уставился на нее, она смутилась. Оба понимали подстроенные дедом смотрины. Ничего необыкновенного она в нем не увидела. Только военная форма как-то скрашивала так знакомые ей угловатые черты деревенских парней. Она его как будто где-то видела: «Ну, прямо свой, из Долгожитово». Такой же скуластый, с бесцветными, моргавшими глазами, где-то потерявшимися на красном лице, с низким лбом, над которым торчали жесткие волосы — ежик.

Солдат поглядывал на нее, все еще немного смущенную, на его лице появилась глуповатая улыбка, он не знал, что ей сказать, как ему дальше быть, о чем с ней говорить.

Дед, видя замешательство служивого, кашлянул в кулак, нарушая молчание.

— Да ты садись, — пришел он на выручку, — с нами за, компанию. Мы вот тут с Васькой отмечаем его побывку, пропускаем горькую…

В поллитровой бутылке была половина, на клеенке миска с огурцами и капустой, лук, нарезанное сало.

— Сами тут на скорую руку по–солдатски приготовили, пока наша бабка куда-то отлучилась.

Дед налил Ольге полную граненую чарку водки, заранее для нее приготовленную и предложил выпить за знакомство. Сами они пили граненых стаканов.

— Бывайте, — сказал он, чокнувшись с Ольгой и Васькой стаканом. Выпил, крякнул, понюхал хлеб.

У ног деда вытиралась кошка, жалобно мяукала, прося чего-нибудь со стола. Дед опрокинул полстакана водки, вытер Ладонью усы, бросил рукой в рот горсть капусты, захрустел, приговаривая:

— Крепка советская власть.

Васька тоже выпил, а Ольга пригубила, скривилась и поставила рюмку подальше от себя. Она ее никогда не пила.

— За знакомство же, — осмелел Васька, но Ольга только подержала рюмку, даже не прикоснулась на этот раз губами. .

После этого тоста Васька раскраснелся, лицо его стало поблескивать пробившимся потом, что не понравилось Ольге. Он стал казаться ей каким-то липким. Разговор за столом с Ольгой не клеился.

Кошка продолжала мяукать. Дед не вытерпел, отщипнул ей хлеба, бросил на пол, но она только понюхала его.

— От стерва, хлеб не ест, — сказал дед.

— Так и у нас такой же кот, —-сказал Васька. — Только рыжий.

Кошка под столом перешла к ногам Ольги, ласкалась, выгибаясь дугой. Оля отрезала кусочек сала и поднесла его своей любимице.

— Губа не дура, — сказал Васька и засмеялся так, что его скуластое лицо раздалось во всю ширь и стало круглым, как мяч. Подвыпив, он беспрерывно глуповато улыбался, а Ольга пугливо посматривала на него, не зная, куда деваться от разбиравшего его помутнения в голове, уже знакомого ей.

Дед то выходил на какое-то время, оставляя их вдвоем, то возвращался, садился за стол, наливал Ваське водки, подливал по капле в рюмку Ольге.

— Ты, племяш, не за горами, вернешься с действительной и тебе надобно уж думать о хозяйке, помогать отцу.

— Я на хутор… Ни за какие мильоны.

— А куда ж?

— В район, в ларек пивом торговать. Во, житуха, — показал он большой палец. Я пойду по торговой части. Сыт, пьян и нос в табаке. Чего еще?

— Постой, постой, купец первой гильдии, шо-то не пойму я тебя. Ты же шо ни на есть из земли вылез, а навострил уши в шинок, где жиды раньше казаков обдирали, — не на шутку

возмутился дед. — Мало тебя батько драл. Я ему расскажу про твои планы. Он тебе так задницу пришпорит, что шагу с хутора не ступишь. У отца хозяйство…

— А зачем мне оно? — равнодушно сказал Васька.

Ольга почувствовав начавшийся серьезный разговор,

ушла, сказав Ваське до свидания, которому он обрадовался, как надежде на будущее.

Ее нисколько не пугало то, о чем говорил дед. Она даже была на его стороне, только промолчала. В Ваське она увидела как раз того, у кого силы были с избытком, что как раз и нужно в деревне, чтобы пахать, сеять, ходить за скотом. Правда, к тому времени она представляла и другую жизнь хотя бы в том же райцентре, что ее как-то притягивало, чтобы избавиться от кирпичного завода. Но не утвердилась Ольга в своих намерениях. Она пребывала на распутье, как бы сидела перед недвижным черным осенним омутом в задумчивости васнецовской Аленушки, девушки–сиротинки из Ахтырки, где писалась эта картина художником. Из того омута могли выплыть добрая царевна Лягушка или злая Баба Яга в образе Василия. Каким он будет, она не знала.

Потом они еще несколько раз встречались, больше молча ходили по весенней станице, не находя общего разговора, но Ольга присматривалась к нему, как советовала ей бухгалтерша. Он был послушен, больше рассказывал, как ему служится, заверил ее, что после армии на глухом хуторе ни за что не останется, думает найти работу в райцентре и ее звал переехать вместе с ним.

Она ему не ответила ни да, ни нет. Так они расстались.

— Оставляю тебя, какая ты есть, — сказал он на прощанье, недовольный тем, как пришлось с ней расстаться. Он не знал, какая она есть.

Между ними завязалась переписка, длившаяся больше

года, а когда он пришел из армии, Ольга вышла за него замуж. Никакой свадьбы не было. Вечером, когда Ольга пришла с работы, выпили водки у деда с бабкой, их поздравили с законным браком и на этом все торжества закончились.

Они поселились в райцентре, как ему хотелось. Он работал в потребкооперации инспектором по заготовкам, а ее взяли в канцелярию треста нефтяников делопроизводителем по рекомендации Алевтины Ивановны, имевшей там знакомых. Только она поздравила ее и преподнесла цветы.

Потом Ольга признавалась, что и сама не знала, почему она вышла замуж за Найду, не могла разобраться, что она в нем нашла и как это случилось. Может, из-за того, что он постоянно

ныл, скулил ей на ухо, какой он одинокий, несчастный. Даже приносил цветы и подолгу сидел, разговаривая больше с дедом, чем с ней.

— Мне его жалко стало, он такой одинокий, — для своего утешения лепетала она с его слов Алевтине Ивановне, когда та спросила по–женски — любит ли она его? Ее никогда никто об этом не спрашивал. Ольга засмущалась, услышав эти высокие слова, не знала, что ей сказать, не испытав всего того, что они значат в жизни человека.

— Не знаю, не знаю, не спрашивайте, — опустив голову перед своей покровительницей, сказала она и поспешила уйти.

Алевтина Ивановна не стала больше говорить об этом, но поняла, что получилось у нее нескладно, по затуманенным слезами глазам, когда она должна петь, как по весне в голубом небе жаворонок, а не быть в отчаянии птицы, обороняющейся от нападающего хищника. Ей обидно стало за Ольгу, за тот небогатый мирок, очерченный кругом, в котором она оказалась.

Алевтина Ивановна жила со своими представлениями, знала этот и другой мир. Ее муж, старший помощник капитана океанского лайнера, не раз брал ее с собой в заморские страны и она кое-что там повидала. Из станицы не уезжала из-за престарелых родителей, нуждавшихся в ее присмотре.

Прослышав о беседе следователя с Ольгой, она сама вышла на него с тем, чтобы заступиться за Ольгу, но в этом не было никакой необходимости.

22

— На кирпичном никто не знал о подготовке Шмидтов к бегству, — докладывал опытный следователь, Владимир Зорин, в профессионализме которого я нисколько не сомневался, но спросил:

— А Ольга?

— Алексей Иванович, я так и знал, что вы припомните мне, но надо же было как-то ее вывести из дела, поскольку она прошла по показаниям инспекторши, как связь Шмидта–младшего.

— Как это ты попался на удочку любительнице побалагурить? Придется тебе принести извинения Ольге.

— Уголовно–процессуальным кодексом это не предусмотрено, но в порядке исключения, да еще перед таким смелым существом я готов даже стать на колени и просить прощения.

Зорин всегда удивлял меня своей непосредственностью. Он проникался доверием и уважением к человеку, переживал с ним, приходил на помощь. И на этот раз под впечатлением беседы с Алевтиной Ивановной жалел Ольгу, размышлял как сложится ее судьба.

Пришлось вернуть его к предмету нашего разговора.

— Плохо, что наша мощная служба не знала о подготовке к захвату самолета. Плохо! Должны были знать? Должны! С нас еще спросят — почему не предупредили преступление и правильно сделают, да еще шею намылят.

— Алексей Иванович, что же мы должны приставить к каждому часового?

— Это уже вопрос нашей кухни. Что показывают пассажиры, побывавшие на празднике в Турции?

— Самолет, как вы знаете, турки вернули восьмого ноября. С пассажирами. Сразу же провели его осмотр, допросили членов экипажа, пострадавших. Начну с показаний командира корабля.

— Нет, начнем с показаний бортпроводницы. Читай.

— …Экипаж зашел в самолет, когда пассажиры рассаживались на местах. Минут через тридцать после взлета из кабины пилота вышел бортмеханик и прошел в хвостовой отсек для осмотра работы двигателей. В это время я увидела как трое неизвестных пассажиров встали со своих мест и направились в пилотскую кабину. Я пошла за ними. В руках у них были ножи и пистолет. Меня оттолкнули, я упала. Они закричали, чтобы все оставались

на своих местах, иначе взорвут самолет. В это время я нажала

кнопку, которая находится в потолке, над дверью переднего багажника, чем дала знать командиру корабля об опасности на борту самолета. Неизвестные набросились на бортмеханика. Я услышала глухой хлопок выстрела. В схватку с неизвестными вступил пассажир, но они ножом порезали ему руку и он сел на свое место. Бортмеханик боролся с ними, будучи уже раненым. Каким-то чудом ему удалось вскочить и укрыться в туалете. Тогда озверевшие бандиты бросились ко мне, потащили в передний багажник, заставляя стучать в кабину экипажа, чтобы они открыли дверь. Я им сказала, что экипаж не откроет, что я могу связаться лишь по телефону. Через весь салон они поволокли меня к телефонной установке. Я связалась с командиром корабля. У меня вырвали трубку. Они требовали повернуть самолет курсом на Турцию, угрожая взрывом. «Нам терять нечего», — кричал один из них командиру. Он был как невменяемый, ругался, оскорблял меня и пассажиров, которые и так страшно были перепуганы. Я их успокаивала, как могла, давала многим валидол из бортовой аптечки. Командир корабля велел им передать, что летим в Турцию. Тогда они достали компас и стали сверять курс. Требовали не отклоняться, угрожая взрывом, манипулировали каким-то предметом в сумке. Плакали женщины, дети, а мужчины сидели, не вмешиваясь в происходящее.

Приземлились в Турции, возле города Синопа. Они не верили, что в Турции, говорили, что чекисты посадили самолет в Латвии.

После посадки бортмеханик открыл туалет, мне помогли оказать ему помощь. Я вытащила из-за пояса бортмеханика пистолет и положила его в карман своего пальто, потом отдала штурману.

Когда преступники сходили, в руках у них была хозяйственная сумка и портфель…»

Прочитав показания бортпроводницы, Зорин отметил только наличие пистолета у бортмеханика, закрывшегося в туалете.

Командир корабля ничего не видел, что происходило на борту, но его показания представляли интерес для следствия.

— А вот, что показывает командир: …Второй пилот передал на землю: «Захватчики говорят, что взорвут самолет. Держим курс 180». Этот курс на Турцию мы взяли

после нашей неудачной попытки развернуться на Симферополь. Я решил использовать малейшую возможность приземлиться на любом аэродроме, в частности в Севастополе, о чем уведомил землю. Переговоры с землей были затруднены из-за горного массива. На помощь пришел какой-то борт самолета, дублировавший переговоры. Попытки изменить курс вызвали

крики за дверью пилотской кабины. У преступников был компас. Я не знаю может ли работать компас в условиях полета. Через дверь раздавались угрозы взорвать самолет. На предложение Симферополя — ввести преступников в заблуждение тем, что на исходе топливо, я ответил, что они знают о нашем рейсе на Одессу и не поверят. Предприняв ряд маневров, я сам сбился с курса, слабо представлял, где нахожусь. На землю передал: «Попробую сесть в Севастополе, пусть только выведут меня, потому, что не знаем, где мы. Под нами море». По громкоговорящей же связи передал: «Выполняю ваше требование — курс на Самсун, но из-за грозовой обстановки пойдем на Трабзон. Все равно — Турция». Эти слова я адресовал преступникам. Хотел запутать их и приземлиться в Севастополе. По радио- переговорному устройству я услышал плач бортпроводницы. Она кричала, что на борту раненые, что пассажиры просят меня приземлиться в Турции.

Тут же раздался плаксивый голос женщины: «Идите же, пожалуйста на Турцию, мы умоляем вас».

После этого услышал грубый голос: «В Трабзон нельзя. Самсун, я сказал». А вслед за этим тот же плаксивый голос сказал: «Тебе не жалко сорок пассажиров?»

Я сразу же передал информацию на землю об обстановке на борту, а сам все еще пытался повернуть на Севастополь. Полагая, что оружие бортмеханика могло попасть в руки преступников, не разрешил выход в салон штурману. Снова услышал по переговорному устройству: «Ну, что, взрывать самолет?» Запросил землю и сообщил, что вынужден подчиниться преступникам. В эту минуту топлива до Самсуна еще хватало. Земля предупредила меня, что на перехват посланы истребители с тем, чтобы я передал преступникам о их намерении сбить нас при пересечении государственной границы. Истребители же взяли другую цель. Какой-то борт передал, что неподалеку крутятся истребители и создают угрозу столкновения.

Внизу было море, Самсун закрыт туманом, горючего оставалось на сорок минут. Меня не покидала мысль, что

у преступников есть взрывное устройство, надо было спасать пассажиров.

Приземлились в Синопе. Турецкие власти не ожидали нашего прилета. Несколько минут никто не обращал внимание на наш самолет.

— Бортмеханик, Алексей Иванович, пожалуй, нового ничего не внес, — закончив чтение протокола командира, сказал Зорин.

— А все же?

— Вышел из пилотской кабины в салон после взлета, чтобы

посмотреть на двигатели, на него напали, выстрелили в лицо, пуля застряла около носа. Наверное выстрел был из игрушечного пистолета. Его поранили ножом. Показывает, что не был готов психологически к встрече с противником. Терял сознание.

…Превозмогая боль, — показывает дальше, — я стряхнул со спины мужчину и бросился в туалет, закрыв за собою дверь. Будучи в туалете, я слышал какие-то крики, шум. Кровь сочилась из ран. До приземления самолета я из туалета не выходил. Мне пришла на помощь бортпроводница и еще кто-то, когда преступников на борту уже не было.

Потом его и раненого пассажира отвезли в госпиталь, где им оказали медицинскую помощь. В госпитале они переночевали под охраной полицейских. Их навестил мэр города и предлагал остаться в Турции. Они отказались и возвратились домой.

— Так был у него пистолет или нет?

— Конечно, был. Об этом Показала бортпроводница. Да и командир корабля, правда, со словом «полагал» тоже показал.

— А он?

— Говорит, что оставил в пилотской кабине. Неудобно все же с пистолетом сидеть в туалете. Исследуем этот вопрос.

Есть еще показания потерпевшего, раненого пассажира.

Он подтверждает показания проводницы. У преступников был пистолет и ножи, компас, хозяйственная сумка, в которой, по его предположению, находился магнитофон. Это совпадает с данными досмотра в аэропорту. Очевидно, они пронесли в магнитофоне пистолет. Объяснили, что летят в гости на праздник. Как же без музыки… В «музыку» не заглянули.

23

Мир полон соблазнов. Перед ними далеко не все могут устоять. Под их теплыми манящими лучами млеют карьеристы, авантюристы, дельцы и проститутки, уголовники и честолюбцы, готовые идти по трупам к мягким креслам. Они появились с незапамятных времен, со всеми оттенками описаны в литературе, показаны в театре и в кино. Но это живучее племя множится, обогащаясь опытом предшествующих поколений, особенно в последние годы.

Стремясь к продвижению по служебной лестнице, они идут даже на заведомые преступления, подминая под себя всех и вся, устраивая ад кромешный не только в организациях, где они работают, но и замахиваются на целые регионы, а то и все общество, прикрываясь, как всегда, заботами о благе народа. В былые времена все же скромнее злоупотребляли ссылками на волеизъявления народных масс. Сейчас это мода.

Ахиллесовой пятой современных карьеристов является их боязнь свалиться со служебной лестницы, по которой они карабкались, и оказаться внизу у разбитого корыта, а то и на дне. Присущая им трусость -— перейти в категорию рядовых, стать незаметными в обществе заставляют их заниматься новейшей саморекламой — имея «мерседес», трястись в трамвае, а то и ходить пешком по грешной земле. Все это засасывает их в трясину тщеславия, из которой многим не удается выбраться. Они обречены, но как утопающие хватаются за соломинку и не брезгуют ничем. Особо опасны появившиеся национал–карьеристы, зараженные княжескими самостийными амбициями.

Однажды усевшись в мягкое кресло, они уже не мыслят себе, что можно сидеть на обыкновенной табуретке, сработанной плотником. Это для них трагедия. На помощь приходили парткомы, пересаживая их из одного кресла в другое, что не прибавляло престижа партии.

Грех этот распространился вширь и вглубь, сверху донизу. На западе, пожалуй, в таком виде эта болезнь не существует. Президент, поцарствовав, возвращается на свою ферму и занимается выращиванием кукурузы или бычков.

Сопутствующая болезнь — тщеславие, толкнула многих из тех, кто в войну был на таком же расстоянии от передовой как Луна от Земли, заявить о своих полководческих

провидениях с тем, чтобы не упустить момент прославиться.

На страницы военного энциклопедического словаря пролезли даже те, кто в войну ходил пешком под стол: комбайнер, экс–

президент Горбачев, экс–ветеринар Шеварднадзе, экс–премьер Рыжков и другие. Уступили бы место генералам, офицерам, солдатам, воевавшим и пролившим кровь на полях сражений — нет, будучи не в ладах с элементарной порядочностью, не отказали составителям в своем присутствии на его страницах, а составители пошли на сделку со своей совестью, и тоже, конечно, напрашивается мысль — небескорыстно.

Карьеризм расцветал на благодатной почве протекционизма, связей в верхних эшелонах, взяточничеств, преподношениях и коррупции. Не утихал ажиотаж вокруг государственных премий, представлений к разного рода званиям заслуженных работников, а ордена выдавались по разнарядке. Используя связи, карьеристы стремились попасть в списки представляемых к премиям и наградам. Многие, добившись этого, потом встречали в глазах людей презрение и не афишировали свои регалии. Присуждение званий Героев Социалистического Труда тоже осуществлялось по разнарядке сверку, а не ходатайствам снизу.

Маститый писатель на своей даче под Москвой жаловался на то, что его обходят.

— Скажи, ну зачем ему (известному писателю) орден? У него же есть и не один. Он и лауреат. А у меня нет ни того ни другого и никто не замолвит за меня слово. Ну хотя бы к премии меня представили.

— Зачем тебе орден?

Он остановился под громадной, наверное, столетней сосной, высоко взметнувшейся в небо, поглядел на ее макушку, а потом, не смотря на меня, сказал хриплым старческим голосом:

— Скажи, зачем она тянулась туда? Ведь все равно засохнет и ее срубят.

Он долго после этого молчал. Мы шли среди редких сосен великанов, которые словно прислушивались к нашему разговору в тишине. Мне хотелось ему сказать, что он не одинок, что недавно я уже слышал что-то подобное от писателя, написавшего посредственный роман, но тем не менее представленный к государственной премии: «Мне эту премию надо было дать десять лет назад. Я ее заслужил». Пришла разнарядка на дважды Героя: найти

и дать от края одного. Сошлись на Клепикове в его присутствии. Нет бы сказать уважаемому, трудолюбивому Михаилу Ивановичу — у меня есть золотая звезда, зачем мне, бригадиру, памятник при жизни? Михаил Иванович согласился. Престиж Кубани по количеству дважды героев был спасен.

Все наградные тайны вовсе не являлись тайнами мадридского двора. О них знали все, но с напускным достоинством молчаливо

соглашались с процедурой поощрения карьеризма, честолюбия, протекционизма, породивших прослойку, отдалявшуюся от рядовых коммунистов–трудового люда.

На бюро крайкома часто рассматривались персональные дела о служебных злоупотреблениях. Виновники подвергались жесткой критике, их неминуемо ждало суровое наказание, они попадали на страницы газет.

Не раз доставалось первому секретарю Геленджикского горкома партии Н. Погодину, будоражившему своим барским поведением общественность города. — ■

Об этом как-то зашел разговор на бюро уже при

В. Воротникове, который хотел выяснить куда же смотрел крайком партии.

Секретарь крайкома, курировавший строительную от-отрасль, не как партийный работник, а как прораб, проводивший в своем кабинете частые производственные летучки со строителями и командовавший вертушками с песком, поставками кирпича, труб, цемента, щебня, и всеми другими необходимыми в строительстве материалами, сказал, что все мы виноваты в том, что просмотрели Погодина. ' :

Пришлось сказать, не надо всех валить в одну кучу, говорить за всех. К тому времени полным ходом шло следствие по многим лицам из Геленджика. Сверкнув глазами, секретарь покряхтел, словно поперхнулся, и замолчал.

Другой секретарь крайкома сидел с поникшей головой. У него было много неприятностей с изданием какой-то книги. Он не успевал оправдываться на посыпавшиеся на него жалобы, но ему поручили проверить поступавшие на Погодина заявления. Ездил он в Геленджик с бригадой. Вернувшись, доложил на бюро в присутствии Погодина, что факты о его злоупотреблениях не подтвердились. Медунов был доволен таким заявлением, а Погодин ушел с бюро победителем, уехал домой на белой «Волге». Всем было ясно, кому это сделано в угоду. Он и сам понимал,

но занимаемое им кресло настолько его притягивало, что одолело совесть. Спорить на бюро было бесполезно потому, что на столе у председательствующего лежала справка по результатам проверки, в которой опровергался каждый факт, приводившийся в газете. Для опровержения этой справки надо было снова посылать бригаду в Геленджик,

Сергей Федорович знал, что есть другое мнение о Погодине, посмотрел в мою сторону, как бы спрашивая: «Ну что?» Хотя ему докладывались протоколы допроса Бородкиной, начавшей давать скупые показания на Погодина.

В народе созревало понимание того, что нужно очиститься от многолетних наслоений на народной власти. Такая могучая страна должна жить богаче, чище, выйти на уровень передовых мировых стандартов.

Отдыхавший на госдаче в Сочи, самый осведомленный в стране человек, член Политбюро Ю. В. Андропов, задумываясь над этим, высказал свою озабоченность весьма категорично: «Так дальше жить нельзя. Сколько можно закупать хлеб за границей?»

Я впервые услышал от него слова о необходимости что-то делать в стране, чтобы народ жил лучше. Мысли его сводились к совершенствованию социалистического строя, к глубокому анализу сложившейся государственной системы. Впоследствии эти размышления нашли отражение в его известной работе: «Учение К. Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР».

«Совершенствование нашей демократии, — отмечал Юрий Владимирович, — требует устранения бюрократической «заорганизованности» и формализма — всего, что глушит, подрывает инициативу масс, сковывает творческую мысль и живое дело трудящихся. С такими явлениями мы боролись и будем бороться с еще большей энергией и настойчивостью».

По существу это была программа деятельности на ближайшие годы.

Народ сразу почувствовал и поддержал начинания Юрия Владимировича, назревшие в обществе преобразования, восстановления правопорядка и дисциплины идеалов социализма и Октября.

После доклада о положении в крае Юрий Владимирович спросил, как идут дела на нашем фронте, имея в виду органы госбезопасности.

В то время они занимались преимущественно профи–лактиче>.кой работой. Аресты были редким исключением. При их необходимости требовалась санкция КГБ СССР. Материалы предварительно тщательно анализировались в следственном отделе Комитета. Такая линия строго проводилась с приходом Юрия Владимировича в Комитет. Он строжайше требовал законопослушания и в случае нарушения закона неотвратимо следовало наказание должностных лиц, допустивших его. В таком духе и шла беседа с Юрием Владимировичем. Он подчеркивал необходимость активной, творческой компетентной работы по защите советского государства и общества прежде всего от внешних разведок, от внешнего противника советского государства, защиты государственной тайны, наших секретов и своевременного разоблачения предателей, агентов иностранных

разведок. Он не вдавался в историю, но отметил, что Комитет не является чрезвычайным органом, как это было раньше. В этом нет необходимости.

< ■ Мне же хотелось доверительно сказать, что органы госбезопасности не являлись и не являются ведомством государственной власти, а были и остаются придатком партии, как говорилось, ее вооруженным отрядом. И использовались они верхушкой на свой лад и вкус в политической борьбе для достижения своих целей вплоть до авантюрных, уничтожения противников и массовых репрессий. Усугублялась их деятельность еще и тем, что во главе мощного аппарата оказывались авантюристы, преследовавшие свои карьеристские цели и выполнявшие заказ определенных сил и группировок. Эту мысль я нередко опробировал в беседах и находил поддержку вплоть до маститых академиков. Репрессии в тридцать седьмом проводились под лозунгом защиты социализма на фоне развернувшегося социалистического строительства и небывалого энтузиазма масс. Провозглашенное «обострение классовой борьбы» сбивало с толку многих, веривших в необходимость уничтожения врагов советской власти. Этому способствовала и внешнеполитическая обстановка. Накалялась атмосфера вокруг страны Советов, оказавшейся в плотном кольце капиталистических государств, бросающая им вызов невиданным еще в истории политическим строем.

Попробуй тогда разберись, где была собака зарыта. Репрессированная пожилая женщина, ранее примыкавшая к оппозиции, отбыла срок, но ее снова Особое совещание приговорило к ссылке. Когда ей объявили, она сказала, что усматривает в своей судьбе сложившуюся историче–скую необходимость и не заявила никаких обид, а как-то согласилась со своей личной трагедией.

Возникновение «тридцать седьмого» в социалистическом государстве все еще покрыто туманом, если не считать дилетантских наскоков, хорошо известных всем.

В этом тумане видны и то расплывчато, очертания отдельных фигур, но как варилась в верхах кухня кровавого года — загадка этого века.

Беседа с Юрием Владимировичем складывалась так, что его мнение на этот счет услышать не удалось.

Ужин за беседой затянулся надолго. Юрий Владимирович, несмотря на болезнь, был в добром расположении, рассказывал о Венгрии и Яноше Кадаре, о поездке в Монголию к Цеденбалу, о встрече Брежнева с Тито.

— Ты наливай себе, что ты хочешь, на меня не смотри.

На столе был коньяк и столовые вина.

— А я вот из этой бутылки… — На ней не было никакой этикетки. Скорее всего это была минеральная вода.

— Леонид Ильич сумел найти подход к коварному Тито, — продолжал он о Брежневе и, постучав пальцем по краю стола, добавил: — Кому это удавалось…

Невозможно было представить, что задуманным Андроповым реформам не суждено было сбыться; а его преемник использует данный им импульс для развала государства.

За окнами просторного зала уже спустились густые южные сумерки, пора было уходить. Юрий Владимирович проводил до ступенек у входа.

Тишину летнего вечера у дачи нарушали только цикады. А ночное беззаботное веселье в ресторанах и кафе Сочи только начиналось.

24

Приближался август. Страдная пора на курортах, на полях и вокруг институтов. У парадных входов толпились не только абитуриенты, но и их родственники. На стоянках, примыкающих улиц не было свободных мест для автомашин. Ажиотаж вокруг приема накалялся, кипели страсти, звонили телефоны, лились слезы разочарования жизнью.

…Раздался телефонный звонок по «ВЧ» из Москвы. Фамилию и должность абонента я не разобрал. Он интересовался положением дел в крае, уборкой и урожайностью, температурой воды в море и влажностью в Краснодаре.

Все это было, конечно, вступлением. Я ждал деловой части разговора незнакомого мне абонента.

— Алексей Иванович, есть одна несколько деликатная просьба, — услышал я среди потрескивания приятный т«мбр голоса с небольшим акцентом.

— Слушаю вас.

— Просьба товарища Георгадзе…

Трудно было даже предположить, что Георгадзе обращается с просьбой, причем деликатной. И почему ко мне?

— Михаил Порфирьевич просил оказать содействие в зачислении его родственника в медицинский институт.

Я не поверил, насторожился. Смущало меня лишь то, что абонент звонил по «ВЧ». Значит, имел доступ к аппарату правительственной связи.

— Весьма сожалею, — ответил я после небольшой паузы, — однако помочь ничем не могу.

Все сложности поступления в этот престижный институт мне были известны, как и всем, кто пытался всякими правдами и неправдами протолкнуть в него своих чад. Немногим удавалось выдержать большой конкурс и праведными путями добиться зачисления в институт. За ректором охотились, подстерегая его в институте и на каждом углу, по дороге домой, назойливо предлагая все, что только можно, лишь бы он замолвил слово. Абоненту пришлоеˆ порекомендовать обратиться в крайком партии, один из отделов которого контролировал работу приемных комиссий вузов, в том числе и медицинского института.

Но он пытался все же уговорить меня заняться просьбой, намекнув, что вскоре после зачисления студент будет переведен в Тбилиси. Я еще раз повторил, что у меня таких возможностей нет.

Обращение ко мне с просьбой такого высокого лица,

государственного деятеля почему-то не решавшегося переговорить напрямую с ректором, который наверняка бы не устоял/ пошел бы навстречу Секретарю Президиума Верховного Совета СССР, натолкнуло меня на мысль непременно поинтересоваться положением дел в этом институте.

— Если Георгадзе просит, то что же делать станичнику?

Заведующая отделом науки и учебных заведений крайкома, полновластная хозяйка в научном мире, признала, что медицинский напористо атакуют кавказцы, но нарушений правил приема она не усматривала, подчеркивая бдительный контроль приемной комиссии. Между тем ректор

доверительно жаловался на заведующую, считавшую институт своей вотчиной.

— У нее же есть список абитуриентов, которых я должен зачислить. Представьте мое положение. Мне же приходится из того Списка втихую называть фамилии преподавателям, членам комиссии, чтобы они их вытягивали до проходного бала. С какими глазами…

Крайком ревностно оберегал свои контрольные полномочия над этим доходным местом.

Даже беглое ознакомление с кухней приема показало, что кубанскому казаку из станицы трудно состязаться с абитуриентами из Закавказья. Просмотр нескольких личных дел убедили меня в этом. Некоторые сочинения пестрели грамматическими ошибками, однако стояла проходная четверка или даже недосягаемая пятерка. Три таких дела как бразец «бескорыстия» пришлось показать в крайкоме, секретарю, курировавшему отдел науки и. учебных заведений.

Он не поверил своим глазам, увидев тридцать и более ошибок, передал дела на этих зачисленных студентов заведующей отделом, чтобы она учла в работе, пообещав принять меры. Когда пришло время возвращать личные дела в институт сначала их долго не находили, а потом и вовсе они пропали бесследно. Напоминание о них вызвало недовольство заведующей за вторжение в ее, как она считала, огород. Сквозь пудру у нее проступили багровые пятна на лице.

Но это заставило поинтересоваться, что же это за Студенты, какая сила стоит за ними? Учились они плохо, имели большие задолженности, приезжали в институт на своих машинах, подвозили преподавателей на работу и домой. Впрочем, ничего нового в этом не было. Некоторые ходили в студентах по семь–восемь лет, другие после академических отпусков переводились на учебу в Тбилиси. Там квота за прием в институт была значительно выше, чем в Краснодаре и не всем она была под

силу. К тому времени стали поступать заявления о процветании взяточничества не только при приеме, но даже за зачет, не говоря уже об экзаменах. Все делалось по отработанной схеме:

— Придете в следующий раз.

— Домой можно?

— Можно.

В домашней обстановке, не в аудитории, лишних глаз нет.

Допрошенный по поступившему заявлению житель Тбилиси, державший в своих руках монополию на торговлю дефицитной мебелью, подтвердил, в форме явки с повинной, дачу взятки некоему Максу за прием его дочери в институт. Правда, просил учесть чистосердечные признания и то, что в заявлении несколько завышена сумма, а точнее на три тысячи рублей. Поступление дочери в институт ему обошлось — пятнадцать тысяч рублей! Макс выступал в роли посредника.

— Ей–богу не вру, — заверял он. — Ну зачем мелочиться.

Ему поверили после того как он описал приметы Макса, по которым тот был опознан.

— Только ради бога пусть это останется между нами. Дочь начинает жизнь, не хотелось бы омрачать ее скандалом. Я ее переведу в наш институт. Сжальтесь над хрупким существом.

Уже не первый раз в заявлениях называлось имя Макса, промышлявшего на устройстве в институты, крупного дельца–снабженца. С ним надо было разобраться.

В сентябре на бюро слушали ректора Университета по итогам приема на первый курс. Почему-то выбрали Университет, а не медицинский институт.

Ректор волновался. На него уже давно катили бочку. Кто-то претендовал на его место и он понимал, что это мог быть его последний доклад. Уложиться ему в десять минут трудно было.

— На заседании приемной комиссии, — говорил он глухим, подавленным голосом, — отчитываются деканы факультетов. Абитуриенты, набравшие необходимое число баллов, проходят бычно безоговорочно; обсуждение и споры начинаются в тот момент, когда подходит очередь рассмотрения абитуриентов, набравших полупроходной балл. Комиссия всегда отдает себе ясный отчет, что прием — дело сложное, ответственное, ибо в любом случае речь идет о живом человеке, избирающем себе специальность на всю жизнь.

Кажется, чего проще решать вопросы приема: отсчитал балл, подведи красным карандашом черту и решай, кому быть, а кому не быть студентом. Приемная комиссия университета так не работает. Она обсуждает каждую

кандидатуру не формально, а открыто и по каждому

абитуриенту принимает коллегиальное решение. И уместно сказать, что за последние три–четыре года жалоб на субъективный характер приема в университете по существу нет.

Вместе с тем недостатков в работе приемной комиссии, конечно, немало. И это понятно. В комиссии принимают участие 120 экзаменаторов, — 11 технических секретарей, 11 деканов факультетов. В период экзаменов взоры тысяч молодых людей, их родителей, родственников, близких и знакомых обращены к университету. Вокруг приема, как мухи вокруг приманки, вьется немало сомнительных людей, распускающих слухи, сплетни, роняя их на ранимое и болезненное воображение тех, кто заинтересованно смотрит на входные двери и окна университета; эти злые зерна быстро прорастают, умножаясь многократно. Вуз в период экзаменов заполняет осажденную крепость, гарнизон, который, сознавая свою малочисленность, решил сражаться до конца. Ответственному секретарю и ректору трудно приходить на работу и тем более выходить из университета: сотни глаз сопровождают их, обожая и ненавидя их одновременно, в зависимости от того, какие оценки получены теми, за кого они «болеют», звонят телефоны, множество людей записываются на прием…

Каждый ректор переживает прием в большом напряжении. Каждому хочется провести прием организованно, четко, объективно. Но «проколы» всегда бывают: того пропустили, с тем поступили неправильно, хотя по форме вроде бы все сделано. Возникают проблемы, идут письма, жалобы, угрозы, просьбы.

В этих случаях ректор обращается в Минвуз: что делать? Пожурят за допущенные промахи и тут же посоветуют: присылай телеграмму на дополнительные места. Уходит телеграмма, ответ нередко задерживается и приходит в конце сентября, когда острота ряда вопросов уже прошла. И на эти места по рекомендации факультетов принимаются обычно те, кто настойчиво хочет стать студентом, имея, может быть, и меньше баллов, чем другие.

Ректора кто-то перебил, потребовав говорить о недостатках, отмеченных в справке проверявших.

— Относительно нарушений, вскрытых прокуратурой и комиссией крайкома партии, могу сказать следующее. Они имеют место; их могло и не быть, если бы ректор и приемная комиссия более жестко, более формально, более

бездушно проводили прием, меньше учитывали всякие обстоятельства, связанные с конкретными ситуациями. Думаю, что все это можно устранить и поправить, ибо в каждой работе самое легкое стать бюрократом, формалистом…

В конечном счете все зависит от позиции проверяющих. К сожалению, в последние годы университет постоянно проверяют, одна комиссия набегает за другой. Ищут плохое. Все позитивное подвергается сомнению. Даже награждение вуза Грамотой Минвуза РСФСР по итогам десятой пятилетки отделом науки и учебных заведений крайкома партии было принято так, будто ректор вместо настоящей монеты показал фальшивую.

Думаю, что следует всегда выступать против порочного стиля в работе проверяющих. Свои отношения с людьми надо строить на принципиальной партийной основе, взаимном доверии, которые необходимы при решении любых практических задач.

В отделе науки и учебных заведений крайкома партии укоренилась порочная практика, когда проверяющие заносят в блокнот как можно больше отрицательных фактов для доклада начальству. Об исправлении же недостатков на месте, о распространении положительного опыта других вузов, о необходимости посоветоваться с практическими работниками здесь начисто забыли, полагая, что должность сразу дает человеку все: и право считать и разгибать чужие души, и опыт, и знания, и умение все делать без ошибок…

Ректора опять прервали, но он все же закончил свой доклад, не отвечая на реплики.

— Как коммунист, сознаю свою безусловную ответственность за все, что происходит в университете, и готов понести любую форму наказания за упущения и недостатки в работе.

— Вот это уже другое дело, — сказал председательствующий на бюро. С этого надо было начинать, а не вдаваться в лирику. Берите пример с медицинского, там находят выход из любых ситуаций.

25

Макс оказался Максимом Рябчинским, ловким дельцом коммерсантом–взяточником, занимавшимся не только устройством абитуриентов на учебу в институты, но и кадро

выми перемещениями должностных лиц: Началась документация его афер. Уж слишком вольно он провертывал сделки крупного масштаба, доставая, меняя, отправляя и получая вагонами из любой точки Советского Союза. Везде у него находились свои люди, такие же дельцы, как и он.

Макс все может! Эта «крылатая» фраза не безосновательно широко распространилась в крае, выползла за его пределы, доходила до Москвы. Многочисленные связи, занимавшие солидное положение, обязанные ему за оказанные услуги, выручали его, когда над ним сгущались тучи и каждый раз он ускользал как рыба из рук милиции и прокуратуры уже на стадии возбуждения уголовного дела.

Максим, с его плутовским взглядом, был неопределенного возраста. Помятая шляпа прикрывала плешивую голову. Все на нем было засалено, словно он работал в колбасном цехе мясокомбината. На его лице проскальзывала улыбка. К ней надо было присмотреться и тогда можно было заметить в ней язвительную насмешку над своей жертвой, которая сплошь и рядом попадалась в его сети. Он знал, что жертва будет о чем-то просить помочь, решить какое-то мелочное для него дело, а потом беспомощно трепыхаться в его руках. Максим знал повседневную житейскую прозу, как знает коммерсант конъюнктуру рынка и умело пользовался складывающимися обстоятельствами для того, чтобы нужных ему людей поставить в свою зависимость. В этом он находил торгашеское удовлетворение. Он знал, что о нем говорят: «Макс все может». И этим гордился. Те кто попадал к нему в клиенты, ему льстили, питая отвращение, как его нередко называли, к «жидовской морде», даже мыли руки с мылом после того, как он, уходя, протягивал свою костлявую руку с чувством вызывающего превосходства, а иногда и открытого пренебрежения к жалкому виду просителя. Но его клиенты вынуждены были не замечать этого, пропускать мимо ушей, подобострастно улыбаться, даже расшаркиваться перед ним.

Его визиты в кабинеты обычно кончались обменом записками. Ему давали в руки то, что он просил, зачем надо было ехать в Госснаб СССР в Москву, а он своими каракулями, как Распутин, писал записку на базу отпустить подателю, что он

пожелает, добавляя «обслужить особо», если клиент того заслуживал.

Во время празднования 1 мая, 7 ноября он — незаметный мужичишка, какой-то мелкий снабженец строительной организации появлялся у здания крайкома партии и расхаживал в поношенном плаще позади праздничной трибуны, украшенной красным кумачом и цветами, поздравляя партийных и советских работников. Он чем-то напоминал бальзаковского ростовщика, у которого многие находились в заложниках.

Карманы его плаща были набиты маленькими чекушка- ми коньяка из сувенирных наборов. Он не только поздравлял, но и протягивал чекушку, как презент по случаю праздника.

Кто-то ему вручал специальный пропуск к трибуне, куда приглашались горкомом партии только заслуженные люди, ветераны, передовики труда. Все удивлялись, как он мог проникнуть к трибуне, кто ему дал пропуск, но в этом никто не признавался. А Рябчинский чувствовал себя как дома, среди ответственных работников краевых ведомств.

Звонок Макса в любое учреждение и двери открывались, как по волшебной палочке. Его самого любезно принимали, выходили из-за стола навстречу, не отказывали и тем, кого он называл.

Достаточно сказать, что он вмешивался в назначение должностных лиц даже такого ведомства, как Управление внутренних дел, вел переговоры с заместителем министра о назначении начальника этого Управления, предлагал свои кандидатуры, особое внимание уделяя ОБХСС. Документация взяточничества Рябчинского шла трудно. До него дошли слухи, что им занялась госбезопасность и он немедленно возбудил ходатайство о выезде в Канаду, к брату по частным делам, будучи уверенным, что это ему удастся. Единственное, чего он не учел — его выезда испугались многие, которым он оказывал услуги, доставал и ссужал все то, что казалось невозможно было достать ни на каких базах. Он знал много о многих и мог это выплеснуть за границей, а это было бы в то время подобно разорвавшейся бомбе. В выезде ему отказали. Рябчинский возмущался, грозил разнести всех в пух и прах и прежде всего крайкомовских работников, обещавших ему содействие.

Когда удалось задокументировать его взяточничество и пошли за санкцией на его задержание и производство обыска, прокурор в чем-то засомневался, всего на несколько часов оставил у себя для ознакомления материалы дела. Рябчинский в это время побывал в прокуратуре.

Санкция на его арест была получена, но сам он в тот же день скрылся. Прокурор разводил руками. Удивлялись и в крайкоме,

как это могло случиться. «Неужели?..» -— недоговаривали многие. Его объявили во всесоюзный розыск, искали долго и упорно по всей стране несколько лет. Шли по следу, но Рябчинский уходил. Трудно было предположить и выдвинуть, как одну из версий, что он скрывается в Кремлевской больнице под дру! ими документами или на даче у одного из заместителей министра. Забеспокоились многие, хотели знать, как идет розыск. Задавали провокационные вопросы, надеясь что-то выудить «новенького» о Максе. «Ни за что ; не найдете», — утверждали они, пристально заглядывая в глаза. И тем не менее его нашли, сообщили в милицию и прокуратуру о месте его пребывания, и он был арестован, проведено следствие и осужден народным судом.

Вскоре была объявлена амнистия для участников Великой Отечественной войны. Рябчинский не был на фронте. В войну он находился в Туркмении, однако его связи, которым он постоянно угрожал из камеры, добыли ему справку о награждении его медалью «За Победу над Германией» и он был освобожден из заключения. В этой справке сомневался прокурор. Больше того, возмущался и грозил привлечь к ответственности должностных лиц, подписавших справку, в частности военкома, но Рябчинский оказался сильнее прокурора.

Максу мог бы позавидовать сам великий комбинатор Остап Бендер. На Кубани, в теплом благодатном крае, где воткни оглоблю, вырастет тарантас, так же пышно расцветали коррупция и взяточничество, как зловредная амброзия, вызывающая аллергию у людей.

26

Трест нефтяников, в райцентре, куда устроилась на работу Ольга Найда, располагался в большом сером здании, построенном в конце пятидесятых годов с архитектурными излишествами, о которых писали газеты. Над двумя гранитными колоннами, украшавшими вход, зияла полукруглая ниша, а вверху громоздился церковный купол, увенчанный не крестом, а деревянным флагштоком с набалдашником, хотя флага на нем никто не видел.

В одно из воскресений под этим куполом отмечался профессиональный праздник нефтяников, как у строите

лей, учителей, милиции, словом, всех профессий, существующих в стране. На праздниках произносились торжественные речи, раздавались награды и премии, а потом устраивались концерты художественной самодеятельности, танцы и, конечно, мероприятия завершались выпивками в столовых и буфетах. Во время этих торжеств, своеобразной отдушины в повседневности, люди, позабыв на время все свои невзгоды, веселились, пели, танцевали, многие напивались до упаду. Водка была еще дешевой, пили много, больше чем могли, но меньше, чем хотели.

На вечер Ольга пришла со своим супругом Василием. Оба принаряженные, они впервые вышли, как раньше бы сказали, в свет, на званое торжественное собрание и концерт, чтобы показать себя и посмотреть на людей в новой для них организации. Так хотелось Ольге.

С докладом выступил управляющий трестом Г еннадий Иванович Гришанов, знающий свое дело, заслуженный специалист, довольно интересный мужчина лет пятидесяти, с умным проницательным лицом, не боявшийся высказать свое мнение, чем неизменно привлекал к себе аудиторию. Выступление он закончил пожеланиями здоровья всем присутствующим и успехов р увеличении добычи топлива на благо Родины. Раздались аплодисменты.

После доклада все повалили в столовую, где были сдвинуты рядами столы, собирались компании по отделам.

Ольга с Василием примкнули к сослуживцам по канцелярии, на ходу она знакомила его с теми, с кем работала. Он почему-то дичился и на всех посматривал подозрительно, попав в незнакомый коллектив.

Со второго этажа, из зала, доносилась музыка трестовского духового оркестра. Оставшиеся там танцевали, сцена готовилась

для выступления самодеятельных артистов.

Василий ни за что бы не пошел на вечер, если бы его не одолевало с некоторых пор затаенное недоверие и болезненная ревность к Ольге. Кто-то ему на работе из сослуживцев, однажды увидев Ольгу и поговорив с ней, назвал ее вальяжной. Он не знал значение этого слова, но уловил в нем что-то нехорошее. С тех пор Василий стал присматривать за женой.

Ольга в тресте с присущей ей природной сметливостью быстро освоилась, работа у нее спорилась и к тому же само окружение по сравнению с кирпичным заводом, заставляло ее следить за собою. Она попала совсем в другую среду, где все женщины увлекались косметикой, стреми

лись выглядеть привлекательными, заботились о своем гардеробе, меняли наряды, вели постоянные разговоры о портнихах, обменивались журналами мод.

Васька стал замечать перемены в заботах жены и почувствовал себя посторонним около нее, долго прихорашивавшейся по утрам у зеркала. Он не каждый день брился, заботился об одежде для себя и для нее только такой, которая бы дольше носилась, а Ольга хотя и робко, но заговорила о модах. И на празднике Найда чувствовал себя среди Ольгиных сослуживцев не в своей тарелке. Наглаженный костюм и галстук, завязанный комом сковывали его по рукам и ногам. Вид у него был довольно серьезный, особенно, если кто радушно раскланивался с Ольгой и говорил ей что-то праздничное с комплиментами. Она, хотя и держалась за его руку, но ее подхватила праздничная атмосфера, раскованность, глаза искрились и казалось, что оторвись от тяжелой руки супруга, она гордо откинув голову, неузнаваемо закружилась бы с кавалером в упоительном вальсе «Сказки венского леса», забыв обо всем на свете, почувствовав себя свободной и счастливой в надежде на приход радости, как весны после зимы. Она уже и не выглядела девочкой–подростком, а находилась в расцвете своих лет с неповторимым русским лицом и характером тургеневских женщин. Ей мешала настороженность супруга, словно прислушивавшегося к каждому шороху в незнакомом ему помещении. Все это усиливало контраст между ними. Да по существу это так и было, поскольку он подозревал каждого, кто подходил к ним, в ухаживании за его женой. Добрые улыбки Ольги, которыми она награждала знакомых, злили его.

На лестничной площадке у входа в столовую им встретился элегантный управляющий, знавший Ольгу, как сотрудницу канцелярии, не раз бывавшую у него с разными бумагами. На нем был безупречно подогнанный серый костюм с голубоватым

оттенком, белая рубашка и синий галстук с тонкой белой полоской наискосок. От него веяло чистой свежестью, как ранним утром на лугу, заросшим разнотравьем.

Ольга даже чуть оробела перед ним в присутствии Василия, выглядевшего рядом с управляющим — тюфяком, набитым соломой. Бывая в кабинете у управляющего, она робко улыбалась, не пропускала ни одного его слова и движения и однажды ушла от него с затаенном мыслью, что он ей нравится.

— Позвольте поздравить вас с нашим праздником и пожелать вам хорошо провести вечер, — обратился он к Ольге и ее супругу.

Ольга скромно улыбнулась своей притягательной улыбкой, поблагодарила управляющего, отметив про себя: «Заметил, не прошел мимо с кивком головой, а остановился и пожал руки».

— Кто это? — спросил Василий.

— Наш управляющий.

Она ожидала других вопросов, могло последовать и брюзгливое ворчание, так как должна была смотреть только на него, как солдат в строю по команде: «Равнение…», повернув голову на рядом стоящего.

— Оленька, дорогая, — окликнула ее председатель местного профкома Валерия Григорьевна, пожилая приветливая женщина с густой сединой в коротких волосах, — Я тебя попрошу — зайди, пожалуйста, к Геннадию Ивановичу, поставь ему в вазу цветы, поздравь еще раз с праздником.

У нее в руках была охапка красных гвоздик, которые она собрала со сцены, где сидел президиум, и раздавала заслуженным людям треста.

— Я бы сама к нему пошла, так у меня видишь сколько… И самодеятельность меня ждет.

— Он нас только что поздравил, — отказывалась Ольга в присутствии мужа, а сама хотела зайти к управляющему, показаться в каком ни на есть простеньком, но все же новом платье, которое ей очень нравилось.

— Оленька, ты сегодня такая нарядная…

После таких слов она согласилась, сказав Василию, чтобы он подождал ее в столовой. Ему ничего не оставалось, как уступить.

Ольга побежала с гвоздиками в кабинет управляющего, застала его там одного, сидящего за большим рабочим столом и, к ее удивлению, озабоченно дымившим в одиночестве сигаретой, с зажигалкой в руках. Он очнулся, когда Ольга по ковровой дорожке приближалась к нему. Гришанову было о чем подумать, даже в этот праздничный вечер. Жена с детьми жила в Киеве, прекрасном городе, на каштановой аллее, бывала у него наездами. Между ними шли бесконечные разговоры о переезде в

поселок нефтяников на Кубань. И, она, кажется соглашалась с ним, но вернувшись в Киев, раздумывала. Не хотела оставлять там ухоженную квартиру, ссылаясь на свои болезни, на то, что

дочерям надо дать образование и находила много других причин, постепенно отвыкая от него, от необходимости жить вместе. Она приехала к нему на праздник по его настоятельной просьбе, но с ним не пошла, сославшись на то, что от самодеятельности ее тошнит.

— Позвольте вас поздравить с праздником, — чуть запыхавшись и покраснев, сказала Ольга, — пожелать вам здоровья, счастья, успехов, — забыв сказать, что от имени местного комитета.

Геннадий Иванович не ожидал такого жеста от молодой сотрудницы. Вышел из-за стола, с благодарностью принял цветы и хотел ей сказать: «Душа моя каменоломня, где все разбито на куски».

На круглом журнальном столике в углу чернела бутылка шампанского с серебристой головкой и бокалы, прикрытые салфеткой, приготовленные на тот случай, если кто зайдет. Приход Ольги тронул его.

— Тогда уж и мне позвольте поблагодарить вас. Прошу со мною по случаю праздника.

Ольга не отказалась от бокала шампанского. Она тоже не ожидала такого внимания от строгого начальника. Пожалуй, впервые Ольга выпила сухого игристого вина, а Геннадий Иванович, наверное, впервые так пристально посмотрел на нее, чем вызвал ответный взгляд несколько смущенный, но искренний и благодарный, дал ей гвоздику и после некоторого колебания поцеловал ее, но так, что невольно слились их губы. Получилось это как-то само собою. Они потянулись друг к другу и оба почувствовали, что это было не протокольное легкое прикосновение.

Ольга сразу вышла из кабинета. Произошло то, чего она не ожидала, но целиком захватило ее воображение. Она шла к мужу, а колотившееся сердце охватил не совсем понятный тайный трепет.

27

Сочи… Теплое ласковое море, южное солнце, чистый горный воздух, субтропики влекут к себе людей на отдых и лечение. К их услугам дворцы–санатории, дома отдыха, туристские базы. Поднявшись на гору Большой Ахун, на верхнюю площадку смотровой башни, можно полюбоваться заснеженными вершинами Главного Кавказского хребта.

Многие же предпочитают вместо манящих далей рес

тораны «Кавказский аул», «Кубанский хутор», «Старая мельница» или >ке гостиницы «Жемчужина», «Камелия», «Светлана» и вовсе не отдых и лечение, а кутежи и азартные игры. В Сочи съезжаются не только туристы, но и классные картежники, играющие ва–банк дельцы, уголовники, воры, бездомные бродяги, чтобы погреть руки в благодатном уголке, щедро наделенном природой.

В курортных городах, кажется, всегда праздник, расслабляющий даже градоначальников, призванных строго блюсти закон.

По вечерам в ресторанах гремит музыка, курортники и приезжая публика веселятся, отводят душу. Но для этого нужны деньги, деньги, деньги! Добываются они разными способами. Их качество зависит от количества. За количеством гоняются многие в курортных городах. Трудно удержаться от этого в Сочи, Геленджике, Анапе.

Уже были проведены аресты работников Сочинского горкома и горисполкома, некоторых должностных лиц в Краснодаре, забили тревогу газеты о неблагополучном положении на Кубани, однако Медунов упорствовал, затеяв тяжбу с газетами, доказывая, что это отдельные свихнувшиеся личности, а не разложение кадров. Крайисполком не давал согласия на арест местных депутатов, на которых были возбуждены уголовные дела. Правда, прокуратура и следствие давали повод к сомнениям. Нередко следствие велось на крайне низком профессиональном уровне. К тому же действовали скрытые пружины и телефонное право, по которому арестованных освобождали из-под стражи за «недоказанностью» преступления. Прокурор разводил руками, оправдывался: «Арестовали преступника, а не смогли доказать». Только на Кубани в камерах следственного изолятора устраивали новогодние елки с шампанским и коньяком, тюремщики приносили осужденным к высшей мере одежду и холодное оружие и даже выпускали из камер смертников. Многие материалы следственных дел указывали на срастание милиции и

работников прокуратуры с уголовными элементами, тысячи дел прекращались без должного расследования с мотивировкой: «из-за отсутствия состава преступления» с тем, чтобы снизить процент роста уголовных преступлений в крае, однако даже при таком искусственном занижении не удавалось спрятать то, что выпирало на поверхность. Можно было, конечно, ничего не замечать, уподобясь страусу.

Сергей Федорович обращался к секретарю ЦК Зимя–нину, ища у него защиту от необоснованных, как он считал, нападок журналистов. Михаил Васильевич каждый раз обещал разобраться, однако все шло своим чередом, газеты не сдавались, противостояние ужесточалось.

Еще в 1921 г. В. И. Ленин предупреждал: «Надо уметь признавать зло безбоязненно, чтобы твердо повести борьбу с ним». Недостатка в цитировании Ленина не было, а вот эти слова в докладах и выступлениях не приводились. А между тем накопление массы зла приближалось к критической отметке. Бурлило общественное мнение в Геленд- жике, ветераны готовы были выйти на баррикады. Изучение причин недовольства горожан вывело на коррупцию и взяточничество в системе торговли, на махровый бюрократизм властей и властного первого секретаря горкома КПСС Н. Погодина, возомнившего себя удельным князем в районе. Ни прокуратура, ни милиция не могли вскрыть преступный клан, захвативший трон в тресте ресторанов и столовых Геленджика, на котором царствовала Бородкина. Уголовные дела на нее прекращались и бесследно пропадали в прокуренных кабинетах, милиции. Поэтому следствие по уголовному делу на Бородкину — «Железную Беллу», приняло к своему производству Управление КГБ края.

На допросах Бородкина устраивала следователю концерты, давала путаные показания, что наводило следствие на мысль о преднамеренном сокрытии своего прошлого: происхождение, места и года рождения, родителей, близких родственных связей. В тумане была ее жизнь во время войны. Кто же она «Железная Белла»?

Удалось установить, что Бородкина, она же Король, Айзенберг, Крамская, Потапова Белла, а по паспорту Берта Наумовна, 1927 года рождения, в действительности является Брандой Наумовной, 1923 года рождения, еврейкой, что она весьма тщательно скрывала от окружения, утверждая, что она русская. Кочевала, не имела постоянного жительства, но большей частью жила в Одессе, задерживалась немецкой комендатурой, на допросах подвергалась истязаниям, однако была освобождена, устроилась или ее устроили в увеселительное заведение —

кабаре, принадлежавшее румыну, сожительствовала с его соотечественником. Трудно было выжить еврейке в войну в Одессе. С этим нельзя было с ней не согласиться, но она выжила, несмотря на то, что немцы поголовно истребляли евреев. В поисках и добываниях средств к существо

ванию, как она показывала, приходилось разъезжать по оккупированной территории, бывать в разных городах.

Бородкина очень волновалась, теряла самообладание, когда следователь ставил ей вопросы о причинах задержания комендатурой, расстрела немцами или румынами ее мачехи и двоих малолетних детей. Она имитировала провалы памяти, то вдруг заявляла, что эс–эс никого не выдавала, признавалась в связи с румыном во время работы в какой-то румынской оккупационной воинской части. Однако от подробностей уходила, что весьма затрудняло перепроверку ее показаний.

Настроение и поведение Бородкиной часто менялось. То она впадала в уныние и молчала, то играла роль невменяемой, то веселилась, разыгрывая сцену из периода службы в кабаре.

Однажды на допросе она решила удивить следователя тем, что в период оккупации со своим мужем якобы состояла в банде, занимавшейся грабежами и разбоем и поэтому приходилось выезжать на «гастроли».

Анализируя ее показания и некоторых свидетелей, у следователя возникали подозрения о ее сотрудничестве с немецкими и румынскими карательными органами. На эту мысль наводили и ее встречи с военным атташе посольства Греции в Москве и Риге, с бригадным генералом разведуправления Греции. Французские автотуристы предпринимали попытку получить информацию об обстоятельствах и причинах ареста Бородкиной через жителей Геленджика. В этой части многие вопросы остались не до конца выясненными, но они были сопутствующими, характеризующими личность Беллы. Что же касается системы взяточничества, по существу, ежемесячного обложения налогом своих подчиненных, торговых работников, то затруднений в документации у следствия не было. Бородкина не знала сколько у нее сберкнижек. У нее для памяти был список городов, в которых она разместила свои вклады. Изъятым у нее ценностям мог бы позавидовать ювелирный магазин. В тайниках откапывали стеклянные банки с «законсервированными» сторублевыми купюрами. Круг лиц, втянутых ею в свой клан, непомерно разрастался. Следствие забило тревогу. Уже более тридцати человек подлежали привлечению к уголовной ответственности и конца и края этому не было.

Казалось бы все это, разоблачение коррупции и

взяточничества в Сочи, Геленджике, Кропоткине, в других местах должны бы'ли насторожить и остановить многих от подобного промысла. Некоторое затишье наступило, но не надолго. Уголовная преступность на Кубани неудержимо ползла вверх.

Преуспевающие потомки Остапа Бендера парились в саунах, прохлаждались в море, загорали на сочинских пляжах, просчитывали ступеньки вверх по служебной лестнице.

28

Капитан турецкого судна «Камандана» — Энулу Сун- гора, выдавая по тридцать рублей матросам, сходившим на берег в Новороссийском порту, монотонно предупреждал не напиваться до потери сознания, а в случае конфликта с местными властями грозил сообщением хозяину судна и немедленным увольнением с работы.

Маловата сумма, конечно, если учесть, что теплоходу придется стоять у причальной стенки несколько дней, может быть даже целую неделю, а то и больше, и на последующие выходы в город денег не останется.

Матрос Исмаил Сари со своим дружком, сойдя с трапа, сразу направились в бар ресторана «Бригантина» и там в один присест оставили все деньги. Они не только пили понравившуюся им «Столичную», но и присматривались к шнырявшим длинногривым парням, назойливо приставававшим к иностранцам. Один из них на ломаном английском спросил, нет ли у них валюты. У Исмаила Сари было всего пятнадцать долларов, но он их не собирался продавать, а вот привезенный им товар предложил купить. По жесту Исмаила, изображавшего курильщика, покупателю не трудно было догадаться, что у того есть наркотики. Договорились встретиться на следующий день в баре.

Исмаил впервые пришел в Новороссийск и проявлял осторожность в незнакомом городе с прожженным фарцовщиком, памятуя наказ капитана. На первый раз принес ему всего на две сигареты гашиша, но заметил, что у него есть плитки. Это устраивало оптового покупателя. О цене спорили долго. Сошлись только лишь потому, что надоело торговаться, оглядываясь по сторонам, да и слишком уж ограниченным оказался словарный запас английского у той и другой стороны для рекламы товара и торгов. Встречу назначили у проходной лесного порта.

Покупатель приехал за товаром на «Москвиче», остановился в месте, удобном для наблюдения за всеми выходившими из порта. Исмаил задерживался, покупатель нервничал, выходил из машины, прогуливался у проходной и снова садился за руль. На него обратил внимание вахтер из своей будки, стал присматриваться, точно определив, что тот поджидает кого-то из иностранцев со стоящих у причала судов. На всякий случай позвонил таможенникам, сказав, что он своим наметанным глазом не ошибается, видит контрабандистов на расстоянии и если они поспешат к нему, то наверняка будут с уловом.

Таможенники не заставили себя долго ждать. Вахтер

продолжал наблюдать за «Москвичем» и за подходящими к проходной иностранцами с судов.

Опаздывая, Исмаил Сари торопился, чуть ли не бежал. Увидев покупателя, поджидавшего около машины, он помахал ему рукой и хотел было проскочить под шлагбаумом на воротах, но вахтер по рекомендации майора Владимира Зорина, иногда заходившего и угощавшего бывшего пограничника заморскими сигаретами, направил его через проходную, где ему и был учинен досмотр таможенниками. Турок вынужден был выложить из кармана плитку гашиша. Повторный таможенный досмотр его каюты в присутствии капитана судна позволил обнаружить в тайнике около трехсот граммов гашиша, не заявленного в декларации, а следовательно контрабанды, предназначенной для сбыта.

Капитан Энулу Сунгора проявлял полное спокойствие, не замолвил за матроса ни единого слова, когда было заявлено о задержании Исмаила для выяснения обстоятельств, связанных с перемещением наркотиков через государственную границу.

На следствии Исмаил Сари, еще молодой человек, показал, что гашиш он купил в Стамбуле у иранских туристов перед отходом в Новороссийск с целью его продажи. Сам он и его напарник, сын капитана, уже больше полутора лет курили гашиш. Узнав, что это может вредно отразиться на потомстве (он был женат, но детей не было), лечился у врача Мехмета Али в Стамбуле, но в рейсах удержать себя не мог, продолжал курить.

— Я признаю себя виновным в незаконном ввозе наркотика, но прошу учесть, что я мало получаю за свою работу, всего сорок пять тысяч лир в месяц, — просил он на допросе о снисхождении. — Пятьсот турецких лир равно

ценно вашему рублю. На гашиш я истратил крупную сумму в надежде на выручку рублей…

Продажа наркотиков — серьезное преступление, подпадающее под перечень статей международной конвенции, и гражданин Турции Исмаил Сари, двадцати трех лет, житель города Ризы, был осужден советским народным судом за контрабандный ввоз в страну наркотиков.

К этому времени было приостановлено расследование уголовного дела на угонщиков самолета — Шмидтов из-за их отсутствия.

Самим собою напрашивался вопрос об обмене Исмаила Сари на Шмидтов или на одного из них. С этим предложением и направили телеграммы в инстанции.

29

Увидев мужа, Ольга сначала присмирела в раздумье над происшедшим, а потом словно взлетела на крыльях и нисколько за случившееся себя не корила. «И такой человек меня… — оглянувшись по сторонам, сказала она тихо вслух и последнее сокровенное слово. — Я для него что-то значу… Кто я?» — спрашивала она себя и ей хотелось вернуться к нему, ну хотя бы перекинуться несколькими словами и узнать, что все это значило? Не ошибается ли она в своем счастливом предчувствии?

Василий по–прежнему на всех косился и больше не отпускал от себя Ольгу ни на шаг. А ей и не хотелось с кем-то идти танцевать, кроме Геннадия Ивановича. «Ах, если бы он появился и пригласил…».

Но он сидел в своем просторном кабинете, в тиши, к нему заходили с поздравлениями и он всех угощал шампанским.

Самодеятельные артисты после концерта собрались уходить. Их надо было поблагодарить. Не отходя от них, Валерия Григорьевна снова обратилась к Ольге позвать Геннадия Ивановича, чтобы он сказал им доброе слово, но главное хотя бы что-то пообещал за их старания.

Она что, посыльная? — грубовато сказал Василий Валерии Григорьевне. — Больше некого?..

— Васенька, дорогой, она мигом…

Ольга опять понеслась в кабинет Геннадия Ивановича. Вместе с ним она застала инженеров треста, мужа и жену, оживленно беседовавших… о славянской душе.

— Присаживайтесь, — сказал ей управляющий. — Вот

вам истинная славянская душа. Посмотрите на нее, как позаботилась о ней природа, расписала в чисто русском стиле. Ничего лишнего.

Смущенная Ольга присела, прислушиваясь к разговору, которого и во сне не могла услышать. Она не посмела прервать беседу пока председатель профкома не появилась в кабинете.

— Русские инертны к своей национальной гордости, чего нельзя сказать о других славянах, — сказал Гришанов, продолжая разговор. — У/ них особенная стать — им можно только верить.

— Давайте, Геннадий Иванович, спросим ее, раз она славянка? Она ничего не слышала о чем мы здесь спорили.

Ольга насторожилась.

— Это для нее трудный вопрос.

— Тем не менее, — настаивал инженер. — Как вы относитесь к своей национальности?

Для Ольги это было настолько неожиданно, что она растерялась, не знала, что ответить. Никогда об этом не думала, пожала плечами.

— Вот это и есть ответ, —сказал Гришанов. — Умом ее не понять. И не только ее, а всех русских.

— Твой там с ума сходит, — шепнула на ухо Валерия Г ригорьевна Ольге.

Геннадий Иванович явно сожалел, что Ольга уходит. Она увидела его лицо задумчивым, даже грустным. Ей показалось, что он был недоволен тем, что она вновь появилась в его кабинете, когда у него были другие. А он думал о внезапно происшедшем событии, злился на себя, не знал как объясниться с ней. Боялся ее и своих признаний, которых он уже не мог удержать в себе.

— Валерия Григорьевна, мои дорогие гости, — обратился он к супругам, передавая каждому в руки бокалы с шампанским, — ваше здоровье! — Чокнулся со всеми, отпил глоток и сказал: — Иду…

— Артисты заждались, —напомнила Валерия Григорьевна.

: — Да, да… Иду, иду… Извините.

Ольга повернулась к Василию, возмещавшем свое плохое настроение в нарочито грубоватом тоне при разговоре со всеми. Праздник превратился для него в ревностное наблюдение за своей женой и недовольство ей.

А она вопреки его гневным порывам как бы не замечала их, отдалась веселью, пытаясь разогнать набежавшие

на мужа посмурные тучи, даже заглянула в лицо, что ему очень нравилось. Она шутила в кругу сослуживцев, сдержанно смеялась, присоединялась к тосту, пробуя. сладковатое вино домашнего приготовления, кем-то принесенное, но все время с опаской посматривала на своего надутого супруга. Подвыпившая веселая компания принялась его тормошить, даже начала подтрунивать над ним. Вмешалась и Валерия Григорьевна в разговор с Василием, чтобы настроить его на праздничный лад.

Появившийся в это время у стола подвыпившей компании Геннадий Иванович, преднамеренно не приглашавший Ольгу танцевать, подошел к ней довольно близко сзади, так, что она его не видела.

Васенька, ну что вы право такой скучный сегодня и Ольгу держите все время на поводке, — говорила ему Валерия Григорьевна, заметив Гришанова.

— Что она собака? — стиснул свои рыжие зубы Василий.

— Собаки преданы человеку…

• — Больше чем жены, — продолжал Василий.

Грех вам так думать об Оленьке. Она у вас можно сказать

святая. Вам повезло. А ее жизнь, не обижайтесь, мне все же представляется на поводке.

Улучив момент, Геннадий Иванович спросил у Ольги, довольна ли она вечером и совсем тихо почти на ухо сказал загадочные для нее слова:

Считайте меня своей собственностью.

— Как это? — не поняла она.

Ольга посмотрела на спорившего о чем-то с Валерией Григорьевной мужа и, опомнившись, успела только сказать Геннадию Ивановичу одно слово, сама толком не зная, что оно значит:

— Да.

Гришанов, словно не слышал, показал всем на часы — пора закругляться, — и тут же ушел, ни с кем не простившись, домой.

— О чем вы тут?.. — повернулась Ольга, взяв Василия под руку.

— О погоде, — скривился в кислой улыбке Василий вслед уходящей Валерии Григорьевне.

30

Свято место — пусто не бывает.

На освободившуюся должность секретаря крайкома рассматривалась кандидатура. А. Тарады. За короткое время он с совершенно отсутствующими качествами Партийного работника, продвинулся до заведующего отделом, а потом вдруг такое выдвижение, вызвавшее удивление не только среди бывалых крайкомовцев, но и все знавшие его в кабинетах и в курилках задавались вопросом: за какие такие заслуги? А ларчик открывался просто: в его руках находилась сфера распределения дефицитных, большей частью импортных товаров в крае. Он был надсмотрщик всех баз, мог достать все, что производилось во всем мире и поступало в Союз.

Еще как заведующий отделом, курировавший торговлей, Тарада представлял на бюро своего подчиненного для утверждения в должности, окружая себя нужными ему, преданными людьми.

Сергей Федорович любил задавать каверзные вопросы, чтобы ошарашить утверждаемого и удивить присутствующих своей эрудицией. Без этого он не мог. Игра на публику, впоследствии названной популизмом, — была и его слабостью.

— Кто был комиссаром у Чапаева? — спросил он протеже Тарады. Утверждаемый, еще молодой человек, стоял в растерянности, не мог назвать известного писателя, которого знает каждый школьник.

— Не знаешь? Тогда пусть скажет зав. отделом. Он тебя подобрал, ему и ответ держать. Если поможет, утвердим, не поможет, не взыщи.

Тарада’ встал во весь свой богатырский рост, улыбаясь, моргая глазами. Ему подсказывали как ученику в классе на уроке, но он так и не назвал Фурманова.

Угодливого и скользкого Тараду, постоянно сидевшего на диете, боровшегося безуспешно со своим грузным весом, но плавающего как рыба в воде в сфере торговли и обслуживания, среди дельцов, жуликов и особенно взяточников, можно было разоблачить значительно раньше, еще до того, как Медунов благословил его в секретари крайкома, а потом спровадил в Москву.

О нечистоплотности Тарады, снабжавшего элиту со складов и баз дефицитом, знали многие, с завистью поглядывая на его волшебную палочку — ручку. Было модно

и престижно избранным пользоваться посещением баз,

магазинов с черного хода, со двора, но для этого нужен был звонок на базу или записка, как пропуск на запретную территорию. За ними и обращались к Тараде, просили, выпрашивали, унижались, благодарили. Холеный Тарада становился чиновником, занимавшимся среди дел крайкомовской работой. Медунов это заметил и решил выдвинуть его. Оставлять в крае такого дельца, так много знавшего, было нельзя. Прием не нов, но безболезненный, устраивающий обе стороны. Выдвижение с повышением, да еще в Москву, вошло в практику перемещения кадров, когда надо было от кого-то избавиться, выставить из крайкома.

— Отпустим Тараду? — спросил Медунов.

— В Москву заместителем министра по кадрам. Собеседование в ЦК прошел, приказ подписан. Пленум крайкома в таких случаях ничего не решал. Оставалось только пожать плечами.

Тарада основательно готовился к переезду, не торопился. Загрузил машину кубанскими делкатесами: икрой, балыками, винами и коньяками. Дубленками и прочими товарами, презентами. Укрыв их плотным брезентом, отправил в Москву.

В Воронеже пост ГАИ, словно почуяв рыбные и коньячные запахи, задержал машину. Милиция, приподняв брезент, ахнула и замерла. Раздался звонок в Краснодар. Так и так, задержали… В грузовой машине столько товаров, что можно открывать в Воронеже целый гастроном или продавать с. колес. Что делать? Кто такой Тарада? Ему принадлежит весь этот груз. Доложили Сергею Федоровичу. Первый Воронежский почему-то не хотел сам звонить по «ВЧ» своему коллеге.

— Тарада еще секретарь крайкома партии. Пленум его не освобождал, — сказал Медунов. Из этого следовало, что он личность неприкосновенная, обладающая партийным иммунитетом.

— Что же передать в Воронеж?

— Вот так и передайте. Они задержали. Пусть и разхлебывают. К тому же есть приказ — он уже зам. министра. Не наш…

В Воронеже считали, что Краснодар должен разбираться с этим в общем-то обычным уголовным делом. Но Сергей Федорович и слушать не хотел, не то, что вмешиваться в это дело. Не выгодно было докладывать об этом в ЦК,

а следовало бы. Не известно было, как бы повел себя Тарада, и что бы он сказал в ЦК.

Дело это так и потонуло в пучине бюрократической карусели между крайкомом и обкомом. Не исключено, что при докладе в

ЦК Тарада мог бы вернуться в Краснодар и вряд ли его можно было при такой огласке оставлять на должности секретаря крайкома.

Тарада упорно добивался, кто посмел «стукнуть» о нем, кто посмел досматривать машину секретаря крайкома партии? Подозрения у него падали на КГБ. Но КГБ не имело права заниматься секретарем крейкома, а Тарада упорно проверял свои подозрения, грозил заявлением в ЦК.

На очередном пленуме крайкома его освободили от должности секретаря, пожелали успехов на ответственной работе и он стал заместителем союзного министра по кадрам.

Так освободились от крупного взяточника, бессовестно облагавшего данью работников торговли и сферы обслуживания. У него страх оставался только перед КГБ. Ему очень хотелось знать, — могла ли им заниматься госбезопасность и что больше всего его беспокоило — а вдруг его слушали. Но КГБ строжайше запрещалось заниматься партийными работниками. Если бы кто посмел ослушаться этого приказа, не сносить ему головы. Между тем В. И. Воротников, казалось, сведущий человек все же попытался бросить упрек, что мол не знали о Тараде и ему подобных в Сочинском, Геленджикском и других горкомах и райкомах партии. Пришлось ему объяснить, что номенклатурные партийные работники стояли вне закона.

Вносились предложения об отмене подзаконных актов, касающихся партийных и советских работников любого ранга, если они переступили законы и совершили преступление, однако никакой реакции на них не последовало, хотя провозглашалось, что все перед законом равны.

Вывод из-под ответственности многих партийных, советских и комсомольских работников, совершавших преступления злоупотреблявших властью подрывало не только авторитет партии и государства, но и вызывало тихий ропот и гнев к номенклатуре, все больше отделявшейся от народа и с пренебрежением относившейся к работягам.

Существовал точный перечень должностей партийных, советских, комсомольских должностных лиц, к которым КГБ не должен был прикасаться, а в случае получения информации, что не исключалось, она должна была уничто–жаться, а те, кто ее получил и настаивал на ее проверке, рисковали в лучшем случае быть незамедлительно уволенными за «нарушение» социалистической законности. Нарастал как снежный ком поток жалоб и заявлений на руководителей разных организаций и учреждений о злоупотреблениях и преступлениях, в т. ч. и на партийных работников.

Органы безопасности располагали информацией о похождениях председателя парткомиссии крайкома, главного блюстителя партийной совести. Он совершал увеселительные вояжи на Черноморское побережье, в Сочи, Геленджик и другие курортные места. Там он обычно проводил субботу и воскресенье в компании картежников и, конечно, продажных представительниц прекрасного пола. В домах отдыха и в санаториях его встречали обильным застольем, его боялись как инквизитора.

Однажды в Геленджике главный врач санатория пытался урезонить распоясавшегося стража партийной нравственности и чистоты партийных рядов. Он был уязвлен неслыханной дерзостью: кто посмел призывать его к порядку хотя и на суверенной территории санатория? С мутными выпученными глазами он набросился на главного врача, разорвал на нем рубашку. Эту сцену видели многие. Врач пожаловался в местное отделение госбезопасности. Доложили Медунову. Он вызвал подчиненного, пожурил и для закрытия дела велел ему же направить двух своих инструкторов дл проверки заявления, поскольку факт непристойного поведения вылез на поверхность. Результаты расследования и принятые меры были ошеломляющими. Факты, конечно, не подтвердились. Во всем виноват оказался главный врач, напавший средь бела дня на ответственного работника крайкома. Врача уволили с работы «по собственному желанию», но он снова обратился в органы безопасности с просьбой защитить его. Медунов, поняв неизбежность огласки скандала, распорядился восстановить врача на работе. Страж КПК скрежетал зубами на тех, кто встал на защиту врача. Сергей Федорович не скрывал, откуда ветер дует, сохранял строгий нейтралитет и этим выдавал себя.

Крайком по представленной информации знал полную картину нутра бравшего взятки за вступление в партию и с персоналыциков, дела которых выносились на рассмотрение бюро, людей в чем-то провинившихся перед партией. В Сочи председател КПК не только угощали,

но и финансировали дельцы, с которыми он кутил. С выручкой и с денежными автотуристами на индивидуальном транспорте он отправился в заграничное турне. Сделка была настолько очевидной, что руководство крайкома вынуждено было распорядиться о его возвращении еще до пересечения государственной границы. Легкий испуг не пошел впрок. Бросить промысел он уже не мог. Техника вымогательства была не столь уж сложной, опробованной на многих клиентах. Результаты партийного расследования персональных дел на бюро крайкома

можно было докладывать по–разному — казнить или помиловать. Вот как раз этот прием, как профессиональный самбист и использовал глава партийной комиссии, а отсюда и все доходы, приведшие его в конце концов за решетку. Покровители в крайкоме отвернулись от него и даже больше: удивлялись откуда мол взялся такой проходимец?

Предложению о возбуждении на него уголовного дела особо не сопротивлялись, но рассматривали с точки зрения возможной компрометации партии. Здесь она была безусловно налицо и опять, вслед за Тарадою, в крайкоме. Обогащения, коррупция и связанные с ней явления, по–су- ществу разлагавшие партию, начались с времен Хрущева, широко распахнувшего двери для массового приема людей, преследовавших корыстные интересы.

На каждое освобождавшееся вакантное место, значившееся в списке номенклатуры сразу же накладывался запрет — никого не брать без согласия крайкома. А его посланцы нередко выглядели далеко не лучшими представителями политического авангарда идеологических единомышленников. Принимали их без восторга на новых местах, хотя далеко не все они были закоренелыми партаппаратчиками.

Пробравшиеся и притаившиеся до поры, до времени дали о себе знать снова, когда полезли вверх, отталкиваясь от занимаемых должностей и званий, предоставленных им партией. Сколько их было — не счесть. А наивные люди надеялись на них, верили, копошились как муравьи, сооружая не муравьиную гору, а громадное государство.

Жизнь шла своим чередом. Отдельные деревья не могли заслонить леса, хотя и бросали густую тень на положение дел в обществе. Народ убирал урожай, варил сталь, добывал нефть и золото, водил поезда, сочинял проникновенные песни и музыку, писал книги, задумывался над фило

софским осмыслением жизни социалистического общества.

Партия в рамках своей идеологии зорко следила за всеми процессами, не допускала отклонений, жестко требовала строжайшего порядка и выполнения плановых заданий. План был законом. Не хватало обеспечения его финансовыми и материальными источниками. Спрос рождает предложения. Появились профессиональные толкачи, пробивные люди, ценившиеся на вес золота.

Однако сбои были. Поезда начали выбиваться из расписания. За нарушение графика движения на бюро пригласили секретаря Новороссийского горкома партии, организовавшего оперативный штаб на станции. Он сам вошел в него на правах рядового, уступив бразды правления железнодорожнику. Ему пригрозили

освобождением от должности, а вскоре и сняли с работы, чтобы не сваливал на штаб, а сам трудился.

Головотяпства никому не прощали, стремились к тому, чтобы движение вперед никем не нарушалось.

31

Не было недостатка и в призывах решительно усилить борьбу с преступностью. Разрабатывались программы, мобилизовались дружинники, вводились новшества, наваливались на участковых, проводились разные эксперименты, как и всякого рода многочисленные почины, напоминавшие однодневных бабочек. Надо было пошуметь в газетах, по радио, показать, что кипит творческая работа, развивается инициатива, и нередко даже стоящие начинания превращались в очередную кампанию. Причем организаторы шумихи старались заявить о ней как можно громче, нисколько не заботясь о том, что значит присвоить бригаде или даже заводу звание коллектив коммуничти- ческого труда. Все это смахивало на месячники борьбы с автодорожными происшествиями. Они провозглашались под лозунгом: «Ударим месячником по нарушителям правил движения автотранспорта». На дорогах появились щиты, предупреждающие водителей о начале очередного месячника, в небе появлялся вертолет, баражировавший над дорогами. Радио, телевидение и посты ГАИ подключались к этой акции. Тарахтевший над дорогами вертолет напоминал шоферам, что месячник начался, следовательно рулить надо осторожней, за кустами таились гаишники.

Но водители — народ ушлый, профессионально спаянный, предупреждали друг друга миганием фар о приближении к тем кустам.

Некоторые начинания в бытность Щелокова Министром Внутренних дел проникали за границу и о них приходилось узнавать из-за рубежа.

Однажды пришла странная открытка, каким-то образом заблудшая ко мне. Наверное, по недосмотру почтальона, не разобравшегося в адресе. Прочитав ее, я нисколько не винил работников связи, а даже был благодарен им, поскольку сделал для себя открытие. Оказывается, проводилась широкомасштабная акция, о которой я не имел никакого представления.

Были основания для возмущения: за границей знают о проводимых в крае оригинальных мероприятиях, а жители края узнают об этом из Америки. Акция, как можно было судить по открытке, нашла понимание у гражданина США, откликнувшегося на нее. Такой уникальный почин прорвался за океан, получив мировую известность.

Отправитель открытки, некий Мартин Лауритч из Оверланда, добросовестно отвечал на поставленные нашей милицией вопросы из «сигнальной карточки». Оставалось только загадкой

— каким образом творение стражей порядка, одобренное наверху, как достойный распространения вклад в дело борьбы с преступностью, уплыло за океан и там нашло своих приверженцев, не пожалевших центов на почтовые расходы.

Авторы, составившие вопросы для сигнальной карточки были несколько дальновиднее тех, кто проводил месячники борьбы с автодорожными происшествиями, уносящими ежегодно тысячи людей, целые дивизии, не считая искалеченных. Ну, прежде всего расчет был не на месяц, а как постоянно действующая система по выявлению притаившихся злоумышленников и потенциальных преступников, всякого рода тунеядцев, паразитирующих на обществе, рецидивистов и прочего уголовного элемента.

Получившим приглашение участвовать в борьбе с правонарушениями, оставалось только повнимательнее посмотреть вокруг себя и даже не заполнять, а только подчеркнуть ответы на вопросы, обозначенные в карточке, похожей на обыкновенную почтовую открытку.

Мартин Лауритч, вооружившись красным фломастером назвал себя в карточке, хотя это было не обязательно, далее расписался под следующим текстом: «…Сознавая

ответственность за поддержание общественного порядка и соблюдение законности как в своей стране, так и в СССР, следуя своему гражданскому долгу, я целиком и полностью поддерживаю идею о введении системы анонимных доносов и добровольно регистрирую себя как нарушителя по следующим пунктам:

1. Тунеядство — нет.
2. Пьянство -— нет.
3. Нетрудовые доходы (подчеркнуто).
4. Г омосексуализм — нет.
5. Повторная судимость — нет.
6. Рецидивизм — нет.
7. Проживание без прописки (подчеркнуто).
8. Приглашение иностранцев домой (подчеркнуто).
9. Контакты с иностранцами (подчеркнуто).
10. Спекуляция (указать чем). (Подчеркнуто).
11. Чтение и хранение запретной литературы (подчеркнуто).

Вот таким уникальным новшеством, изобретенным в милицейских кабинетах, решили бороться с растущей преступностью. Документ, достойный занесения в реестр летописи, как образец брожения умов двух обывателей, описанных А. П. Чеховым. Почешихин и Оптимов шли в жаркий день по городу и рассуждали о летевших скворцах, полагая, что они сели у дьякона Вратоадова на вишне. «Ежели, положим, из ружья выпалить, да ежели потом собрать… да ежели… Если с

этого места выпалить, — сказал Оптимов, — то ничего не убьешь. Дробь мелкая и покуда долетит, ослабнет. Да и за что их, посудите, убивать? Вокруг них собралась толпа. Верный служака градоначальник Аким Данилович велел записывать не всех из собравшихся на городской площади, нарушивших общественный порядок. Не записали, к примеру, Пурова потому, что у него завтра именины и других. Аким Данилович в докладной начальству благодарил «того, кто не допустил кровопролития… Виновные же за недостатком улик сидят взаперти, но думаю их выпустить через недельку. От невежества преступили заповедь». Прочитать бы этот рассказ авторам той сигнальной карточки прежде чем ее рассылать. Может быть, они и не преступили бы здравого смысла той заповеди.

Впрочем, эксперимент не нашел поддержки у обывателей, но был отмечен анекдотом:

— Видите ли я человек не обидчивый, могу даже

смеяться над собственными глупостями, — сказал милицейский начальник.

— Должно быть очень весело живёте, — заметил сб-беседник.

32

Ольга испытывала многое на себе, однако терпела, нигде ни словом не обмолвилась, как ей приходится жить с Василием. Она смирилась со своим положением, выглядывала как улитка из раковины и вдруг нарушила самое запретное — обет монашки в монастыре. То было началом взаимного открытия душ двух случайно встретившихся людей, бросившихся друг другу сразу в объятия без раздумья о последствиях и нарушении обоими супружеских обязанностей, преданности и верности. Похоже было, что в знойный день, когда парит и трудно дышится, они окунулись в бодрящую освежительную волну морского прибоя, приласкавшего их. Так непредсказуемо случилось, так свела их судьба и уготовила им долгие годы тайных, мучительных встреч. Порою возникали ситуации, усложнявшие их отношения, они неминуемо должны были расстаться, так как нависала угроза разоблачения, из которого неотвратимо посыпался бы град на их головы. Василий, заметив холодность супруги, инстинктивно чувствуя ее увлеченность на стороне, пригрозил ей убить того, кто стал между ними. Да и в тресте прошел слушок о неравнодушном отношении Геннадия Ивановича к миловидной Оленьке, преобразившейся на глазах у всех, испытывая радость пробуждения к жизни. Ольга поделилась с Геннадием Ивановичем тревожными мыслями, опасениями, высказанными Василием.

— Я счастлив, что тебя встретил, — сказал ей Геннадий Иванович, видя ее задумавшейся.

— Я тоже, — ответила она.

— Без тоже нельзя?

— Я тебя никогда не забуду. Никогда… — прильнула она к нему. — Кто я? Обыкновенная женщина, месившая глину на кирпичном заводе. А ты…

Он закрыл ей рукой рот, не дал договорить. Признавал, что ему надлежит быть умнее на правах старшего, а он совсем потерял голову из-за нее, но не жалеет, ожил и живет какой-то непонятной надеждой. Геннадий Ива

нович говорил это настолько искренне и проникновенно, что у нее блестели глаза от слез.

Ольга, человек трудолюбивый, познавшая тяжелую работу, не считалась со временем и нередко задерживалась на работе. Г орел свет и в окнах кабинета Геннадия Ивановича, а Василий, иногда незаметно спрятавшись за колоннами трестовского здания, караулил ее, допытывался почему она задерживается? Нередко вспыхивали скандалы в мещанском стиле и настроение супругов

надолго затягивалось грозовыми тучами.

В ней накапливалось отвращение к нему, но она вынуждена была не выставлять его наружу, мириться, изображать даже свою преданность ему. Василий остывал, злоба проходила, Ольга усердно трудилась на кухне. Там она укрывалась от нудных допросов.

Кое-что из этого она рассказывала Геннадию Ивановичу, переживавшему вместе с ней домашние истязания. Оба они стали задумываться — что же дальше?

— Чтоб он куда-нибудь делся, — в порыве откровенности однажды сказала Ольга. Ей хотелось убежать от него.

Геннадий Иванович посмотрел на нее так, что на его лице обозначалось строгое осуждение ее слов.

— Со мною однажды было… — после затянувшейся паузы начала она. Когда работала на кирпичном. Стала на подножку грузовой машины, чтобы перебраться через грязь. Машину в ямке, скрытой лужей так подбросило, что я не удержалась и полетела кувырком. Ударилась головой о разбросанный кирпич, попала надолго в больницу. Я даже не помнила как это все случилось.

Геннадий Иванович не дал ей говорить. Он не мог больше слушать из-за жалости к ней, хотя ему хотелось спросить, к чему она рассказывает об этом.

В долгих разговорах они не находили ответа, как им быть, но и порвать свои отношения тоже не могли. И тем не менее, тяжело вздохнув, Геннадий Иванович все же сказал:

— Оленька, наш союз добровольный. Ты в любое время можешь быть свободной. Ты ничем мне не обязана. Если это произойдет… (он не сказал вслух — ты уйдешь от меня). То знай, я все равно буду любить тебя. Буду!..

— Мы в одинаковом положении, — заметила Ольга.

— Нет, — не согласился Геннадий Иванович. — Оно от

личается и весьма существенно, — не стал он вдаваться в подробности.

Ольга задумалась над этим, помолчала, а потом сказала:

— Ты не думай об этом.

Из этого он не мог понять, где проходит граница между ее истинным отношением к нему и к Василию. Временами даже закрадывалось подозрение в ее игре.

Геннадий Иванович не мог не думать о затянувшемся романе, о том, что он уже не мыслил себе жизнь без Ольги, раскрывшейся перед ним с тайной женственностью, о которой он мог только мечтать. Каждый день, когда он не видел Ольгу, стал для него чем-то незаполненным, в нем чего-то не хватало. Он дал ее даже тогда, когда знал, что она прийти не может.

Ее отъезды на один–два дня из поселка в город по каким-нибудь своим делам тянулись для него слишком долго. Он сам себя поругивал и убеждал, что без этого не обойтись, но сознание того, что она куда-то уехала, довлело над ним.

Он искал для себя занятий, чтобы отвлечься от этих назойливых мыслей. Не скрывал и перед ней своих настроений, иногда даже просил никуда не уезжать.

Она тоже ему говорила:

— Два дня, так долго…

Он начинал улавливать доносившийся до него шепот в трестовских коридорах, как тетеревиный ток по весне, о их отношениях.

Геннадий Иванович понимал, что все это может дойти до неприятностей, до анонимок, до парткома и тогда ему несдобровать. Он терял все, да и Ольге достанется. А сколько будет злорадства и какого!.. Но даже этот нависший над ним дамоклов меч, не пугал его.

«Так случилось, так случилось», — повторял он про себя, мучительно искал выход, оправдывался перед собою сложившимися у него семейными делами, не надеялся что его кто-то поймет. Ольга была права в том, что они оба находятся в одинаковом положении.

У человека всегда возникает потребность поделиться нахлынувшей радостью, разрядиться от тяжких переживаний, поделиться с кем-то, услышать сочувственное слово. У Геннадия Ивановича тоже кое-что прорывалось наружу, однако я его не расспрашивал, не судил, не лез в советчики.

33

По дипломатическим каналам компетентные органы обращались в посольство Турции в Москве с предложением обменять осужденного турецкого гражданина на двух преступников, угнавших самолет из Симферополя.

Однако, турецкая сторона не проявляла заинтересованности, долго отмалчивалась, а после напоминания с полным равнодушием к судьбе своего гражданина отклонила это предложение, заявив:

— Раз он совершил преступление, осужден судом, значит, виновен и это его личное дело.

Другими словами — знал, на что шел и пусть расхлебывается сам.

Между тем осужденный, признавая свою вину, заверял, что больше никогда в жизни не пойдет на преступление против нашей страны, писал прошения о помиловании, надеясь, что турецкое консульство заступится за него.

Причины такого отношения турецких властей лежали, конечно, гораздо глубже. Уже не первый раз Турция не выдавала советской стороне преступников, угнавших самолеты и попросивших политического убежища. На этих позициях она оставалась и по данному делу с менее тяжкими последствиями, чем захват самолета двумя литовцами, убившими бортпроводницу Надю Курченко.

Турки упрямо молчали, несмотря на обращения к ним общественности и родственников погибшей. И к Исмаилу Сари никто не наведывался. Он же обращался к Аллаху, милостивому и милосердному. Ведь в Коране сказано: «Вспомните же меня, Я вспомню вас… Аллах прощает, кому захочет. Аллах — прощающий, милостивый! Просите помощи у Аллаха и терпите!»

Исмаила Сари, так и не дождавшегося представителей консульства, отправили в лагерь для отбывания срока наказания.

Совсем по–другому реагировало посольство Канады в Москве, когда был арестован долгие годы разыскиваемый Гелдиашвили Давид, грузин, уроженец города Батуми, проживавший в Монреале на Норберт–стрит, 92. Оно стало горой на его защиту.

…Молодому солдату на КПП в Шереметьевском международном аэропорту показалось странным — грузин, а канадский подданный. Через тридцать с лишним лет Гелдиашвили решил побывать в Грузии — от тоски по Родине никуда не уйти, заграница не спасает, особенно если возраст обильно посеребрил голову.

4'-
л-
V-

Солдат–пограничник вернул ему канадский паспорт, сказав:

— Пожалуйста, добро пожаловать.

Гость гулял по Москве, спустился в метро, заходил в магазины, присматривался к быстротечной столичной толчее, оглядывался, вел себя настороженно. После долгих лет, с иностранным паспортом в кармане, ему и в голову не приходило, что кто-то в тучном немолодом человеке опознает прежнего франтовитого батумского парикмахера с ниточкой черных усов под крючковатым носом. Он же стал неузнаваемым даже близким людям, как ему думалось.

В далекие годы грозного лихолетья, когда измотанная в боях Приморская армия ждала подкреплений, ему, призванному на военную службу, предстояло на пароходе отправиться в Крым, но он давно обдумал свой побег с намерением уйти в горы и там подождать, пока в Батуми придут немцы.

Веселый парикмахер совсем пал духом, увидев, как по трапам санитары сносили на берег раненых из Крыма. От одной мысли, что его могут однажды ранить или не дай Бог — убить, ему стало жутко, и он бежал.

Что-то он не рассчитал. Его, такого изворотливого, задержал армейский патруль, военный трибунал судил, как дезертира, с отсрочкой приговора направил в действующую армию. При первой же возможности он перебежал к немцам, которые приняли его на службу в «Кавказскую роту» зандеркоманды СС-10–А. Начальником этой зондеркоманды был оберштурмбанфюрер СС — Курт Кристман, руководивший массовыми казнями жителей Краснодара, Ейска, Новороссийска и в других местах. Он был палач по духу, по призванию и убеждению, одним из чудовищ, порожденных фашизмом- Имя Кристмана стало синонимом зверств, перед которыми бледнеют все ужасы средневековых застенков. Девять его подручных осенью 1963 года предстали перед судом трибунала Северо–Кавказского военного округа, а Кристман спокойно разгуливал по улицам Мюнхена. Они под руководством своего начальника хладнокровно спокойно рсстреливали больных детей, беременных женщин, удушили в газовых автомобилях–душегубках тысячи людей.

Западногерманская Фемида только в 1981 году под давлением мировой общественности вынуждена была арестовать доктора Кристмана, владельца фирмы. Доку

ментация его преступлений велась в крае. Представители

Мюнхенского земельного суда допросили многих свидете-!

лей на Кубани, в Ейске, других местах массовых расстрелов людей. Суд приговорил Кристмана к десяти годам тюремного заключения.

«Кавказская рота» участвовала в массовых акциях по уничтожению жителей Северного Кавказа во время оккупации его немцами. Служившие в этой роте предатели расстреливали, жгли, душили газом невинные жертвы, удивляя жестокостью даже своих хозяев. Руководила ими отнюдь не смелость, а животный страх, трусость, стремление уничтожить свидетелей, замести следы, руководствуясь циничным тезисом: «Мертвые мсычат».

Гелдиашвили не препятствовали прилететь из Москвы в Батуми, посмотреть родные места, вспомнить молодость, а может и встретиться с кем-то после долгих лет разлуки.

— О, Георгий, как ты изменился, — сказала ему уже пожилая женщина, как только он сошел с трапа.

С этими словами обратилась к нему его первая жена, знавшая, что в Канаде у него есть другая семья.

Радостной встречи не получилось уже потому, что его сразу назвали Георгием. И почему — Гелдиашвили? Он же — Цинаридзе.

На следствии он упрямо занял свою «линию обороны», изобретал, что жил в Турции, в Италии, где познакомился с неким Цинаридзе, который перед смертью написал письмо, просил побывать на родине его предков.

— Приехал, чтобы выполнить волю покойного, — показывал на допросах «канадец».

Следствие же располагало неопровержимыми данными, что уже осенью 1942 года Цинаридзе принимал активное участие в умерщвлении шестидесяти узников Ставропольской тюрьмы СД.

Начав службу в качесте ротного брадобрея, он своим рвением обратил на себя внимание командира роты Вальтера Кернера и его заместителя Васо Элизабарашвили и вскоре стал командиром взвода.

На Украине и в Полесье в селах Каменка и Ступки Цинаридзе по показаниям сослуживцев, с атоматом был в первой шеренге при расстреле более тысячи человек.

В Ступки каратели загнали в барак двести человек, облили бензином и подожгли. Крики ужаса, треск пламени заглушались автоматными очередями. Но это далеко не все, что числилось за Цинаридзе за время его службы в «Кав–казской роте». Он палил из своего автомата до тех пор, пока перед ним не лежали бездыханные тела.

Его опознали и уличили сослуживцы по роте, уже' отбывшие наказание, но он упорно твердил, что никакого отношения к

злодею Цинаридзе не имеет, что он — Гел- диашвили. Подследственный, зная о ходатайствах и защите его канадским посольством в Москве, вел себя довольно уверенно, отвергая очевидное, даже показания своей первой жены и других родственников.

— Брось ты, Георгий, придуряться, — сказал ему на очной ставке свидетель Георгадзе, — хочешь хитрее всех быть…

С таким багажом возвращаться домой в 1945 году было опасно и он перебрался из Германии в Канаду.

Канадское посольство в Москве было поставлено в известность об аресте Гелдиашвили–Цинаридзе. Представителю посольства, прибывшему в Краснодар, были представлены документы, свидетельствовавшие, что Гелдиашви- ли — тот самый Цинаридзе, для которого канадский паспорт не более, чем ширма.

— Вы знаете, что лица, виновные в преступлении против человечества и военных преступлениях не имеют срока давности? — спросил прокурор дипломата. — Это подтверждено соответствующими резолюциями ООН.

— Да, это мне известно, но имеет ли отношение к гражданину моей страны — Гелдиашвили?

Прокурор предложил познакомиться с документами дела: приговором военного трибунала Закавказского фронта, осудившего военнослужащего Цинаридзе Георгия Филипповича за дезертирство, дактилоскопической картой осужденного. Экспертиза дала заключение — отпечатки пальцев «туриста» Гелдиашвили и осужденного Цинаридзе — принадлежат одному и тому же лицу, то есть Цинаридзе. Показания жены, справка батумской артели «Искра», где работал до войны парикмахер Цинаридзе, ведомость на выдачу зарплаты, где есть его личная роспись.

Канадский дипломат внимательно рассматривал представленные материалы, подлинники, фотографии.

— Ну, что же, — протянул он наконец задумчиво, — может быть, это действительно все так…

— А теперь посмотрите, — сказал прокурор, — чем занималась «Кавказская рота» и ее командир взвода Цинаридзе, арестованный как военный преступник.

Дипломат, судя по всему, был крепким человеком, но

и его потрясли документы о трагедии тысяч ни в чем не повинных людей. Более двух недель шел. открытый процесс в Краснодаре. Цинаридзе был осужден. После суда он просил адвоката написать прошение. о помиловании. Адвокат согласился, но спросил:

— За кого я должен просить? Ведь вы утверждаете, что ваша фамилия Гелдиашвили, а судили Цинаридзе.

— Цинаридзе — это я… — выдавил из себя осужденный.

34

Бушевали страсти, сыпались угрозы, раздавались телефонные звонки, под давлением которых выстоять было не просто, но служба безопасности, оставшаяся неподкупной, что признавал даже А. Сахаров, начала борьбу с коррупцией и другими негативными явлениями в крае. Люди это почувствовали и хлынул поток заявлений. Дошла очередь и до первого секретаря Геленджикского горкома партии Н. Погодина. Его загадочное исчезновение явилось той критической отметкой, за которой последовало освобождение Медунова от занимаемой. должности. Перед этим ему. пришлось докладывать по «ВЧ» секретарю ЦК Ю. В. Андропову,

— Пропал первый секретарь горкома…

Юрий Владимирович выслушал и сказал, что им займется служба безопасности. Погодин был объявлен во всесоюзный розыск.

Секретарь ЦК Иван Васильевич Капитонов, проводивший оргпленум, был крайне'лаконичен в свОем выступлении. Предложил одного освободить, а другого назначить, почти никак не комментируя ни то, ни другое. «В сложившейся обстановке ЦК считает необходимым перевести С. Ф. Медунова на другую работу». И все. Против этого никто не возражал. Послушно проголосовали за освобождение и за избрание первым секретарем крайкома прибывшего С Кубы посла Виталия Ивановича Воротникова. У многих было что сказать о Медунове, как и задать вопросы Воротникову, но Иван Васильевич, опытный в этих вопросах человек, свернул работу пленума в считанные минуты.

Обмениваясь на ходу мнениями, перешептываясь, расходились члены крайкома, которых можно было и не соби

рать, поскольку Воротникова рекомендовал ЦК, а вверху, как полагали, виднее кого назначать.

Медунов, как первый секретарь крайкома был неординарной личностью, очень энергичным, компетентным специалистом сельского хозяйства. На этом сходились участники пленума. Он жестоко спрашивал за выполнение планов фабриками, заводами, колхозами, совхозами, районным звеном, скрупулезно каждодневно следил за краевыми показателями.

Полевая и уборочная страда, сдача хлеба государству, поставки продукции животноводства в республиканский фонд, надои молока, вывоз сахарной свеклы, заготовка овощей — всего не перечислить, были его постоянной заботой, не сходили с повестки дня работы бюро крайкома партии. Он был беспощаден

к тем, кто проявлял некомпетентность, недисциплинированность, неповоротливость, работал спустя рукава, без творческой инициативы. Требовал жестких наказаний вплоть до исключения из партии.

Председатели же крайисполкома занимали пассивную позицию, кроме, пожалуй, Н. Голубя, знающего специа- листа–сельхозника, энергичного руководителя.

Надо отдать должное упорству Сергея Федоровича, с каким он проводил курс сложившейся хозяйственной деятельности, планового ведения народного хозяйства.

Порочность заключалась в том, что партия вмешивалась там, где не нужно было ее вмешательство и по существу подменяла Советы, превратив их в послушный бюрократический аппарат, хотя проходили сессии, принимались постановления, утверждая бюджет. Все походило на расхожий анекдот об уполномоченном, прихавшим в район на помощь, но занимавшимся только поиском виновных в срыве посевной и хлебозаготовок.

Уверовав в свою непогрешимость, не встречая других открытых мнений и критики из своего Окружения, Медунов превратился в командира, отдающего приказы, не подлежащие обсуждению. При этом нельзя все сводить к одной личности, нельзя казнить эту личность как это было во времена свирепствовавшей инквизации, сжигавшей на кострах инакомыслящих, изобретшей пытку — распятие на дыбе.

Народ трудился, производил, строил, добвался высоких урожаев, пробился в космос, создавал великие произведения литературы и искусства, отражавшие сложное, противоречивое время. Истинные художники оставались ху–дожникамн, вместе с народом, не отказываясь и не пере- лицовываясь, как М. Шолохов остался с героями «Поднятой целины» до конца своих дней.

Нетрудно издать Указы, поправляющие историю. Можно даже сочинить постановление, отменяющее Указы Петра о снятии колоколов для переплавки их на пушки или пересмотреть победу русских войск под Полтавой, но история останется историей. Давно сказано, что самые великие истины можно опошлять.

Но ведь не только люди, но камни возопиют.

На заседаниях бюро крайкома при рассмотрении персональных дел Медунов обычно задавал свой дежурный вопрос:

— Скажите, на каком этапе вы потеряли контроль над собой?

Он его должен был прежде всего задать себе.

Медунову никто задавать этот вопрос не осмелился и так снизу доверху, хотя напрашивался он очень многим. В этом трагедия, скомпрометировавшая партию, у истоков которой

стояли выдающиеся умы человечества, мечтавшие облегчить жизнь трудового народа.

…Наступила осень. Виталий Иванович входил в курс дел жизни богатого края, что нелегко ему было делать после Кубы, а хлеборобы Кубани убирали рис и свеклу, на полях еще чернел подсолнух, пахали, сеяли, готовились к новому урожаю.

М. С. Соломенцев, отдыхавший в Сочи, высказал пожелание поохотиться в Красном лесу, уникальном заповедном островке в степи. Об этом мне позвонил один из охранников Михаила Сергеевича.

Я доложил Виталию Ивановичу.

— Нашел когда охотиться. Какими он глазами будет смотреть на людей, копающих свеклу, убирающих подсолнух. Мимо них ехать на охоту… Впрочем, если хочешь, организуй, только без меня.

Охота не состоялась. У Виталия Ивановича было много дел. Готовился пленум крайкома о работе с кадрами, а точнее о борьбе с негативными явлениями, захлестнувшими край. Его ждали все. Он должен был расчистить завалы, оздоровить обстановку на Кубани, назвать вещи своими именами, успокоить общественность. Все эти надежды возлагались на нового секретаря крайкома партии.

Виталий Иванович присматривался к кадрам, крайних мнений не высказывал, подходил взвешенно, осторожно

в оценках предшественника и всей обстановки в казачьем краю.

Люди видели и знали о негативных тенденциях в обществе, однако преобладало сознание того, что все можно исправить и партия выправит положение дел в стране, продвигаясь вперед по мере выполнения заданий пятилетних планов. На этом фоне в обществе преобладало оптимистическое настроение, уверенность в завтрашнем дне.

Вместе с тем многие задумывались над необходимостью совершенствования социалистического строя, проведения реформ управления народным хозяйством. Политическая система не вызывала сомнений у абсолютного большинства народа, тяготевшего к коллективным формам собственности. Советские люди привыкли к относительно высокой социальной защищенности. Правящая партия была не без изъянов, камерно признавала свои просчеты и ошибки, но нельзя сбросить со счетов, что когда она действовала, не было нищеты, мафий, спекуляции, диких цен, распродажи национальных богатств, потери патриотического чувства.

Много, очень много накопилось вопросов, которые вряд ли

можно было решить на Кубани.

В это время в Москву с визитом прибыл Рауль Кастро, а через несколько дней высокий гость по приглашению Виталия Ивановича прйлетел в Краснодар. Холодная дождливая погода, такая непривычная для Рауля, компенсировалась теплым, дружеским вниманием Воротникова к нему. К танцам в варьете гость отнесся равнодушно, хотя девчата и старались, зная о его присутствии. До кубинских стандартов им, конечно, было далеко. Виталий Иванович предложил Раулю поохотиться. Поехали в Красный лес, островной массив пойменного леса на правом берегу Кубани между станицей Марьянской и Раздерским узлом. Лес кишел дикими кабанами, козами, европейским оленем и сибирской косулей.

Р. Кастро оказался неважным охотником. Олени, подгоняемые егерями, бежали прямо на него, стоявшего под живописным кленом с карабином, но он трижды промахнулся. Будучи недовольным Рауль не покидал своего места. Сгущались сумерки в лесу, однако егерям пришлось в четвертый раз подгонять к нему дичь. На всякий случай решили подстраховать выстрелы Рауля охотниками, стоявшими справа и слева от него.

Осенний лес, устланный мягким ковром опавших

листьев, наполнился стрельбой. Напуганные олени, почти домашние, шарахались между деревьями, но три из них были завалены, один из которых отнесли на счет неудовлетворенного Рауля. Виталий Иванович, не принимавший участия в охоте, а только дирижировавший ею, убеждал незадачливого охотника через переводчика, что один из оленей его трофей, Рауль слушал и смотрел по сторонам. Он заметил откуда-то появившуюся домашнюю кошку, быстро вскинул карабин, прицелился и на глазах у всех, обступивших его, выстрелил. Кошка подпрыгнула и завалилась. Рауль бросился к ней. Все побежали за ним. Войдя в азарт, он поднял за уши кошку и этим показывал, как он умеет стрелять, чтобы реабилитировать себя, позируя перед фотографом с кошкой в руках. Потом подошел к лежавшему оленю и тоже сфотографировался. Поднимая голову оленя за рога, отыскивая место окрашенное кровью, Рауль оживился. В нем сразу пробудился темперамент испанца. Конечно, это была не коррида, но ему отрезали ухо оленя, как победителю. Виталий Иванович следовал за Раулем, опекал его. Видно, что они были друг с другом на «ты».

После охоты состоялся ужин в охотничьем доме, увешанном охотничьими трофеями. Воротников подарил Раулю заранее приготовленные оленьи рога на память об охоте в Красном лесу. На следующий после охоты день Р. Кастро в крайкоме рассказал

членам бюро о проблемах Латинской Америки, колоссальных долгах всех стран континента, сравнивая с положением социалистической Кубы и ее небольшой задолженностью. Ни словом не обмовлвившись о бескорыстной советской помощи. Виталий Иванович описывал Кубань, не касаясь обнажившихся острых социальных проблем. Он больше говорил о благополучии в благодатном крае и его богатствах. Все больше становилось заметным, как он дипломатично уходил от решительных мер по кубанским делам, делегируя свои полномочия другим, стараясь не ввязываться ни в какие запутанные клубки.

Вскоре и вовсе поползли слухи о его переводе в Москву. Все прояснилось, находило объяснение. Краснодар, хотя и «маленький Париж», но не Гавана и Москва.

Тем не менее общественность края отмечала в начинаниях и поведении Виталия Ивановича положительные моменты, как человека не связанного путами с местными кадрами, а поэтому независимого в своих действиях. Про

веденные им пленумы крайкома, его позиция, хотя и не совсем определенная, получили резонанс в крае. Однако те, кто возлагал на него большие надежды, разочаровались, с недоумением встретили его отъезд в Москву, так же как далеко не всем был понятен и его приезд. Стоило ли приезжать на год? Григорий Васильевич Романов, улетая после отдыха из Сочи в Ленинград, узнав о новом назначении Воротникова, с присущей ему прямотой сказал: «Это ему не на Кубе штаны протирать, тут надо работать».

35

…От всех переживаний и возникших осложнений на работе в тресте Гришанов почувствовал себя уставшим, нездоровым. Врачи настоятельно рекомендовали ему сменить место работы, а начальство предлагало переехать даже в Москву на перспективную должность в министерство, как хорошему специалисту.

Геннадий Иванович отказался. Он не мог уехать из-за Ольги. Не мог представить себе расставание с ней.

Между тем тяжелый недуг прогрессировал и надолго вывел его из строя. Он вынужден был оставить на время работу. Это нисколько не помогло ему, а наоборот нарушило устоявшийся за десятилетия жизненный ритм, что неизбежно усугубило его состояние.

Почувствовав себя не у дел, — навалилось тягостное состояние, с которым он безуспешно боролся.

Нарушился и союз с Ольгой, в который он так верил. В ней единственной он видел поддержку в свалившейся на него болезни, приковавшей к койке.

В больнице Г еннадий Иванович отпустил усы, разлетавшиеся острыми стрелками на кончиках, что его старило, но придавало лицу аристократический вид. В его осанке, несмотря на болезнь, в его манере держать себя, говорить спокойно и уверенно чувствовалось что-то благородное, незаурядное.

Ольга этого не особенно-то замечала, но успокаивала его, жалела, как могла, повторяя: «Все будет хорошо. Ничего не изменилось…». Но эти слова раздражали его, в них он не находил той искренности, в которую он глубоко верил, которую ранее читал в письме, присланном ему в санаторий:

«…Ты как всегда прав, мой!.. Мне следует писать тебе

чаще, как только появляется возможность. А возможность, когда я совершенно одна. Это не всегда бывает, но так же редко выпадает мне счастье видеть тебя, говорить с тобою.

И жизнь моя — от встречи до встречи. А между ними столько пережитого, не высказанного…

Я счастлива, что ты позволяешь мне писать. Так так слушаешь меня, что мне хочется рассказывать тебе все, все, что было со мною, чем я живу, что читаю… Каждый день начинается с мыслей о тебе. Просыпаюсь и возвращаюсь к впечатлениям о встрече с тобой. Мне хочется рассказать, как бежала я к тебе, ехала автобусом, а мне показалось, что движется он ужасно медленно.

Мне так хочется быть рядом с тобою, помочь тебе во всем, в твоих замыслах. Я молю бога, чтобы он помог сбыться моим мечтам. А чем я тебе помогаю?..».

Геннадий Иванович на минуту оторвался и не соглашался с ней в ее рассуждениях о помощи. Ее помощь он чувствовал, видел в том, что она помогает ему жить, что она окружил его таким нежным вниманием, которое под силу только очень любящей женщине. И он ей был безмерно благодарен, веря в ее искреннее чувство к нему.

«…Как жаль, что всегда надо уходить, смотреть на часы, считать оставшиеся мгновенья. Но пока я рядом, я чувствую твое плечо, а «критическое время» приближается… Я ухожу.

И еще. Прошло так много времени с того вечера, а помнятся мне мельчайшие подробности его — не боюсь сказать, как жадно я на тебя набросилась и встретила отку- да-то свалившегося, не иначе как с неба, от бога, твою взаимность. Мне кажется, что нет большего счастья со- пережить эти мгновения. И вот сожаление… Горькое сожаление — как малы эти мгновения, как мало я с тобою. Мои раздумья о тебе часто кончаются слезами. Знаешь, я была бы даже благодарна за то, что ты позволяешь мне думать о тебе. Я не могу не думать с горечью, тревогой, что мы с тобою счастливы и несчастливы…».

Далее шли как будто бы навеянные грустью размышления Ольги о том, какая несправедливая судьба выпала на их долю и тревожные для него намеки.

Прочитав письмо, Геннадий Иванович позвонил Ольге и пожелал встретиться, как только вернется из санатория. Он не мог откладывать разговор, который напрашивался после строк полных отчаяния. Ему не терпелось убедить

ся — осталась ли она той же Ольгой, какой он ее знал, или же она не могла выдержать паузу и какая-то сила толкала ее, как чеховскую Софью Петровну, к другому.

Встретиться сразу не удалось. После возвращения из санатория он простудился и надолго снова оказался прикованным к постели, сначала дома, а потом в больнице. Лечили его упорно от гриппа, а у него оказалось довольно серьезное воспаление легких. Всю весну он провалялся в больничной палате. Поговаривали и об операции. Поправлялся он медленно. Похудел, осунулся, постарел, но Ольгу ни на минуту не забывал.

Наступило жаркое лето, изредка шумели проливные дожди, после которых парило как в бане от неостывавшего даже по ночам асфальта.

Геннадий Иванович снова напомнил Ольге о себе, на встрече не настаивал, приходя к выводу, что такой он ей не нужен. В

трубке он услышал знакомый бодрый голосок, нисколько не озабоченный тем, что они давно не виделись и она была в неведении о его здоровье. Ольга даже не обмолвилась об этом, что не могло его не насторожить, но вместе с этим после долгих размышлений другого он от нее и не ожидал. Его подводили засевшие. в голове идеалы прошлого. А Ольга была совершенно из другого мира. Она ссылалась на то, что занята какой-то срочной работой и не стремилась, как это было раньше, бросить все и бежать к нему, чтобы увидеть его во что бы то ни стало, напоминая ему каждый раз:

— А я есть, моя собственность… Иду…

Ее оговорки, их тон сразу заметил Геннадий Иванович. И хотя он смирился с тем, что у Ольги, вероятно, появились новые увлечения, они с болью отозвались в его сердце. Как он не готовил себя к этому разговору, он не верил своим ушам то, что слышал в телефонной трубке и поэтому ему захотелось увидеть ее, посмотреть ей в глаза, остались ли они такими же или их цвет меняется в зависимости от того, с кем она говорит.

Геннадий Иванович сам себе удивлялся, что не мог сразу вырвать ее с корнем из своей души и даже свое выздоровление связывал с ее исцелительной поддержкой, на себе познавшей сиротское горе и все выпавшие на ее долю невзгоды, которые не каждый мог вынести.

Они все же договорились о встрече.

Оставшись после этого нудного разговора наедине со своими мыслями, предчувствуя перерождение Ольги, он

ловил себя на мысли, что он ее идеализировал, пребывая в прошлом со своими идеалами, почерпнутыми им из литературы. Оказавшись в плену идеальных представлений, он ими и руководствовался в своих взаимоотношениях с Ольгой. Иногда у него что-то прорывалось наружу. Она слушала его раздумья, искренние исповеди, нередко доводившие ее до слезных росинок на глазах и щеках, а то и рыданий. Он был уверен в ее мужестве и откровенности с ним, если она рассказывала ему даже о нападении на нее председателя.

— Мы оба не от мира сего, — как-то сказала ему Ольга. — Им не дано познать то, что мы познали, — не называя тех, кого имела в виду. — Мы «сумасшедшие», что с нас взять…

— А свет отворачивался от таких, как мы с тобою. Они теряли все, жертвовали всем… — продолжил размышления Ольги Геннадий Иванович.

— А теперь?

— Теперь не свет и церковь в роли судей, а партийные и государственные конторы, но потери те же.

И пока они были вместе, никаких сомнений у Геннадия Ивановича не возникало в том, что они единомышленники, познавая недоступное для понимания теми, с кем они были официально зарегистрированы.

Но случилось так, что как только Ольга уходила, его охватывали сомнения в ее преданности. Приходила мысль, что расставаясь, она все забывала, даже то, что вызывало у нее слезы. Но тут же он гнал эти предчувствия, корил себя за требование от нее невозможного, находил все это довольно смешным со своей стороны, даже просил прощения за свои притязания. Ведь у нее был Василий и ей не всегда нравились упоминания его. Геннадий Иванович замолкал на полуслове, но она знала, что он не терпит его и никогда первой не напоминала ему о нем. Его как бы не было временами между ними. С тех пор, как он узнал Ольгу, многие его представления о супружеской жизни переменились. Она находила то, чего он не знал. Находила такие слова к нему, от которых он возносился до небес и не случайно прозвал ее ангелом, которого отыскал в темноте на небе среди мириад звезд.

36

У газетного киоска со свежим номером «Красной Звезды» в руках стоял, опираясь на палку, пожилой мужчина,

седой, в поношенном военном кителе',[1] с мрачным лицом.

Я продвигался в очереди за газетами. Он посматривал на меня с явным желанием что-то сказать, может быть потому, что я был в военной форме.

Как только я купил газеты, он, прихрамывая, подошел ко мне, представился:

— Бывший командир роты, полковник в отставке Калашников Илья Васильевич, инвалид… — Еще он назвал дивизию, в которой служил, фронты, где воевал.

— Вижу, вы тоже фронтовик, — сказал он и поинтересовался, как обычно, моими фронтовыми дорогами.

Я спешил на работу, но пришлось задержаться и выслушать ротного. Видя мое расположение, он отозвал меня в сторону, достал из кармана открытку, словно документ, подтвержающий его участие в войне. На открытке детским почерком было написано: «Дорогой дедушка, ты воевал, поздравляю с праздником…»

По тому, как вдруг повлажнели у него глаза, я понял, как трогают его эти слова. Но он тут же справился с минутной расслабленностью. Лицо его преобразилось, стало непроницаемо строгим.

— Это мне внучка написала, ученица второго класса. Сегодня времена смутные, но ей я верю. Единственному человеку… А вы еще служите?

— Служу.

Это как бы подтолкнуло моего собеседника на откровенный разговор. Ему, видимо, хотелось высказаться, освободиться от накопившегося у него на душе.

— До чегО дожили. Пообносились… Да еще вымазали нашего брата–фронтовика. Оскверняют могилы павших, и здравствующим нет покоя. Не знаешь, куда деваться. Да что там… Всю нашу армию охаяли, солдат и офицеров, ныне служащих. Повели, так сказать, массированное наступление… Такого никогда не было, чтобы на нашу героическую армию лили столько грязи. Скажите, кому и зачем это надо? Фронтовики уже стесняются надевать свои боевые награды. Да и живется нашему брату на старости лет прямо скажу, муторно. ГОсударству мы, похоже, в тягость, поэтОму оно больше отмахивается от нас мелкими подачками. Что-то обещает к двухтысячному. Но мы уже

не дождемся, не дотянем, и скоро о подарках ко Дню Победы не нужно будет хлопотать и не придется вести никаких разговоров о льготах. То-то кое–кому легко станет! Ну, как же, избавились…

Я хотел все же напомнить ему о льготах, котя сам понимал, что они не идут ни в какое сравнение с тем, что заслужили фронтовики, с тем, как они воевали, как после войны отдавали все, что у них было, на возрождение лежавшей в руинах страны.

— Бог с ними, с этими льготами и подарками. Мне стыдно за государство наше, — постучал фронтовик палкой. Льготами только дразнят фронтовиков и сталкивают с людьми, стоящими в очередях. Ну, скажите, какой настоящий фронтовик осмелится протиснуться к прилавку вне очереди? Его же заклюют. Видел как-то. Вступился за человека, так и на меня напали. Вернулся домой и не на шутку расплакался. — Я вас, наверное, задерживаю, но есть еще вопрос. Его мне задал один студент. Пригласили меня недавно выступить на военной кафедре. Я согласился, хотя идти, прямо скажу — никакого желания не было. Рассказал я как командовал ротой, как наступали, как штурмовали Кенигсберг, другие крепости германские. После этого получаю записочку: «Дед, лучше скажи, за что ты воевал?» Поначалу записка ошарашила меня. Но потом подумал: что ж это я, как бы струсил? Нет. Я же первым вылезал из окопа, не робел. Не раз водил в атаку солдат на Зееловских высотах. Сейчас уже мало, кто знает, какой там был ад.

Тут меня прорвало. Воевали за советскую власть, говорю, за социализм!.. Не заметил, как начал кричать на всю аудиторию: за честь, свободу и независимость нашей Родины! Громил фашизм, прибравший к рукам всю Европу.

Слышу, поприутихли смешки.

Совесть наша чиста. Мое поколение защитило Отечество, как наши предки на Куликовом поле, и водрузило знамя Победы над логовом врага.

Меня уже было не остановить. Выступал я как на митинге. Вся Европа в ноги кланялась советскому солдату. Не зря воевали!

После этой встречи шел я домой как в чаду. Не хотелось ни есть, ни пить. Впервые через сорок пять лет размышлял: «В самом деле, за что воевал?» Живется мне, мало сказать, тягостно. Маемся мы со старухой в турлуч- ной лачуге, квартиры нам теперь уже не дождаться. Ничто не радует. Утешает в какой-то мере лишь то, что не мне одному так.

Задавал мне тот вопрос молодой с длинной гривой, жуя резинку во рту. Конечно, он только слыхал про войну.

может быть что-то читал или видел в кино. Он не знает, что мы избавили Европу от коричневой чумы, фашизма, а–потом всем

помогали, хотя сами–тО жили впроголодь. Долгие годы в страны народной демократии эшелонами везли продовольствие и сырье для промышленности. Радовались возрождению этих стран, их успехам, как своим собственным, а оказалось все это напрасным. Все рухнуло, как карточный домик, да к тому же нас еще и проклинают там, оскверняют памятники, братские могилы наших солдат, рушат памятники Ленину.

Куда девался социалистический лагерь, где Варшавский договор, что сталось с коммунистическими и рабочими партиями?.. А и за это мы тоже воевали.

Выходит, поколение, отдавшее все на алтарь Отечества, оказалось ненужным, зря воевавшим, потерянным. В этом ведь вся трагедия фронтовиков. Через несколько лет внучка будет читать Ремарка и Хемингуэя о потерянном поколении, напрасно воевавшим и жившим. Получается, что и у нас судьба такая же.

Беседа наша затянулась и я невольно посмотрел на часы: пора бы уже мне быть на работе, но не хотелось перебивать полковника.

— Правда, — продолжал фронтовик, — может, к тому времени, когда внучка подрастет, опять найдутся умники и снова отменят нашу историю. А что?.. Отменят указом или приказом. Но в прошлом изменить ничего нельзя, а вот написать историю в угоду самому себе, охотников у нас уйма. Ведь пролезли же они на страницы военной энциклопедии, те, кто не воевал? Пролезли. Да что я вам говорю, вы же сами знаете.

Фронтовик извинился за то, что задержал меня. Я пожал ему руку и спросил, показывая глазами на ногу:

— Где?

— На Зееловских высотах зацепило, — переступил он, опираясь на палку.

Я видел, он крепился и сказал далеко не все, терпеливый русский офицер, доведенный до отчаяния. В его душе образовалась пустота, им владело горькое разочарование, чувство ненадобности своего бытия в этом жестоком мире.

— Рад был познакомиться с вами, Илья Васильевич. Думаю мы с вами встретимся.

— Вы серьезно?

— А почему нет?

— Очень хотелось бы.

Я на газете написал ему мой номер телефона.

— Извините… Знаете, когда с кем-то поделишься, боль утихает.

— Боль!.. — Как-то невольно и сочувственно произнес я это слово.

Мы попрощались. Полковник остался на трамвайной остановке, а я торопился на работу. Шел по оживленной улице с раздумьями, навеянными этим разговором. В последние годы так много пишется и еще больше ведется разговоров о правде, нравственности, милосердии, доброте, высказываются обращения от имени народа и к народу. Преобладают модные заклинания, доморощенные теории, призывы, проповеди, как надо жить, но подвижек, как теперь говорят, пока что никаких. Наоборот, заметно усилились отчужденность, неприязнь, озлобленность, нетерпимость, вседозволенность, насилие. Общество захлестнул разгул уголовщины и дикого грабежа простых смертных.

Происходит катастрофическая девальвация совести, гаснет память о более чем двадцати миллионах, погибших в Великую Отечественную войну. Общество онемело. Не слышно искреннего сочувствия к жертвам войны, благоговения перед их подвигом.

А ведь все живущие в неоплатном долгу перед павшими. К братским могилам идут состарившиеся, поседевшие матери, вдовы, ветераны, иногда и молодожены. К могиле Неизвестного солдата в Москве приходят официально только военные, а высшее руководство не показывается, в этот день, видимо, не считая нужным поклониться памяти тех, кто отдал жизни за Родину, кто спас Европу от фашизма. Народ не пускают к могиле. Боятся.

За границей к братским могилам и памятникам павших советских воинов до последнего времени приходило много народа, возлагали венки и цветы руководители государств. Вся Европа усеяна братскими могилами наших солдат и офицеров, почти из каждой нашей семьи кто-то зарыт в чужой земле. Теперь оскверняются памятники советским воинам. Представители нашего руководства, бывая за границей, иногда посещают братские могилы. К этому их обязывает протокол. Но что-то не слышно было, чтобы они сделали твердое заявление о неприкосновенности наших воинских захоронений. Дома же, видимо, необходимо принятие специального «закона», взывающего к совести в этот день, низко поклониться памяти тех, кто жизни

свои положил за Отечество. Мне тут же хотелось все это выплеснуть на бумагу, чтобы «се знали о боли ветерана. Но сразу не получилось. На российских просторах началась потрясающая мир перепалка в чисто русском духе.

37

День и ночь длиннющие составы с нефтью катились к Черному морю, в Новороссийск и Туапсе. Туда же рекой лилась нефть по нефтепроводам, растекаясь у моря по танкерам, как в бездонные бочки, и уплывая за границу. Сколько ее туда утекло, не сосчитать, так как приборы по ее замеру были несовершенны, тоннаж определялся на глазок теми, кто открывал вентили на причалах. Иностранным фирмам это было выгодно. Они вели свои замеры и как всегда в танкерах «недостовало» тысяч тонн нефти, хотя за джинсы нефть заливалась под самую пробку:

Между тем в нефтеносном крае ощущался острый недостаток горючего — бензина и керосина и почему-то всегда в разгар уборочной страды, в пору курортного сезона. Самолеты в аэропортах заправлялись с колес, рейсы задерживались, тысячи людей, курортников расстилали газеты на горячем асфальте и коротали время на улице под открытым небом в ожидании подхода цистерн с горючим.

Нефтеперегонные заводы в крае работали на половину мощности из-за нехватки сырья, а нефть, добываемая в крае, вывозилась за его пределы.

Все понимали абсурдность такого положения, однако никто не мог принять разумного решения на государственном уровне.

Крайком напирал на снабженцев, требовал обеспечить горючим край, а они не могли получить ни одной тонны с нефтеперерабатывающих заводов края. Их продукция шла на экспорт и в другие регионы. Тогда крайком сам брался за добычу топлива, выколачивая где только можно всякими праведными и неправедными путями, а снабженцев приглашали на бюро, заслушивали, грозили строгими взысканиями, вплоть до освобождения от занимаемых должностей, но положение дел не менялось. Каждый год повторялось одно и то же, слушали нефтеснаб, принимали решения.

Как-то еще при Медунове один из заведующих отделом усомнился в целесообразности рассмотрения хозяйственного вопроса на бюро.

— Это как понимать? — спросил Сергей Федорович, поискав смельчака прищуренными глазами, — Предлагаешь сидеть сложа руки, пока погниет хлеб и пОмерэнет свекла в поле?

— Наше дело идеологическое обеспечение уборки. Я так понимаю.

Это уже подавала робкий голос скрытая «оппозиция». На помощь ей пришел секретарь по идеологии. Он сыпал цифрами и

пунктами из мероприятий по идеологическому обеспечению уборки.

— В крае более четырехсот пятидесяти тысяч ударников и семнадцать тысяч коллективов коммунистического труда. Это наша главная сила. Что предусматриваем? Торжественные проводы механизаторов на уборку, передвижные агитпункты на краю массивов, где идет уборка, поднятие флагов Трудовой славы в честь победителей, вручение переходящих кубков качества, вымпелов, посвящение в хлеборобскую профессию с хлеборобской клятвой: «Клянусь быть верным земле своих отцов. Клянусь быть на ней старательным и добрым хозяином».

— К этому бы еще бензина и керосина! — кто-то прервал секретаря.

На лице Сергея Федовича затаилась лукавая улыбка. Он выждал пока говорил секретарь по идеологии, к которому с некоторых пор относился скептически.

— Когда я был на съезде коммунистов Сан–Марино… Полное название этого государства — Светлейшая республика Сан–Марино, мне пришлось беседовать с секретарем итальянской компартии. Я у него спросил — какие надои молока на корову в Италии? Он не знал. Спрашиваю об удобрениях под рис — представления не имеет. Как снабжается село горючим, по каким ценам? Не знал. Это мол не дело партии. Я ему сказал — вот когда станете правящей партией, все узнаете.

Медунов отыскал тех, кто подавал реплики и спросил:

— Дошло?

Все молчали. Довольный своим многозначительным ответом, Сергей Федорович продолжал:

— Примем постановление бюро и пошлем министрам, пусть читают. Сидим на нефти, а как сапожник без сапог. Заколдованный круг. Вроде того, что мы с тобою шлы? — Шлы. — Кожух нашлы? — Нашлы. А я тоби шо казав? — Мы с тобою шлы? — Шлы. — Кожух нашлы? — Нашлы…

Он умел рассказывать байки и был неистощим. После перерыва предложил:

— Надо глубоко изучить со специалистами и учеными

положение дел с добычей и запасами нефти в крае, ее переработкой и вынести этот вопрос на бюро.

Вскоре после этого разговора на бюро меня неожиданно навестил Гришанов.

— Не мог не заглянуть, — здороваясь, сказал он.

— Какими ветрами? — обрадовался я его визиту.

— С попутным ветром, то биш с приглашением в крайком для подготовки бюро по нефти. Жаль, Медунов уехал. Его

инициатива.

Геннадий Иванович тоже сокрушался падением добычи нефти в крае, отставанием разведки перспективных месторождений, нехваткой оборудования для глубокого бурения. Возмущался тем, что вывозим сырую нефть за гроши за границу, вырученную валюту, тут же проедаем или ввозим то, что делают из нашей нефти те же немцы.

— Не стыдно ли нам ввозить зубную пасту, стиральный порошок, мыло из Италии, помидоры из Болгарии?.. А свои запахиваем…

А ведь Кубань старейший нефтяной район страны. Здесь была заложена первая нефтяная скважина России еще в 1864 году.

За чашкой кофе Геннадий Иванович с болью говорил о некоторых несуразностях в новейших теориях социализма, упрекая их авторов в компрометации великого учения.

Я видел как он переживал за казалось бы далекие для него дела, видел его осунувшееся лицо и спросил о самочувствии.

— Душа моя каменоломня, где все разбито на куски, — помешивая ложечкой горячий кофе, скупо улыбнулся он. — Хорошо, что дел невпроворот… Вы еще занимаетесь теми угонщиками самолета?

— Дело приостановили. В Турции их судили, но в заключении пробыли они недолго. Турки отпустили их в ФРГ, насколько нам известно. Почему вспомнили?

— Один из них прислал письмо моей знакомой, Ольге Найде, вернее передал.

— Через кого?

Геннадий Иванович рассказал, что электрик из треста, немец, работавший вместе со Шмидтами, побывал у своей

тетки в Западной Германии и там встречался с ними. Он и привез послание.

— Ольга мне сама показала письмо.

—■ Что в нем, если не секрет?

Геннадий Иванович достал из папки письмо.

— Ничего особенного. Вспоминает, как он ее преследовал, сожалеет, что она теперь далеко от него и ему не дотянуться до нее. Видимо, был к ней неравнодушен.

Я поинтересовался, как она отнеслась к письму.

— По–моему, совершенно безразлично. Возьмите, может, пригодится.

Я пригласил следователя, который записал адрес Шмид- та–младшего. Письмо мы не взяли.

— Опять Ольга, Алексей Иванович, — сказал Зорин. Видимо, следует допросить того, кто привез письмо.

— Решим, — сказал я Зорину, с тем, чтобы не обсуждать этот вопрос при Гришанове.

38

В раскручивавшуюся митинговую эйфорию вплеталась избирательная кампания. Подгоняемая неуправляемыми переменами, Россия митинговала как в семнадцатом году. Тогда каждый мог взобраться на помост и оттуда кричать во всю ивановскую за тех, кто ему были ближе или за тех, к кому примыкал. С тех пор прошло больше семидесяти лет, время было другое. Сила и власть оказались у того,[1] кто держит в руках микрофон. Его захватили те, кто камня на камне не оставлял от прошлого, кто макая веник в бочку с тягучей ядовитой краской, мазал все прожитые последние семьдесят лет чернухой.

Один из космонавтов, из когорты отважных и сильных, выдвинутый кандидатом в депутаты, попытался урезонить мазил, требуя по праву дать ему микрофон на митинге. Толпа зашумела, видя, как оттесняют космонавта.

— Говори, что ты хотел, — не выпуская из рук микрофона, снизошел представитель верховодившей команды из Москвы.

— Товарищи! Наша могучая советская Родина открыла дорогу в космос … — успел он сказать.

— Это мы уже проходили, — с издевкой прервал его рядом стоявший из той компании.

Космонавт еще что-то говорил, но микрофон от него

был уже далеко и его никто не слышал. Так закончилось его выступление.

Главенствовал на помосте злорадствовавший столичный кандидат, привлекавший к себе обывателей скандальной тяжбой с властями из-за своей карьеры. Его натренированная команда без зазрения совести затыкала рот каждому, кто пытался высказать свои трезвые суждения, обратить внимание митингующих на уборку урожая, иначе можно остаться без хлеба; на работу у станков на заводах, иначе нечем будет пахать.

— На митингах–дебошах мы далеко не уедем, сядем на мель, — заявил один из кандидатов в депутаты. Его тут же, по призыву дирижировавшего на митинге, захлопали и освистали.

Кочевавшая же по краю команда не заботилась о хлебе, напевая: «Мы не сеем и не пашем …». Она вытаскивала какую-нибудь домашнюю заготовку, приправленную скандальной архивной историей и подавала ее так, что в толпе раскрывались рты, как на театрализованном шоу.

— Я в суд подал на Рыжкова и Крючкова, — вопил пришелец из Москвы.

Избирательная кампания — новинка, вызвавшая политизацию

масс, набирала обороты.

Я не собирался в ней участвовать, не думал о депутатском месте, однако на одном из заводских собраний был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета России. На этом заводе я не раз бывал, знал его производство и сложности, которые испытывал завод в выпуске продукции, стремился помочь коллективу. Даже затащил на завод секретаря крайкома, чтобы он познакомился с заводскими проблемами и выслушал директора. Обошли некоторые цеха, посмотрели, побеседовали с рабочими и инженерами и даже пообедали в заводской столовой. Секретарь крайкома обещал решить вопросы, связанные с расширением производства и строительством жилья.

Может все это и послужило поводом для выдвижения меня рабочим собранием кандидатом в депутаты. Несколько дней раздумывал, пока не навестил меня Геннадий Иванович, повлиявший на мое решение. Он приехал в город поздравить кого-то с днем рождения и заодно побывать в научно–исследовательском институте, занимавшемся проблемами крепления скважин. Я поделился с ним моими сомнениями.

— Сегодня тринадцатое, чертова дюжина. Но и в этот

день рождались в войну дети. Жизнь брала свое. Правда- дитя войны, мне пришлось поздравить и вручить цветка под забором и в этом не моя вина, но все же, все же… А по сему не гоже, Алексей Иванович, фронтовику отказываться, коль народ выдвигает. Кому же, как не вам, быть депутатом.

После этого разговора я дал согласие баллотироваться по избирательному округу. Никакого опыта участия в избирательной кампании у меня не было, как не было и команды, которая бы со знанием дела проводила избирательные мероприятия. Уже дав согласие, я терзался мыслью о снятии своей кандидатуры, видя нечистоплотность, закулисные сговоры по формуле — ты мне, я тебе, интриги, оскорбления и юхевету со стороны одного из тех, кто лез напролом. У него был завод и деньги, заводские, а следовательно сила. Он не скупился на громогласные обещания сделать жизнь райской, еще до построения коммунизма, на который он часто ссылался в своих речах. Я не мог лгать, обманывать людей, не мог идти по головам к депутатскому креслу, как и не мог обещать увеличить зарплату, обеспечить бесплатными обедами женщин на заводе.

От навалившихся переживаний, которые я держал в себе, от бесконечных раздумий о людях, которых я узнавал в ходе предвыборной кампании, о их лицемерии, не известном доверчивым избирателям, почувствовал боли в сердце, месторасположение которого я точно не знал. Обратился к врачу.

Предложили обследоваться в стационаре.

На свою беду, ничего не подозревая, я попал к врачу-экспериментатору. Меня отпугивал его холодный, безразличный взгляд, таивший надменность, неприязнь к пациенту. Он как бы отбывал повинность, обходя больных, держал меня в какой-то неопределенности. Поначалу не находил ничего угрожающего и даже собирался меня выписать. Об этом мне по секрету сказала тихо сестра, молодая женщина с безупречно чистым, греческого стиля лицом, словно изваянным античным скульптором.

Ее белый халат, белая косынка на голове с вышитым крохотным красным крестиком придавали ей строгий вид сестры милосердия и отличали от других сестер, непрерывно сновавших по больничным коридорам. Она —- Ирина, представлялась мне идеальной сестрой, всегда чем-то озабоченной, наделенной милосердием природой, без чего

медицинская сестра — не сестра, а бесчувственный надзиратель.

Она редко улыбалась. Но, когда на ее лице расплывалась улыбка, она была целительной, на какое-то время унимавшей все болячки, становилось светлее и уютнее на душе.

Она приносила таблетки, делала инъекции, каждый раз поправляла одеяло или взбивала тощую больничную

подушку.

Мне казалось, что она сопереживала мое вынужденное пребывание на скрипучей палатной койке и поэтому я верил ей больше, чем мудрому врачу.

— Отдохните, — однажды сказала она, взяв у меня из рук книгу.

Полистала, посмотрела на обложку, вздохнула и положила на тумбочку.

Я читал «Жизнь взаймы» Ремарка. Понимал, что не совсем подходящий сюжет для больницы, но и не худший вариант, поскольку автор в повествовании утверждал личную порядочность обреченных, простых смертных, противопоставляя представителям высшего общества, которые гнили заживо во лжи и подлости, но не брезговали никакими приемами за место под солнцем. Что-то подобное проявлялось и у нас.

— Хотите я принесу вам что-нибудь другое? — спросила Ирина.

— Что? Я не читаю все подряд, я пленник своих представлений о земном бытие, пленник своей мечты…

— «Подругу французского лейтенанта» Джона Фаулза читали?

— Не читал. О чем она? В двух словах…

— Книга захватывающая. Человеку в жизни предписывается жесткий выбор норм поведения. Эти нормы нередко подавляют человеческое чувство, устанавливают ложные моральные ценности, уродливые, циничные, но многие пристраиваются к ним и успешно ведут свою партию, добиваясь своего.

— Принесите. То, что нужно.

Книга увлекла меня загадочностью с первых страниц. Я спрашивал себя, что находила в ней Ирина и невольно искал что-то общее между героиней и сестрой. А через некоторое время вообще терял ощущение грани в своих сравнениях из-за того, что мне уже хотелось, чтобы Ирина походила на Эмили Вудраф. А, может, у сестры тоже

была тайна, о которой она мне не говорила? Нередко Ирина о чем-то задумывалась, отрешаясь от всего и тогда я видел негодование на ее лице.

— Вы больше меня знаете, что у нас много похожего на то, о чем пишет Фаулз, — услышал я от сестры. — Преуспевают те, кто следует далеко не чистоплотным «правилам игры», принятым нашими «джентльменами». Доходят до того, что даже больных не оставляют в покое.

— Что вы имеете ввиду?

— Если не выдадите, Алексей Иванович?

— Боже упаси…

— На днях приходила одна особа и интересовалась вашим здоровьем. Как долго вы будете еще у нас? Я ухожу в отпуск и должна была вам сказать.

— Кто она?

— Доверенное лицо директора завода. Она приходила к доктору, а его не было. Я с ней говорила, а потом они долго с глазу на глаз беседовали. Больше ничего не знаю.

Я насторожился. Сестре ничего не сказал. Я понимал, что «забота» о моем здоровье должна проявиться в предвыборных махинациях.

При очередном обходе я напомнил доктору о выписке. Не. раздумывая он предложил мне проверить мотор под нагрузкой. Я не знал как мне поступить, но отказываться не стал.

— Походите километров пять вокруг сквера…

— Это для вас не нагрузка, — послушав меня после такой разминки, сказал врач.

Я с удовлетворением воспринял такое заключение доктора.

— Повторим. Десять кругов вокруг сквера по периметру быстрым шагом и сразу ко мне, снимем кардиограмму.

Я добросовестно выполнил его рекомендацию, но на второй этаж еле поднялся. В глазах у меня потемнело, голова кружилась,

я держался за перила, чтобы не свалиться на лестнице. Не знаю как я лег на кушетку, не помню, как прикрепляла сестра датчики. На какое-то время сознание отключилось.

— Так у вас же инфаркт, — сказал хладнокровно врач, когда я пришел в себя. Я не знал, что это значит. Чувствовал только боль и тошноту. Мне дали какую-то таблетку.

— Лежать и не вставать. Кормить будем в палате, в кровати.

Я ушел. Меня тут же начали колоть, давали таблетки,

от которых, как мне казалось, усилились боли в сердце. Я об этом сказал доктору. Таблетки не помогали. Он не знал, что же дальше, как меня лечить. Я это понял по его растерянному лицу, хотя он стремился этого не показывать, оставаясь с непроницаемым видом. Через несколько дней я вышел из палаты в сквер на свежий воздух. Рабочий день уже кончился, все врачи разошлись, а мой лечащий почему-то задержался. Увидев меня, он подошел с портфелем в руке, не спросил о самочувствии, смотрел как на какой-то предмет, припоминая, что же хотел сказать.

— Вам надо ехать в Москву. Вам показана операция.

Он еще что-то говорил невнятным голосом, но я его

больше не слушал. Да и он шел домой, на ходу предлагал мне операцию не где-нибудь, а на сердце. Я не стал его задерживать и упрекать, что он своим экспериментом довел меня до такого состояния.

С нелегкими мыслями я переночевал в палате. Утром собрал все в портфель и убежал из стационара, чем вызвал переполох у всего персонала. Знакомый профессор взял шефство надо мною, возмущаясь тем, что мне устроил экспериментатор. Между тем избирательная кампания набирала обороты, а я должен был придерживаться заданного профессором режима. Безнадежно отставал в активности от претендентов в депутатский корпус. Появились на заборах листовки с наветами в мой адрес усердствовавшего директора завода, шедшего в открытую против меня. Я же такого допустить не мог, строго придерживаясь закона. Позвонил в избирательную комиссию, указал на нечистоплотность «противника».

— Если не прекратится такое, я вынужден буду снять свою кандидатуру. У меня же на листовки денег нет и ответить ничем не могу. Меня отговаривал секретарь горкома, заверяя, что он на моей стороне. Это была ложь. Между ними был заключен альянс. Сам секретать боролся за избрание и нуждался в его помощи.

— Партия лежит плашмя и лучше ей не вмешиваться в выборы, — говорил мне секретарь горкома. — Только навредит…

Это было для меня ново. Везде партии борются за своих

кандидатов и вдруг такое мнение. Моя избирательная платформа в защиту России, обновления нашей жизни, очищение от всего наносного, проведения реформ в рамках социалистического выбора, как это предлагала партия,

находила полную поддержку избирателей, где мне пришлось выступить.

Народ своим трудом создал супердержаву. С этим надо было считаться и не разваливать государство, а укреплять его.

После пребывания в стационаре, ко мне в кабинет ворвался довольно самоуверенный молодой человек, но уже успевший защититься и возомнивший из себя ученого, с предложением о сотрудничестве в избирательной кампании, что должно, как он просчитал, принести успех мне и ему. Я насторожился.

— Что конкретно вы имеете в виду? И почему обращаетесь именно ко мне?

Он как игрок не сразу раскрывал карты, но вынужден был изложить свои планы.

— Ваша контора располагает уникальными материалами и грешно было бы сидя на них не использовать. От вас исходят все головокружительные сенсации. О них пишут и говорят. Обыватель на них не то что клюет, а глотает. Умопомрачительную карьеру делает Калугин. Дайте мне что-нибудь такое, чтобы зажечь ярким огнем рекламу.

— Саморекламу?

— Привлечь к себе внимание публики… И, конечно, к вам.

— Каким образом?

— Я ставлю перед вами в одном из своих выступлений громкогласно вопрос о реабилитации…

— Кого?

— Надеюсь, вы мне подскажете такое дельце. Упускать возможность никак нельзя. Нельзя отставать от моды, — распалялся кандидат в депутаты, упиваясь своей идеей.

— Ну, как же… Давайте реабилитируем Сорокина, бывшего Главкома на Северном Кавказе. Колоссально!..

— Мы не можем реабилитировать никого. Это дело прокуратуры и суда.

— Нам важно вытащить этот вопрос, взбудоражить избирателей громом среди ясного неба, а там и трава не расти.

— Но это же авантюра!

— Я бы не сказал столь категорично, — не обиделся кандидат в депутаты. — Есть, конечно, элементы риска. С этим я согласен. Рискнем? Все окупится, — уговаривал он меня.

— Вы что-нибудь знаете о Сорокине?

— Кое-что читал. Литературу…

— Дело Сорокина, вернее история его измены, известна каждому школьнику. Вы можете промахнуться, ставя вопрос о его реабилитации.

— Если начистоту, мне до лампочки его реабилитация, — доверительным тоном сказал кандидат. — Главное — пошуметь и извлечь из этого пользу. Сейчас все так поступают, чтобы пробиться. Все останется между нами. Слово джентльмена.

— Мы же с вами не американцы. Не могу вам помочь. В авантюрные игры не играю и вам не советую, — с трудом сдерживая свое возмущение, сказал я ему.

Разочарованный любитель скандальных Приключений ушел ни с чем. Он был не одинок. Многие кандидаты походили на моего собеседника — «джентльмена», надеявшегося прославиться, заявить о себе каким-нибудь дельцем, как и шумливый кандидат из директоров.

Что-то похожее было и у того секретаря горкома, принесшего после его избрания свои извинения. Я их не принял, оставив на его совести двуличие. Теперь оно совсем обнажилось.

Вскоре меня еще раз выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета Российской Федерации, даже зарегистрировали, но я снял свою кандидатуру, опубликовав заявление об отказе участвовать в нечистоплотной игре.

39

…Геннадий Иванович считал себя в неоплатном долгу перед Ольгой. В ожидании нервно ходил взад–вперед на улице, полагая увидеть ее озабоченной, ждущей встречи с ним. Он даже приготовился как-то успокоить ее, сказать, что солнышко по–прежнему светит из голубого поднебесья, а если набегут тучи, грянет гром и застучит по крышам град, то это ему еще больше по душе: разыгравшаяся стихия всегда близка его натуре потому, что после нее природа благоухает, мягко светит солнце, то самое, которое по ее уверению ни с чем не сравнимо, которому она молилась как Богу. (Его она называла — мое Солнышко).

И вдруг он увидел ее улыбающейся, без тени каких бы то ни было забот и огорчений, навеселе как после выпитого шампанского, которое она очень любила и, поднимая бокал, клялась всем земным в своей преданности ему до конца своих дней. Правда, Гришанов иногда сомневался

в этом. Она пришла в красном платье, белым горошком, с глубоким вырезом, словно нарочито, чтобы бросить вызов. Ему нравилось это платье, из купленного им материала и сшитое по его заказу, но сейчас оно только раздражало его.

Он хотел ей сказать многое, но оно улетучилось, как только она снисходительно подала ему руку. Он был настолько ошарашен, что не находил слов, не понимал происходившего на его глазах, как в театре, перевоплощения.

— Что с тобой?.. Это ты?

— Как видишь, — пыталась она как-то уйти от объяснения.

— Не понимаю тебя.

— Не надо об этом. Обстоятельства изменились, трудно стало встречаться…

Гришанов все понял, но тут же зачем-то спросил, словно хотел убедиться она это или нет. Похоже, что перед ним стоял другой человек.

— Да или нет? — хотел он тут же услышать на месте, где они стояли и почувствовать ее присутствие.

Она потупила глаза, помолчала. Лицо ее снова обрело прежний вид — довольный и удовлетворенный. Именно удовлетворенность поразила его. Но он ждал, что она скажет. Смотрел на нее так, что ей стыдно все же стало перед ним, которого она боготворила.

С ответом она тянула, потом попыталась как-то отмахнуться от его настойчивости сказать ему правду.

Так и не услышал ответа, кроме того, что все остается, ничего

не изменилось, чтобы как-то успокоить его.

— Значит ты обманывала меня все эти долгие годы. А какие письма писала. Они же у меня все целы и я их читаю.

— Нет, — выдавила она из себя, начиная понимать, что разговор принимает серьезный оборот. — Писала, не думала… Я не обманывала.

— Не верю, нет…

— Я тебя любила.

— Любила? — горько усмехнулся он.

Она не смотрела ему в глаза. Даже чуть покраснела. Гришанов вздохнул тяжело и хотел уйти.

— Давай на время прервемся. Время покажет… Все так наглядно. Все знают. К тому же я больна. Приходит не вовремя: то рано, то задерживается… У меня сейчас депрессия на новых. Было плохо моему, пришлось скорую

вызывать, — чуть ли не слезливо лепетала она, пытаясь разжалобить его. Ему хотелось сказать, что еще вчера она уверяла его в том, что она не любит и никогда не любила того, .кому было плохо. Все эти доводы она сочиняла на ходу. Гришанов притих некоторое время молчал.

— Знаешь что… Я советую тебе вызвать сестру или поехать куда-нибудь подальше, — с холодной рассудительностью сказала она.

От последних слов ему стало не по себе. У него навертывались слезы. Его за живое задела циничность этих забот.

— Бог с тобой… Поступай как знаешь. Только обмана я не прощу. Считаю это оскорблением. Кто же прощает оскорбление? На дуэль я вызвать тебя не могу. Это не угроза и не месть. Я буду молить Бога, чтобы он наказал тебя. Буду! — сказал Гришанов грозно.

— Обожди, — спохватилась она. — Что ты задумал? — хотелось ей узнать.

Она забеспокоилась — что может последовать? Даже высказала свои предположения вплоть до шантажа. В ответ он укоризненно взглянул на нее и сказал: Solch ein Blödsinn{Что за чепуха(нем.)},- чтобы она не поняла.

— Ну, что ты так?.. Выдумываешь…

Ощутив ее стремление избавиться от него, Гришанов решил, не простившись уйти.

— Не знаю, как хочешь… — равнодушно сказала она.

Пока длился этот тягостный разговор, прогремела гроза, отшумел проливной дождь, образовавшийся мутный поток на улице нес всякий хлам, остановился транспорт.

Он уходил от нее- промокший, впервые осознав, что Ольга

жила заботами мелкого торгового служащего, да и выглядела она в этот раз в мокром, прилипшем к телу платье и прядями раскисших волос, обнаживших голову, довольно невзрачно, бесцветно, чего раньше не замечал.

Лермонтовские и Тютчевские мотивы их бесед не повлияли на нее. Как он заметил, она увлеклась подкрашенными камушками дешевой бижутерии, красовавшимися на мочках ее ушей. По телу бежали мурашки от ее жалкого вида.

— Пока… — услышал он позади ее последнее слово, резанувшее его слух.

После этого «пока» она словно совсем обнажилась перед ним и он увидел ее такой, какая она есть без всех

[1] Что за чепуха (нем.).

идеалов, которыми он сам ее украшал. Созданный им в своем воображении тютчевский образ любимой женщины, сказавшей: «Ты мой собственный», рассыпался как глиняный горшок, сработанный деревенским гончаром на первой же дорожной рытвине, тряхнувшей воз.

Ему хотелось развести костер, сбросить с себя все и предать огню, а пепел сам по себе разнесется ветром и ничего не останется от того к чему она прикасалась. Это принесло бы ему облегчение, но только на время, пока бы горел костер. Нельзя сжечь ни на каком огне воспоминания о прошедшем. И я стал его невольным свидетелем.

40

Полковник Колпашников, опустив голову, осторожно шел по скользкому тротуару, не посыпанному песком.

Затянутое плотной пеленой бледных облаков небо, сеявшее снег с дождем, разнывшаяся старая рана, балансирование на каждом шагу, как на канате, чтобы удержаться и не упасть, душевное самоистязание нагоняли на него мрачное настроение.

С трудом пройдя половину дороги по грязной жижице городских улиц, Иван Васильевич пожалел, что не усидел дома, но сам перед собой оправдывался вынужденными обет оятел ьств ам и.

Кружившийся перед глазами лапчатый снег плотным слоем налипал на шапку и плечи серого пальто, пошитого из материала, когда-то полученного на парадную шинель. Но шить новую шинель не пришлось.

…Начальник военного училища, полковник Рвинский неожиданно вызвал к себе на беседу Колпашникова, служившего старшим преподавателем, и без всяких вступлений и подходов сразу пошел на прямую:

— Не будем, полковник, тянуть кота за хвост. Мы люди военные…

Колпашников насторожился в ожидании чего-то непредвиденного.

— Пора вам на заслуженный отдых. Календарная выслуга у вас есть, плюс фронтовые. К тому же, как доложили мне медики, дают о себе знать ранение, что заметно, и другие болячки.

Начальник, видя, как хмурилось лицо полковника, запнулся на полуслове, умолчав, что не терпит в строю хромых. Но до Ильи Васильевича доходили эти слухи

и он понимал, что у Рвинского было на уме в этот момент.

Колпашников слушал молча. Все это он и сам знал, готовил себя к уходу в отставку, но такой разговор задел его за живое.

Телефонный звонок прервал начальника. Он перед кем- то похвалялся скорым присвоением ему генеральского звания.

— Я выйду, — сказал Илья Васильевич, — не желая слушать то, чего он не переносил. Начальник снисходительным жестом руки велел оставаться на месте.

—. Пойдете на пенсию… — сказал он, кладя трубку.

— Не на пенсию, а в отставку, — заметил Калпашни- ков, как человек военный, не воспринимавший этого слова.

— Пойдете в отставку, — вынужден был поправиться Рвинский, — будете припеваючи ходить с палочкой, отдыхать.

Сам себе хозяин. Никто вам не указ и не приказ. Военная служба, сами понимаете, не для инвалидов.

— Я на инвалидность не подавал, — возмутился Илья Васильевич. — В палочке пока не нуждаюсь. Как мне жить и как мне умирать — оставьте решение за мной.

Он не терпел уговоров, рассчитанных на успокоение наивных, когда намечался крутой излом жизни. В них ему слышалось оскорбление. Начальник за него все расставил, малевал розовые цветочки кадровому военному, отдавшему армии лучшие годы, преподносил его дальнейшую жизнь не иначе как беззаботную прогулку с тросточкой в руках. Слушая все это, Колпашникову трудно было удержать себя, хотя он и крепился, сжимая до боли сплетенные пальцы рук.

— Когда почувствую, что пора, я сам не заставлю долго ждать. Приду с рапортом, — невольно прорвался у полковника протест, его ответная реакция на беспардонность начальника. — Сам…

— Полковник Колпашников, — перешел Рвинский на официальный тон, — есть Положение о прохождении службы… — Решение принято.

— Кем?

— Мною. Вы свободны. Считайте, я объявил вам об увольнении, — не стал дальше слушать начальник.

— Ну, если вы все уже решили, зачем же тогда приглашать. Действуйте по циркуляру.

На этом закончилась беседа, оставившая горький осадок у Ильи Васильевича. Выйдя в приемную, полковник сразу закурил, надел шинель, папаху и направился к вы

ходу. В учебный корпус не пошел в таком настроении Понимал, что надо было остыть.

Рвинский моложе его, но не очень отстал по годам, не воевал, самоуверенный служака, не церемонился с подчиненными. Илья Васильевич, все это испытавший на себе, твердо был убежден в том, что Рвинскому не дано понять военного профессионала, не приспособленного к другой жизни, и от этого пронизывала его глубокая обида. Но она не мешала полковнику признаться, что пришло время. .Безжалостное время… Как быстро пролетело оно. Илья Васильевич с этими мыслями прохаживался по заснеженному скверу, примыкавшему к училищу, посматривая на часы, чтобы не опоздать в аудиторию к курсантам. Они засматривались на степенного полковника–фронтови- ка, всегда подтянутого, в серой каракулевой папахе, которую он умел носить как никто другой, не надвигая ее на глаза и не сбивая назад по–ковпаковски.

. Сам он восемнадцати лет тоже был курсантом военного училища и после зачисления, когда его обмундировали и рн почувствовал на себе туго затянутый ремень на новой гимнастерке, витал на седьмом небе. Его мечта стать военным — сбьшась!

На втором году учебы грянула война…. В один из осенних дней грохотавшего сорок первого училище подняли по тревоге. Перед замершим строем выступил начальник училища: «… Сейчас нет времени принимать выпускные экзамены от вас. Их вы будете держать на фронте в боях С врагом. И я уверен, что каждый из вас этот экзамен выдержит с честью. Родина никогда не забудет своих защитников!»

Форсированным маршем курсантские батальоны с винтовками и гранатами по запорошенным первым снегом проселкам и полям Подмосковья шли на передовую. Они не знали, что командующий фронтом принял решение закрыть ими образовавшуюся на стыке двух отступивших армий дыру, чтобы преградить продвижение немцев к Москве.

В жестоком бою курсанты не дрогнули перед грозным противником, отстояли свой рубеж, задержав немцев на три дня. В то время, когда казалось, что нет такой силы, которая могла бы остановить немецкие механизированные армады, выжигавшие и уничтожавшие все на своем пути, — это был подвиг молодых, необстрелянных защитников Отчизны.

С той поры четыре года курсант, а потом лейтенант Колпашников перебегал из окопа в окоп, переползал из воронки в воронку, прокопал пол–Европы от Подмосковья до Зееловских высот, попав там в кромешный ад. На них маршал Жуков вынужден был бросить войска в лобовую атаку, чтобы сбить немцев на пути к Берлину, хотя с юга армии маршала Конева находились ближе к имперской канцелярии.

Мало теперь кто помнит, какой большой крови стоили русскому солдату те Зееловские высоты. В атаке пролил там свою кровь и старший лейтенант Колпашников, поднимавший роту на вражеские траншеи, в которых оборонялись обреченные немцы. Оттуда повелась и его хромота, ставшая заметной в последние годы службы. Почувствовав неладное с ногой, Илья Васильевич, после окончания военной академии сам попросился на преподавательскую работу. Но ему, сорокалетнему полковнику, в эпоху «великого» хрущевского десятилетия уже напоминали об увольнении по возрасту и выслуге лет. Тогда в войсках было еще немало фронтовиков с военной жилкой, заступившихся за окопника Колпашникова, вся грудь которого была в орденах и он не попал в миллион двести тысяч, ему не пришлось собирать

чемодан и покидать с детьми комнату в военном городке. Пронесло. «Может, помог, — не раз вспоминал Илья Васильевич, — орден «Александра Невского», как-никак святого». Этим орденом он особо гордился.

Для многих офицеров, таких как он, то были черные дни. Их выталкивали на все четыре стороны с сухим пайком на дорогу и требованием на бесплатный проезд до станции назначения.

…Все это я знал из рассказов полковника Колпашникова задолго до неожиданной встречи с ним у магазина в тот ненастный день. В руках Ильи Васильевича был целлофановый мешочек, в котором виднелось что-то наподобие книги, завернутой в газету. Здороваясь за руку, я невольно задержал свой взгляд на постаревшем лице, к тому же мокром и хмуром. Он заметил мое недоумение, наверное, догадался, но спросил:

— Что так смотрите? Постарел со снежными погонами вместо полковничьих?

— Да нет… Давно не видел, — не хотелось мне его огорчать.

—■ Я и сам чувствую, что сдал. В этой жизни не то что сдать, умереть не трудно, а делать жизнь уже поздно.

— Ну, так уж и поздно… Не похоже на фронтовика.

— Фронтовики нужны были в окопах. Потом о них попели, пошумели, бросили им крохи, вроде бесплатного проезда в трамвае, катайся сколько хочешь, но отобрали гроши за ордена. Нищие мы теперь, но совесть удерживает идти на угол с протянутой рукой попрошайничать. Да и у кого просить милостыню? У таких же нищих? А государство развалили, армию опоганили. Однополчане, наверное, ворочаются в братских могилах, разбросанных от Волоколамска до Трептов парка, а меня трясет лихорадка, хотя горбачевскую демагогию не читаю и телевизионных шоу не смотрю, боюсь от этого варева свалиться, а лекарств нет. По ночам не сплю. Валерианки не могу достать.

— Нездоровится?

— А кто сейчас здоров? Тот у кого миллионы в кармане. Откуда же они у честно служившего офицера, мотавшегося из гарнизона в гарнизон с одним чемоданом? Да я и не хочу выделяться. У меня нет ни дачи, ни машины. Я со всеми, как и все. Так легче, все не один.

Илья Васильевич, еще недавно признанный специалист по реактивной артиллерии, в потертой рыжеватой шапке, а не в высокой папахе выглядел неприметным мужичком, шедшим с авоськой на базар. Его глаза смущенно смотрели на меня. Неудобно было ему в своем одеянии, из-под которого выглядывали защитные брюки с красными кантами.

— Признаться, чувствую себя не в своей тарелке в Штатских

обносках. Носить столько лет форму, а потом напялить на себя вот эту шапчонку…

— Не будем отчаиваться, нам судьбу России доверяли! Неужели она нас забудет, — пытался я успокоить Илью Васильевича, хотя жил с такой же болью и во всем соглашался с ним. — Живем, покуда чуем боль свою и боль чужую.

— Хочешь меня утешить высокими словами. Я понимаю, что не могу что-то изменить, не в моих силах, но от атаки на сыплющиеся на нас сверху прожекты, как вот этот снег–вода, не откажусь. Да и к лицу ли офицерам, поднимавшим солдат в атаки за нашу Родину, помалкивать? По нас ведь лупят из крупного калибра выборочно и по площадям указами и приказами, сокращают, увольняют, разгоняют и нет никому никакого дела — выживешь ты, офицер–беженец или?.. — сокрушался Илья Васйлье–вйч. На минуту он замолчал, но ответа на свой вопрос не находил. — И откуда только на наши головы свалилась такая напасть, этот, теперь уже слава богу, экс…

Я напомнил, что однажды такое на Руси уже было — смутное время, правда, очень давно и, наверное, ратному люду тоже было не легко.

— Как и нам, — раздумывая, сказал Колпашников. — Я — артиллерист, в агропроме мне делать нечего, на заводе тоже. Остается ночным сторожем в школе. Такова судьба уготовила нашему брату. А ведь мы побили хваленых, лощеных прусских офицеров голубых кровей в невиданных сражениях. Немцы, достойные наши противники, поступили все же по–рыцарски. Проникнувшись к нам уважением, наградили меня двумя орденами и платили за них.

— Немцы ГДР?

— Ну, конечно, не ФРГ. Там платят эсэсовскому сословию, оставшемуся преданным Гитлеру. И представь себе — их почитают, впрочем, как и самого фюрера. А на нас льют помои… дома.

— О русском офицерском сословии тоже вспомнили. Правда, поносят Куприна за «Поединок» и Новикова- Прибоя за «Цусиму», за их напраслину на господ офицеров. Один из сторонников этого сословия с таким умилением расписал некоторых известных генералов и офицеров, что хоть в божницу ставь и молись как на святых.

— А что же об офицерах нашего сословия? Одержавших победу в Великой Отечественной?

— Ни слова.

— Понятно. Мы не из белой кости и нас туда не зачислят. Мой дед сохой пахал. Да и все наши маршалы, генералы и

офицеры от сохи, но они не открещивались от боевых традиций русских офицеров, кстати, унаследованных нами от военспецев. Наш советский офицерский корпус вышел победителем на полях сражений! Это ему лучшая аттестация. А после войны стал самым образованным, в совершенстве владеющим современным оружием. Казалось бы по заслуге и честь, но у нас все наоборот. Офицеров держали и держат в черном теле. Недавно меня приглашали выступить в полку перехватчиков. Какие самолеты, какие летчики!.. А некоторые живут у бабок, на частных квартирах в поселке, думают, где бы достать дров или угля, иначе бабка выселит на улицу.

Илья Васильевич все больше проникался не дающими

ему покоя заботами об офицерах и нельзя было не удивляться, как он живет с такой тяжестью на сердце.

Оба мы на какое-то время забылись, что стоим под дождем. Надо было уходить или искать другое место.

— Далеко путь держишь? — спросил я.

— Вот сюда, — показал полковник на вход в магазин. — Ни разу в комиссионном не был.

— Хочешь что-то купить?

— Нет, продать, — приподнял он мешочек в руке.

— Что там?

— Папаха.

— Как? — невольно вырвалось у меня изумление.

— Стыдно, конечно, полковнику продавать свою папаху, да признаться и жаль. Хотел внуку оставить. Но всю пенсию уже отобрал рынок, а до следующей еще тринадцать дней. Решил убить двух зайцев: пополнить потребительские товары и выручить деньгу или голодать как гоголевский Акакий Акакиевич. Но тот вынужден был копить деньги на шинель, а мне… на гроб. Я — изгой. А кому жаловаться? Государству. Так его нет. Не помню кто сказал, но придерживаюсь той же мысли — государство создается для того, чтобы не допустить ада на земле. Это когда тебя душат и приговаривают — ничего, потерпи.

Я достал из кармана сто рублей и протянул ему, понимая, что это сейчас не деньги, но больше у меня не было.

— Обижаешь, — отвел руки назад полковник.

— Прошу, потом отдадите.

— Нет, Алексей Иванович, спасибо. Извините великодушно, — протянул он мне на прощанье руку. — На душе у меня осела перестроечная слякоть, одурманившая народ мутным самогоном. На войне и то было не так страшно, а теперь боюсь сам себя.

Полковник приложил руку к шапке и поднялся по скользким ступенькам.

Снег все валил и тут же таял. С крыши комиссионного магазина ручьем лилась вода. Я почувствовал, как зябко мне стало, хотелось согреться в тепле.

41

После встречи с полковником, полный впечатлений, я по дороге никого не замечал. Небо чуть посветлело и на какое-то время на голову не сыпался снег, с дождем. Много

раз я лежал с открытыми глазами на ветру под таким же дождем и снегом в окопе, но не жаловался на природу. Мне были по душе неистовые порывы бури. Без этого океан превратился бы в болото. Этот день, хлюпающую под ногами слякоть и ноющую ранами душу Ильи Васильевича мне хотелось непременно запомнить и кому-то выговорить за него. Природа здесь была, конечно, ни при чем.

Передо мной, как в тумане, показался небрежно одетый мужчина, словно из ночлежки. Я увидел его небритое лицо, помятую рубашку нараспашку, не менее помятые брюки, башмаки, наверное, в прошлогодней грязи и легкую не по сезону, замусоленную цветастую куртку.

Когда он пахнул на меня табачным запахом от только что брошенной сигареты, до меня дошло, что стоит в мокрой кепке писатель, русский интеллигент, не лишенный таланта. В руках у него была газета.

— Что это вы, Алексей Иванович, все спорите? — показывая газету, уставился он на меня своими серыми, добрыми глазами.

В газете была опубликована моя статья «Боль».

— Я не спорю. Я воюю. Если хотите, давайте поспорим, продолжим затронутую тему. В ней и моя боль.

Он склонен был к идеализации старины в своих мирных тихих диалогах героев, как у гоголевских старосветских помещиков. Почитаешь, и как наяву заслушаешься умиленным разговором Афанасия Ивановича с Пульхерией Ивановной, забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют.

— Глядя на мишуру жизни открытыми глазами, нельзя не спорить, — сказал я. — Блестящее подтверждение этому дает русская литература. Лучшие ее произведения созданы в споре с окружающим миром, с реальной действительностью. Л. Толстой, И. Тургенев, А. Чехов всей силой своего таланта выписали картину русской жизни и вовсе не смаковали романтические иллюзии, а мастерски изобразили барина и русского мужика в споре с национальными чертами характера народа, достоинствами и пороками той эпохи, в которой они жили.

Как талантливые художники, они яркими красками высветили на своих полотнах свет и тени, развалины и гниль

современного им общества. Живучими оказались произведения русских классиков, в которых изображены не героические типы, подобные Орлеанской деве, а безыс–л одна я лень Обломовых, неспособность к плодотворной работе и жизни Онегиных, Печориных, Кирсановых и других, породивших нигилизм Базаровых.

Карамазовщина и Смердюковщина —г вот «герои» того периода России, изобилующего упадничеством и разложением, затишьем перед бурей. Мало способного к созиданию, мат о светлого, сознающего смысл жизни, но упорно ищущего этот смысл в бесконечных интеллигентных спорах и дискуссиях, чисто русского характера.

Вы, конечно, знаете, что русский интеллигент по Достоевскому — в огромном своем большинстве есть не что иное, как умственный пролетарий, ничто без земли под собою, без почвы, международный межеумок, носимый всеми ветрами Европы.

Русская литература, которую мы по праву считаем высоко гуманной, проникнутой высокими общечеловеческими идеалами, подготовила на своих страницах и породила русскую революцию.

Да и сам русский интеллигент, бессильный, безвольный, мягкотелый мечтатель, оторванный от народа со своими идеями, как, впрочем, и интеллигент–большевик — воспитанники русской литературы.

Подобно тому, как война порождает героев, а времена национальных потрясений трусов и изменников, так и литература отражает как в зеркале свою эпоху через воплощение ее в художественных образах.

Трудно было забитому нуждой русскому мужику сориентироваться в безбрежном море идей, доходивших до него в пересказе, подкрашенные теми, кто преследовал уже определенные практические цели.

Писатель, склонив густо поседевшую голову, слушал меня, не проронив ни слова. Наверное, он не совсем соглашался. Это был не его стиль. Он носил с собою в кармане записную книжку и нередко записывал услышанное, особенно, если оно исходило от старушки или старого казака. Их разговор вызывал у него умиление. Мне же хотелось выговориться.

— Толстой и Достоевский изобретали новую религию для русского мужика. Нужна ли она была тогда?

— А сейчас? — спросил он мягко, с подкупающим интеллигентным тоном.

— Сейчас? Возвращают мужика в религию. Вместо жлеба, одежонки и лекарств его кормят молитвами. Интеллигенция тоже

не может определиться, куда и как ей

идти и мужика затуркала, сбивая с панталыку. Попробуйте разберитесь, когда говорят и пишут о белом, но утверждают, что это черное, и наоборот. Выходит — глазам своим не верь. Призывают на помощь духовность. Но это же не сиюминутный лозунг, под которым можно выстроить колонны демонстрантов.

— Опять вы спорите, Алексей Иванович. — Понимаю — писателям надо быть активными, чаще выступать.

— Спорю потому, что там хоть был устав пехотный, а здесь не знаешь, как идти…

Дребезжащий трамвай заглушил и прервал наш разговор. Мы разошлись в разные стороны. Хмурилось небо. Откуда-то издалека доносилось глухое ворчание грома. Наверное, надвигалась гроза, что-то зловещее в такое время года.

42

Понурив голову, Гришанов шел как пьяный, не находя оправдания такому вероломству Ольги.

«И какой же я был дурак, так поддавшись ее заверениям. Не успел закрыть за собой дверь, как она сразу же переметнулась и предала, оскорбив святое чувство. «Я слишком чистым оказался для нее», — пришел он к запоздалому печальному выводу, признаваясь самому себе. Этими словами, где-то вычитанными им и запомнившимися ему, он ранил себя.

Совсем разбитый пришел домой, позвонил врачу, просил приехать и уколоть ему успокоительного. Сердце судоржно колотилось, голова шла кругом.

— Что с вами? — добивалась врач. Она знала Ольгу и даже догадывалась о причинах такого состояния. Он как-то мельком, неосторожно в порыве откровенности проговорился о своей тайне.

— Да, — чуть успокоившись, начал припоминать он. — Мне же говорили… «Подумайте и запомните, бросит она вас, как только вы ей не нужны будете. Я ее знаю. У… притаившаяся змея с томным видом». Что вы говорите? — возмутился тогда Гришанов. — Не смейте! «Вы вспомните меня, — сказала ему молодая женщина со слезами на глазах. Из-за нее я пострадала и ухожу. Не только я. А на вас не в обиде».

Гришанову вернулся этот разговор и он словно очнулся от того, как долго она обволакивала его паутиной лести

и безбожно лгала, прикрываясь высокими словами из стихов. И здесь он увидел оскорбление его увлечения поэзией. Какой же надо обладать жестокостью, чтобы в трудные для него дни убивать его с таким равнодушием. Это тем более невозможно было ему понять, зная всю ее тяжкую жизнь.

Омерзительно хлюпкая жижа!
Я в нее с головою нырял,
Может быть, я из разума выжил
И себя самого потерял?

Он про себя произнес эти слова и ужаснулся, что еще вчера он называл ее ангельским именем.

Человек не властен над своими чувствами. И Гришанов,

глубоко уязвленный, тяжело переживал потрясение из-за любви к Ольге. Отказаться от нее он не мог.

Мрачный и расстроенный он долго вглядывался в ее фотографию и ему казалось, что он угадывает на ее лице истинное настроение, что она не такая.

Ему бы быть поэтом–лириком, а не инженером. Вспомнив чей-то совет — в сердцах считать до ста, а потом говорить, он отложил карточку, так ничего и не решив.

Ночью клубившиеся в голове разные мысли и слова Ольги: «Мы ради других поступились своим счастьем», не давали ему долго заснуть. В ночном бдении он пришел к тому, что у него нет никаких прав так поступать с ней.

Утром, как только проснулся, снова его охватили пере- петии злосчастного дня, но они уже не казались ему такими чудовищными, изводившими его. Таким он был в этом прозаическом мире.

Гришанов собирался на работу с надеждой отвлечься от всех этих переживаний. День так и складывался. В приемной толпились люди с множеством вопросов — от выполнения планов и уборки урожая в подсобном хозяйстве, до дежурства дружинников в поселке и поддержки коллективом одностороннего моратория на прекращение испытания ядерного оружия. Личных проблем перед ним никто не ставил, хотя они были у каждого и подчас далеко не простые, как у него. О них помалкивали, не принято было выходить с ними в свет, так как жизнь делилась на две части — общественную и личную: на трибуне одно, дома — другое. Приоритет отдавался первой, а вторая была в загоне, что предопределялось формулой — «общественные интересы ставить выше личных».

К концу дня уставший Гришанов вышел из-за стола,

заходил по длинному, как вагон, кабинету, ожидая звонка Ольги, но она ему так и не позвонила.

* * *

В тот день я задержался на работе допоздна.

Кто-то постучал в дверь и вслед за этим вошел взволнованный Гришанов.

— Что-нибудь случилось, Геннадий Иванович? — здороваясь, спросил я его.

— Заехал на огонек. В крайкоме ни души.

— Скоро уже петухи запоют, — показал я ему на часы.

— А если не терпит отлагательства…

— Производство или личные дела?

— По личным помню Тютчева заветы: молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои, а производственные зачем же таить и откладывать. Завтра с утра соберутся и скинут ни за что, ни про что. Вот посмотрите, — протянул он мне метровый плакат, напечатанный красными буквами, обнаруженный им на двери своего кабинета.

«Товарищи рабочие!

Сегодня вся страна ведет перестройку! Экономика набирает ускорение. Но ваши руководители т. т. Елизаров А. В., Пелипенко Ю. Е., Седаков В. И., Гордиенко А. В., Гришанов Г. И. не сумели организовать вас на выполнение плана по производству товарной продукции, производительности труда по нормативно чистой продукции (99,2%).

Почему же вы не идете в ногу со всей страной? Почему тянете назад? Какое же это участие в перестройке?

Нам очень хотелось бы верить, что вы найдете в себе силы встряхнуться…

Крайком, Крайисполком,

Крайсовпроф, Крайком ВЛКСМ».

— Кто мог придумать такое, Алексей Иванович? — спросил Гришанов, как только я закончил читать. — Крайком овцы?..

Для меня это было полной неожиданностью. Я пожал плечами.

С некоторых пор бушевали страсти на заводах, директоров снимали, выгоняли и тут же выбирали новых, далеко не всегда лучших. Текст плаката подбивал ретивых перестройщиков к расправе над руководителями предприятий.

— Я больше того переживаю за план, кто корпел над этим плакатом. Уверяю!.. Цицерон еще до нашей эры

говорил, что бумага все терпит. Это продукт ускорения болезни, — постучал Гришанов по разостланному на столе

плакату.

— Какой болезни?

— Чиновничьей.

Я понял Геннадия Ивановича, но чтобы как-то отвлечь его от беспокойных раздумий, спросил — не откопал ли он эту болезнь в медицинских канонах Авиценны.

— Да вы больше меня знаете, что эпидемия началась, когда настежь открыли двери в партию. И хлынули в нее разного рода приспособленцы и заполнили кабинеты. Они и стали носителями чумного вируса. Появился партийный чиновник–профессионал. А это, — указал он на плакат, — образец его новейшей технологии. Если бы этим дело кончилось… Болезнь загнана вглубь: чиновник

с пренебрежением смотрит на труженика, прозвав его работягой, а работяга, себе на уме, — сквозь пальцы на его «ценные» указания. Больше того, он все меньше стал заинтересован в организации, где сидят партийные начальники, хотя она должна быть его кровной организацией. Меня лично эта ситуация давно настораживает. Думаю, появилась опасность, — не помню кто о ней предупреждал, — опасность того, что власть будет отделена от народа и под именем социализма рабочий класс создаст правящую бюрократию, которая отделится от этого класса. Не менее опасен и бум негативщины, как снежный ком, скатывающейся с горы, подминающей под себя много доброго, разумного.

Геннадий Иванович остался у меня ночевать и «дискуссию» мы с ним продолжили. Плакат я оставил у себя для разговора с секретарем крайкома, сочинившим его.

43

Уже с Полозковым все по тому же маршруту, проложенному его предшественниками, мы отправились в Сочи встречать Б. Ельцина.

Радио и телевидение, газеты и журналы подхватили его новое назначение на высокий пост в Москве. Фамилия людям ни о чем не говорила, но судя по тому, с какой надеждой она произносилась и с каким новаторским усердием он принялся за работу в столице, можно было полагать, что он энергичный партийный руководитель, подающий надежду. Вопросов в Москве больших и мелких накопи

лось много, немало было и сложных проблем, требовавших неотложных решений.

Громадный город, почти с десятком миллионов жителей, а с приезжающими и отъезжающими и того больше, целое европейское государство, заметно терял свой столичный вид, как-то на глазах превращался в обыкновенный провинциальный запущенный городок, только суетливый, куда-то бегущий толпами между высотными домами. От колыхающегося людского моря на привокзальных площадях рябило в глазах, к прилавкам не протолкнуться, в магазинах давка, а в домах теснота, как в пчелиных ульях.

Люди острили, пересказывали в очередях анекдоты о том, что в некоторых магазинах даже мертвые, зажатые у прилавков, могут еще несколько часов ходить. Нашествие иногородних из Тулы, Твери, Рязани, Владимира и других городов дополняло несусветную толкотню, особенно при посадках в пригородные электрички, развозивших вечерами тех, кто приезжал в Москву за продуктами. Все они были обвешаны тяжелыми, увесистыми сумками и пробиться в поезд можно было только незаурядной силой. Каждый вагон брался штурмом. Из тех городов продовольствие изымалось в Москву и тут же вывозилось обратно.

Новый руководитель начал заниматься городом с транспорта, обвинив своего предшественника в том, что тот запустил коммунальное хозяйство, так как видел столичные улицы из служебного автомобиля, не знал жизни миллионов людей, пользующихся ежедневно троллейбусом, скрипучим трамваем, автобусом. Они были не только переполнены, но и ходили вне графика движения, а многие вообще не появлялись на линиях из-за неисправности, стояли в автопарках. Сказано — сделано. Газеты и радио преподнесли как сенсацию, что Ельцин ездит

городским транспортом, отказался от положенной ему автомашины, ходит в стоптанных туфлях, которые недавно отдавал в починку.

Ничего сенсационного в этом не было, если вспомнить премьер–министра У. Пальме, предпочитавшего пешком ходить на работу и в кино, которое посещают все простые смертные. Шведы не делали из этого представления на телевидении, не устраивали многочасовых пресс–конференций и выступления его перед партактивом социал–демократов.

Шло время, транспорт в столице работал с перебоями, москвичи, надеявшиеся на скорые перемены, разочарован

но роптали. К тому же заметно ухудшилось снабжение города продовольствием. Было над чем задуматься. Не лучше ли было в застойный период. Ответы на многочисленные вопросы партактива хотя и были новшеством в политической жизни, однако ничего не вносили в решение практических проблем, не увеличивали в магазинах продовольствия. Полки, прилавки заметно становились беднее, а потом и совсем опустели.

— Что делать? Что делать?..

Обещаниями и разъяснениями, даже ссылками на то, что во всем виноваты смещенные отцы гоооода, людей не накормить.

— Начнем с обеспечения столицы овощами. Каждая область должна открыть в столице фирменные магазины, ларьки по продаже овощей, мяса, рыбы, всего того, что производит область или край. Насытить столицу шумными ярмарками–балаганами, на которых должны выступать самодеятельные коллективы. Казалось, лед тронулся, в Москву со всех сторон покатились с мясом и рыбой рефрижераторы, грузовые автомашины, овощи и фрукты везли железнодорожными составами. На Черноморском побережье ребятишкам отказывали в пионерлагерях в клубнике, а пока она грузилась в самолеты и ее доставляли в Москву, спелые ягоды портились и выбрасывались на помойку.

В областях и краях роптали на то, что оскудел местный рынок, не достает продовольственных товаров, опустели прилавки в магазинах, но запущенный конвейер по снабжению Москвы все еще двигался, но уже только по инерции.

Ельцин сетовал на игнорирование снабжения Москвы и прежде всего Кубанью. Об этом и шел разговор Полозко- ва с Борисом Николаевичем во время сопровождения его по г. Сочи. Тогда они впервые встретились в ранге первых секретарей. Гостю старались показать все, чем богат и достопримечателен курорт. Он снисходительно слушал Полозкова и так же снисходительно осматривал магазины, кафе, киоски, мясокомбинат, туркомплекс «Дагомыс» и другие объекты. С ним следовала супруга, внуки и

еще какая-то родня, целая компания. Ельцин по дороге от одного объекта показа к другому рассказывал еле успевающему за ним на высоких каблуках Ивану Кузьмичу, что побывал за границей и был удивлен обилием овощей на

улицах у магазинов самого широкого ассортимента, подходи и бери, цена обозначена. Никаких очередей.

— Вот так бы и нам надо организовать торговлю. Все дело в предприимчивости торговых работников, — утверждал Борис Николаевич.

Он скептически относился к организации торговли в Сочи, но ему понравился цветной, ярко раскрашенный, плотный материал на «зонтиках», под которыми торговали мороженым и другой мелочью.

— Вот такая практичная, яркая ткань и нужна для торговых организаций Москвы. Надо, чтобы все было красиво. Умеют на Западе разложить овощи в лотках, прикрыть их от дождя и солнца, а у нас до этого не додумаются, все под открытым небом гниет и пропадает. Не умеют торговать подмосковные совхозы в столице, у них же уйма овощей, а многое остается в поле под снегом.

Какой же выход? Почему нельзя организовать бесперебойный конвейер по их доставке в Москву? На этом рассуждения московского гостя обрывались. Можно было уловить, что кто-то в этом виноват. Но почему?.. Оставалось без ответа.

В туркомплексе «Дагомыс» после его беглого осмотра состоялся обед за длинным столом, накрытым по высшему классу, предусмотренный администрацией для иностранцев.

В затемненном зале сидел за пианино маэстро и перебирал фрагменты из сонат Бетховена, пока шел довольно продолжительный обед. Шумели кондиционеры. Официанты в белых рубашках с черными бабочками стояли за спиной гостей с бутылками и белыми салфетками на руке, наливая в рюмки, по выбору гостей: коньяк, водку, грузинские вина, шампанское. Кто что желает. Обед закончился вкусным мороженым. Замолкло пианино. Удовлетворенные обедом гости покидали прохладный зал.'На улице палило солнце. Черные лимузины у подъезда поджидали гостей. Директор комплекса любезно проводил гостей, распрощался у машин.

После застолья повторились разговоры, которые вел Соломенцев, а потом Рыжков, другие государственные деятели. Если бы их послушали простые смертные, над которыми они стояли и поглядывали на них с высоты своего «величия», то непременно удивились бы беспросветности их мысли, не говоря уже о государственной мудрости, на которую слепо надеялись й

ждали, что наконец–то

они выведут страну на широкую дорогу, ведущую к нормальному, ну хотя бы сносному обеспечению жизни народа, заслужившего это своим трудом, жертвами, страданиями.

В свое время Э. Хемингуэй не побоялся бросить правителям Америки уничтожающий упрек: «Теперь ведь нами правят подонки. Муть вроде той, что осталась на дне пивной кружки, куда проститутки накидали окурков». Эти слова можно адресовать и неудавшемуся трактористу и комбайнеру, развалившему великую державу и обрекшему великий народ на нищенское существование.

Что-то близкое можно найти почти в каждом письме ветеранов, проникнутом щемящей болью за судьбы Отечества, которому они отдали все, что у них было в жизни, но оказались обманутыми, получив в годы «перестройки» статус потерянного поколения:

«…Разве мы думали, когда защищали страну от фашистской чумы, что придем к такому позорному концу, — писал один из них. — Гитлер с его великой европейской армадой не смог развалить наше государство и поколебать дружбу народов. Народ был един. У нас, у фронтовике®, совесть чиста. И за послевоенный период нас упрекнуть не в чем. Трудились в поте лица, в считанные годы подняли страну из руин, жили с подтянутыми животами, но были горды и жизнерадостны. Песни тогдашней поры запомнились народу, их поют».

Прошло несколько лет… Приезжавший на Черноморское побережье гость пробился к власти.

Тот визит в курортный город остался в памяти по разговорам о прочности пестрой привлекательной ткани для навесов над торговыми точками.

Ивана Кузьмича занимала другая проблема — емкости для свежей рыбы.

— Послушайте, мы же сидим на рыбе, — говорил он много раз на бюро, — а в магазинах безрыбье. Товарищи, дорогие, это же стыд и позор. В Белгороде такая там рыба, а в магазинах круглый год. Начнем с изготовления на наших заводах емкостей для магазинов, запустим в них рыбу и торгуй…

Сварили несколько чанов, но и в них рыбу не запустили.

Иван Кузьмич, давно мечтавший уехать из края, отбыл в Москву.

Шли дожди, палило солнце, на Кубани зрели богатые урожаи овощей, в прудах, отвоеванных у плавней При–аэовья, кишела рыба Однако в Москве не понадобились навесы, а в Краснодаре — чаны — торговать нечем. Ни овощей, ни рыбы.

Натерпевшийся за свои диссидентские, как считалось раньше, взгляды, историк Р. Медведев пришел к выводу, что «год правления» Б. Ельцина привел к еще большему расстройству экономики России, падению промышленного и сельскохозяйственного производства, обнищанию народа, упадку культуры, науки, всех сфер общественной жизни».

Ельцину и Полозкову предстояло встретиться, выяснить свои отношения, померяться неравными силами за высокий пост.

* * *

…Вернулись в Краснодар. Велено было встречать Раису Максимовну. С нею прилетели дюжие охранники, которых она часто меняла. По пути из аэропорта Раиса Максимовна, следуя на квартиру родителей по весьма печальному поводу, не удержалась от соблазна показать себя на будничной городской улице, покрасоваться перед людьми даже в такой день.

— Остановите машину, я хочу поговорить с народом, передать привет от Михаила Сергеевича, — сказала она на многолюдном перекрестке у трамвайной остановки. — А то распространяют разные слухи о нем, а он с головой ушел в перестройку.

Остановились. Она подошла к женщинам со своей жеманной кислой улыбкой, никак не располагающей к ней собеседников. Они смотрели на нее как на экран телевизора, на котором она довольно часто появлялась одна или со своим супругом. Одни удивлялись этому неожиданному видению, другие, поджидавшие трамвай, спешившие на рынок за дорогой, как всегда на Кубани картошкой, отнеслись весьма прохладно, без всяких восторгов к моднице, даже с неприязнью. Уж слишком намозолила она всем глаза тем, что лезла везде впереди президента и меняла наряды, тогда как женщины с сумками метались по городу, чтобы достать где-нибудь вдруг исчезнувшие ткани на платье или юбку. Начавшееся горбачевское кооперативное движение и появившиеся кооператоры–дельцы и спекулянты вычистили магазины, в которых полки ломились от разноцветных тюков.

С этого и началось углубление перестройки.

Разговор по примеру Михаила Сергеевича, набившего руку на популизме, не получился. Она не знала что сказать женщинам на трамвайной остановке, а они, посматривая на нее, мало чем интересовались. Да и не время было останавливаться. Крайком, лично первый секретарь И. Полозков и Управление КГБ, занятые организацией похорон ее отца, ждали Раису Максимовну, чтобы

уточнить время прилета Михаила Сергеевича и приготовиться к его встрече.

— Брежнев не расставался со своими звездами, а Горбачев со своей Райкой. Где же он? Как же без нее? — кто-то спрашивал в толпе с расчетом, что она услышит. Зашевелилась охрана. Все было спокойно. На этом встреча с народом закончилась.

Охранник услужливо раскрыл перед ней дверцу автомашины, и она молча уселась на заднем сидении. По ее искаженному от разочарования встречей лицу видно было, что осталась недовольна горожанами. Может даже слышала ту едкую фразу, выстреленную не в бровь, а в глаз.

Раиса Максимовна остановилась на афипской даче, а не у своих родителей. Первый секретарь выразил ей соболезнование и ждал ее распоряжений. Она поднялась на второй этаж в роскошные апартаменты. И. Полозков терпеливо ждал ее внизу в вестибюле, усердно читая газеты и нервничая от того, что слишком долго она не появлялась.

Наконец в воздушном голубом пеньюаре, а не в траурном одеянии, она словно парила спускаясь по лестнице.

— Где тут у вас «ВЧ»? — спросила первая дама. — Я позвоню Михаилу Сергеевичу.

Ей показали комнату, она важно проследовала туда.

Перед этим кандидат в члены Политбюро из Москвы уже наводил у меня справки, как встретили Раису Максимовну, а потом пригласил Ивана Кузьмича и просил докладывать по «ВЧ» ему по всем вопросам, о всех ее пожеланиях.

Разговор Раисы Максимовны с Михаилом Сергеевичем затягивался.

Увидев ее в таком ночном убранстве, мне стало не по себе и я постарался уйти, чтобы больше ее не видеть, а первый секретарь остался, дабы не впасть в немилость коварной и всемогущей Раисы Максимовны.

На следующий день самолетом доставили из Москвы огромную бронированную автомашину, а вслед за нею прилетел и сам генсек с многочисленной охраной во главе с генерал–лейтенантом, начальником Управления охраны,

которого он в августе 91–го поспешил разжаловать в рядовые и засадить в «Матросскую тишину».

Кавалькада автомашин в сопровождении «мигалок» пронеслась по городу и пристроилась к траурной процессии недалеко от кладбища

…В тот же день, возвращаясь в Москву, по пути в аэропорт, Михаил Сергеевич велел остановиться на перекрестке, где выходила к народу Раиса Максимовна. Необычная черная

машина, напоминающая танк, привлекала внимание прохожих. Собралась толпа. Генсек вышел из машины. Сыпались вопросы. Горбачев был в своем амплуа, как будто он ехал не с кладбища, а с пикника на Домбае с Колем.

— Товарищи, — начал глубокомысленно Горбачев, — процесс пошел. Мы находимся на очень ответственном этапе перестройки. Перестройка идет вширь и вглубь…

И далее все в том же духе. Как обычно ничего конкретного, без всякой озабоченности надвигавшимся хаосом в стране.

Тогда еще многие ему верили, надеялись на его социалистический выбор, которому он клялся быть верным до конца. А между тем в Москве накалялись страсти. Горбачев, расчищая себе дорогу, одним махом удалил около ста членов ЦК, в том числе и предшественника Бориса Николаевича — Василия Васильевича Гришина, Героя Социалистического труда, которому судьба уготовила участь рухнуть в очереди райсобеса столицы. То было начало процесса, а потом ветераны умирали на митингах, при возложении цветов на могилы павших воинов. Но и мертвых обвиняют во всех грехах, даже в том, что разбили немцев, не наладили торговлю овощами в Москве и в сбоях графика движения городского транспорта.

Правда, теперь это мелочи для Москвы, есть дела посерьезнее.

Чета Горбачевых, укрывшись за высоким дачным забором, поглядывает оттуда на мир сквозь щель, опасаясь зреющего людского презрения за плоды — руины «нового мышления».

44

Илья Васильевич не раз приглашал меня зайти к нему, в его «особняк», посмотреть как живет фронтовик-победитель, полковник в. отставке. Мне и самому хотелось навестить его. Не так уж далеко пришлось идти до него от

главного проспекта «Маленького Парижа», всего четыре квартала, почти не выходя из центра города.

Я давно не был в том заброшенном районе старого города, примыкавшего к реке, и он представлялся мне не таким уж трущобным. По обе стороны узкой улицы с разбитой мостовой тянулось хаотическое нагромождение лачуг в чисто русском исполнении, построенных без всяких архитектурных канонов, что называется кто во что горазд. Развалившиеся и доживающие свой век ветхие хибарки кишели как муравейники своими трущобными обитателями.

В глубине тесного двора с такими же хибарками, прилепившимися одна к другой, я отыскал «особняк» — строение, похожее на казачий курень прошлого столетия, в котором ютился полковник Колпашников. На крыше куреня были разбросаны кирпичи, удерживающие куски шифера, прикрывавшие давно поржавевшее железо. Прохладный ветерок трепал на соседней крыще какую-то железку, заунывно поскрипывавшую над головой.

Саманная мазанка Колпашникова ушла в землю так, что окошки выглядывали на половину из-за зеленых кустов колючего шиповника в крохотном палисаднике.

На пороге меня встретил Илья Васильевич в армейской рубашке при галстуке, без погон. «Наверно, собрался куда-то уходить», — подумал я. Позвонить ему, предупредить о визите я не мог, у него не было телефона, поэтому пришлось сразу извиняться.

— Проходите, проходите… Только осторожно, голову пониже, иначе стукнитесь о притолоку.

Я внял его предупреждению, низко опустив голову, перешагнул через порог.

Илья Васильевич, как экскурсовод, стоя посередине комнаты, сразу начал рассказывать о жилье. Досталось оно его жене по наследству от умерших родителей.

— Может, лучше было бы без наследства… А так считается, что жильем мы обеспечены. На очередь поставили, но она не продвигается. По моим подсчетам не дождаться…

Я не мог его ничем утешить, даже не мог сказать ободряющее слово, что не надо отчаиваться, как обычно говорят в таких

случаях. И от этого мне стало как-то неудобно.

— Алексей Иванович, вы меня извините. Присаживайтесь. Давайте выпьем чайку. Хозяйка уехала автобусом на огород. Жаль. Хотела с вами повстречаться.

Полковник усадил меня на диван и я оказался за круглым столом, покрытым скатертью. Напротив меня на простенке громко тикали куда-то спешившие ходики. Жилье от старого куреня отличалось тем, что на крошечном полу лежала ковровая дорожка, стены обклеены светлыми обоями, а в углу на низкой тумбочке стоял телевизор, свидетель научно–технического прогресса двадцатого века.

Илья Васильевич засуетился. Я слышал как он на кухне чиркал спичками, ставил чайник на плиту. В тесной комнатке под низким потолком все было до предела просто. Легкая занавеска, наверное, отгораживала спальню. В этих стенах жизнь словно остановилась. Не верилось, что совсем рядом на центральном проспекте громоздились новые многоэтажные дома, кое–где с лифтами, лоджиями и балконами. Я не мог разобраться, как же отапливается полковничья хибарка, хотел было спросить, а потом вспомнил торчавшую над крышей высокую канализационную трубу. Дай бог, если печка топилась газом.

Не впервой мне приходилось бывать в таких «палатках» с земляными полами, но видеть в этой конуре фронтовика, полковника в отставке, доживавшего свой век, я не ожидал и от этого мне стало душно. На меня нависал и давил потолок.

Илья Васильевич расставил на столе чашки, все что нашлось дома к чаю: печенье в стеклянной вазе, сахар, чайник с заваркой. В домашней обстановке Колпашников выглядел по–другому. Может сдерживался, считал неудобным за чашкой чая при госте распаляться о своем житие.

— Сегодня прохладно, а вы без берета, — заботливо сказал Илья Васильевич, разливая чай.

— Иногда даже берет мешает.

— Ну, это вы зря. Простудитесь с вашей растительностью. Берет же не каска.

— Всю войну прошел без каски и сейчас предпочитаю ходить и говорить без головного убора. Свежий воздух обдувает голову, дышится легче, мысли не застаиваются.

— Вы меня удивляете, Алексей Иванович. Я на войне с каской не расставался. Правда, не спасла она меня от осколка.

— На передовой я жил с приметой. Впрочем, как и все. В сорок первом, под Москвой перед боем, мне как и двум другим каски не досталось. Мы — все трое, уцелели в том бою, а многие из тех, кто были в касках, остались там навсегда. С этой приметой

я прошел всю войну без каски

и, как видите, уцелел. Без каски было как-то свободнее, виднее, она бы мне мешала. Вбил себе в голову: надену — рок.,. С этой приметой и живу.

— Это-то да, но голова одна и жизнь одна.

— Жизнь?.. Наша жизнь—не что иное, как «человеческая комедия».

Мой собеседник, помешивая ложечкой дымивший паром, крепко заваренный чай, насторожился. Такого он от меня не ждал, а я жил с некоторых пор этой мыслью, но держал ее при себе. Теперь это выплеснулось. Обстоятельства изменились, как говаривала одна моя знакомая. Илья Васильевич, словно опасаясь услышать мои дальнейшие рассуждения, заметил:

— Хочется верить, что придет время, когда все станет на свое место. Верх возьмет здравый смысл, а не комедия.

— Я сомневаюсь. Давайте обратимся… к Бальзаку, написавшему «Человеческую комедию». Один из его романов называется «Утраченные иллюзии». Это было, это было… в 1843 году. Он писал об ужасной скверне XIX века, изобразил ее с такими подробностями, что никто не сможет опровергнуть язвы современного ему мира. Прошло немало лет с той поры, когда Бальзака занимали мысли о несовершенстве мира, когда жизнь он определил как «Человеческую комедию», в которой копошились, как в муравейнике люди с их пороками. Они не могли от них освободиться. Бальзак стремился объяснить закономерности действительности. И к чему он пришел? — «животность» врывается в человечность. Животное наделено немногим, ведет исключительно простую жизнь, у него нет ни наук, ни искусства, в то время, как человек стремится запечатлеть свои нравы, свою мысль, подгоняя их под законы, приспосабливает жизнь для своих нужд. Общество развивает у человека его дурные наклонности. Идея написать «Человеческую комедию» родилась у Бальзака из сравнения человечества с животным миром, которое чище человека.

— В чем? — спросил Илья Васильевич. — Я вам подолью горяченького.

— В чем? Человек одержим стремлением к личной выгоде, к личному обогащению, ради этого он идет на самые мерзкие поступки. Человек — раб своей страсти, раб денег, тщеславия, преследует лишь свои корыстные цели. «Смерть слабым» — вот руководство высшего сословия.

Наверное, Позаимствовав у Ницше: «падающего еще толкни».

Мне хотелось сказать полковнику, что право государства превращается для простого люда в бесправие, закон — в

беззаконие. Ради денег и тщеславия сильные мира сего превращаются в эгоистов, готовые на самые низкие поступки. Для того, чтобы добиться успеха персонажи пускаются на подлости. Талантливые же не идут на сделку со своей совестью, не приспосабливаются на потребу власть имущим, не влачат полуголодное существование, гибнут наедине со своей музой. Это единственное для них утешение. От самоубийства их удерживает только близкий любящий человек. Иметь такого человека — счастье.

Бальзак пристально изучал быт, семью и пришел к выводу, что общество породило женщину, стремящуюся к браку тоже по расчету, видя в муже источник удовлетворения своих стремлений. Часто ради достижения честолюбивых замыслов, идет на пренебрежение высшим благом — любовью. Я знал одну такую. Она признавалась мне в любви. Накануне свадьбы. Она была искренна. А вышла замуж за того, у кого была машина и квартира, деньги. Плакала у меня на плече. Такие женщины наставляют мужу рога и находят удовлетворение в том, что познают настоящую любовь.

Подлинную человечность Бальзак находит в мире простых людей, способных бескорыстно жить и любить. Он вскрывает мерзости продажных и покупающихся женщин, их двуличность.

Все это я опустил, оставил при себе. Илью Васильевича спросил:

— Вы что же, думаете, что мир изменится? «Человеческая комедия» продолжается. Почитайте Ремарка, Хемингуэя, Лермонтова и Чехова, да и Горького, возносившего человека.

Вот мы сейчас тут копошимся, разоблачаем, вскрываем подноготную недавнего прошлого, но разве мы пришли к лучшему? Нет, пришли к худшему, к некрасовскому: «Бывали хуже времена, но не было подлей». Прямо для сегодняшнего дня в подтверждение мыслей Бальзака. А казалось бы, мир должен поумнеть. Нет, он не поумнел. Он стал еще более изощренным в жестокости, а нравственные его устои пали до предела.

Разоблачение большевистских лидеров, потом Хрущева, Брежнева, Медунова и Щелокова пока что не дали никаких

результатов в улучшении жизни народа. Наоборот, все в один голос кричат — народ подведен к пропасти. И подвели его не мертвецы, а ныне здравствующие лидеры, уходящие в отставку по мере приближения к пропасти, чтобы не свалиться в нее, а Россия пусть валится.

— О Бальзаке я много слышал, но мало читал, — сказал Илья Васильевич. — Правда, кое-что осталось. «Утраченные иллюзии»… Надо почитать.

— Почитайте и увидите, что с тех пор ничего не изменилось Была надежда на социализм, но он не отстоял себя.

— Партия и конкретно Крючков его не защитили. Вот за это Крючкова надо судить, — сказал полковник. — Где же был КГБ? Об этом не раз спрашивали. И почему не принимал мер, когда началась литься кровь?

— Крючков докладывал Горбачеву, верил ему. Теперь что говорить о КГБ? Нет его, как и нет чекистов. Те, кто остались в тех стенах, должны были уйти, уступить место другим, если у них остались какие-то принципы. Как можно защищать с одной и той же головой вчера социализм, а сегодня капитализм? Надо же, чтобы в голове произошли сдвиги на 180 градусов.

— Выходит там остались беспринципные люди, готовые служить, как наемники, любому царю, — помрачнел Илья Васильевич и становился тем полковником, каким я его видел раньше.

— Кто в ладах с совестью, оставили то учреждение.

— Деньги, деньги решают все. Вы же сами говорите.

— Вот мы и пришли к тому, что утверждал Бальзак в «Гобсеке», больше чем сто лет назад.

— Не только мы.

— Да, конечно, — пришлось мне согласиться с Ильей Васильевичем, загадочно произнесшим: — Россия густо засеяна пулями, жаль всходов они не дают.

Я находил его надломленным и старался не затрагивать житье, чтобы не сыпать соль на ноющие раны. Да и он сам не пытался в этот раз расписывать свои невзгоды.

Провожая меня, он как бы вспомнив об этом, промолвил:

— Стыдно признаться, что я полковник. Молчу. Кому сказать? Да и что толку? Все пороги обил, а телефон не ставят. Говорят, зачем тебе, дед? Писал Рыжкову. И его не послушали. Обидно за Николая Ивановича. Мягкий он человек, не для России, — тяжело вздохнул полковник и так же тяжело поднялся, подошел к окну.

— Ветерок, пожалуй, чуть утих.

— Спасибо, что зашли. Всегда рад буду встрече.

В ближайшие дни ожидался приезд главы советского правительства на Кубань, но об этом я не стал говорить полковнику в отставке.

Вернувшись домой, я вынул из почтового ящика «Литературную Россию», которая словно почуяв наш разговор с Колпашниковым откликнулась на эту тему.

«Вот послушайте, — хотелось мне сказать Илье Васильевичу, — что говорит сегодня полковник КГБ в запасе. Напечатано черным по белому: «…Спросите вы девять десятых сотрудников,

чему они служат, и будьте уверены, что поставите их в тупик. Нет, на словах они найдутся, что сказать. И в разных ситуациях будут, будут находить правильные и нужные слова в свое оправдание. Ну, а по существу?

А по существу им все равно, кому служить. Лишь бы платили, хорошо платили. Хотите — коммунистам, хотите — демократам. Хотите одних будут сажать, хотите — совсем других. Более продажной публики я в жизни своей не видел. Родине, говорите, служить? Помилуйте, какой такой «родине»?

Раньше служили Вере, Царю и Отечеству. Позже — революции, еще позже Родине. А сейчас? Растленное поколение. И вы хотите, чтобы этот тлен не затронул то ведомство? Страшное зрелище — «руины и пепел». Хорошо, что мой отец, разведчик, не дожил до этих дней. Он бы не пережил всего этого. Гниль, разруха. А на Родину им наплевать».

45

Полозкову очень хотелось, чтобы Председатель Совета Министров СССР Рыжков побывал на Кубани. Во время встречи в сочинском аэропорту Иван Кузьмич пригласил премьера в Краснодар, в степи, на кубанские поля. Стояла июльская жара, шла уборка хлебов. Секретарь крайкома собирался показать Николаю Ивановичу богатый край, полный изобилия, и воспользоваться редким случаем, попросить тракторов, автомашин, комбайнов, денег на строительство, валюту на закупку сельскохозяйственных машин за границей. Очень хотелось приобрести японские комбайны для уборки риса, перерабатывающие машины для зеленого горошка.

На два дня Рыжков с супругой прилетели в Краснодар. Его повезли в районы, на поля, показывали в институте риса технику, приглашали на заводы и фабрики.

Программа была настолько насыщена, что везде приходилось ее выполнять галопом. За Николаем Ивановичем под палящим солнцем неотступно следовала супруга, даже на полях, где трудно было ходить не то, что в туфельках, а в солдатских сапогах. Останавливали комбайны, подходили к трактористам, беседовали на механизированных токах. Николай Иванович больше слушал, задавал вопросы, которые можно задавать в кабинете в Москве, а не на полях. Собеседники же без обиняков говорили о неразберихе, когда речь заходила об инвестициях, о несовершенстве сельхозтехники, о необходимости развертывания производства запасных частей, оборудования для перерабатывающей промышленности.

Мягкий, вежливый с подкупающей интеллигентной интонацией в голосе он никак не производил впечатление властного главы правительства. В беседах, разговорах, мнениях не хватало у него одного — решений как поступить в том или ином случае, не видно было, что это глава исполнительной власти в стране. Он рассуждал, удивлялся, охал и ахал, но сказать как надо и что надо, не мог. Ничего конкретного не говорил. У собеседников создавалось впечатление, что он сам не знает, что же надо предпринять, чтобы исправить положение дел в сельском хозяйстве. А от него ждали именно этого, прислушивались к каждому его слову.

Он восторгался, как все здорово выглядит на Западе. К тому времени он побывал во многих странах, в частности, в Австрии.

Николай Иванович разочаровывал местных сельхозни- ков как государственный деятель. Его суждения и подходы остались

на уровне директора крупного комбината. Перспективу в масштабе огромной страны он рисовал довольно расплывчато. Ее контуры были весьма туманны. Похоже было на то, что ни он, и никто другой в стране не имели ясной программы действий, в том числе и Горбачев, на которого он ссылался в порядке протокольной вежливости, показывая, что он его не забывает, т. к. в то время был пик хождения Горбачева в народ на улицах городов для завоевания популизма. Хотя уличные шоу ничего не давали, но они нравились Горбачеву, а доверчивые русские люди верили ему, как в свое время верили Хрущеву. Встречи

на улицах, на которые он потом часто ссылался, как на мнение народа, не давали ему никакого основания говорить так. Чаще всего народ собирался просто, что называется, поглазеть на него. Николай Иванович понимал это, но молчал. Он все же был ближе к реальной обстановке в стране, чем Горбачев, и рекламой не занимался.

В узком кругу Рыжков рассказывал о своей встрече с Крайским, главой правительства Австрии. Они летели в самолете, чтобы посмотреть какую-то ферму. На полях Австрии зрел хороший урожай. Это видно было из самолета.

— Радоваться надо такому урожаю, — заметил Рыжков.

Крайский ему ответил, что никакой радости он не

испытывает, фермерам надо будет платить дотацию, чтобы поддержать их, т. к. цена на хлеб упадет от избытка его в стране.

— Закупите у нас хлеб, — предложил ему Крайский.

— Такая маленькая страна — Австрия, — рассуждал Рыжков, — предлагает нам закупить у нее хлеб, а огромная Россия не может себя прокормить. Кажется здесь должна бы быть продолжена мысль главы правительства — почему так? Но этого не последовало, а от него ждали, что он скажет. Его рассуждения выглядели, как у постороннего наблюдателя, туриста, которому рассказывали и показывали ферму в Австрии, а он, возвратившись, делился своими впечатлениями с соседялми и знакомыми, как хорошо живут австрийцы.

Николай Иванович довольно подробно обрисовывал фермерское хозяйство, которое он посетил, восторгался порядком, трудолюбием фермера и его семьи и тем, что у него есть магазин, в котором он продает окорока. Хозяйство фермера было хорошо обеспечено техникой. Николай Иванович запомнил сколько коров у фермера и другой живности, отметив оптимальный вариант в расчете на гектар земли.

Все слушали внимательно восторженный отзыв главы правительства об этом фермере и ждали, к какому же выводу придет Николай Иванович в своих рассуждениях. Вместо вывода

присутствующие услышали вопрос:

— Ну, почему же у нас нет этого?

Вопрос остался без ответа.

Перед отъездом из Краснодара Николаю Ивановичу показали новый продовольственный магазин в микрорайоне. Несмотря на предупреждения ничего не завозить, не

насыщать полки изобилием, работники торговли, конечно, по подсказке свыше завалили магазин широким ассортиментом продовольствия, которого в Краснодаре в ту пору днем с огнем нельзя было найти. Покупатели удивлялись, а сопровождавшее краевое руководство утверждало, что ничего особенного в магазине не было — так на всей Кубани. После этого Рыжков не мог не сказать, что Кубань живет богато и если бы что-то подобное было в Свердловске или Челябинске, то больше и мечтать не о чем. Казалось бы Иван Кузьмич, неотступно следовавший за Рыжковым, должен был возмутиться показухой, но этого не случилось.

С этим и улетел Николай Иванович в Сочи продолжать свой отдых, а на полках магазинов Кубани не было мяса, меньше поставлялось в торговлю молока, пропали сыр, масло, сахар, мыло и другие продукты. За водкой и пивом выстраивались очереди, в которых мужики проклинали придуманный очередной эксперимент над ними.

Под шумок антиалкогольной кампании Иван Дьяков, секретарь крайкома, распорядился демонтировать импортное оборудование на пивных заводах, приспасабливая их технологию для выпуска соков. Краснодар остался без пива. Дьякова перевели в Астрахань с повышением. На Кубани исчезли соки.

Председателя Совета Министров удивляли дарами Кубани, а он не удосужился трезво разобраться с положением дел в регионе.

Руководители края обманули не только главу правительства в свое удовольствие, но и обокрали народ. Поставки продовольствия из края увеличивались из квартала в квартал. На Кубани же изобилие… В этом убедился высокий гость.

Не сложился премьер супердержавы из Николая Ивановича. В этом ему помог Горбачев и набросившаяся на него свора «демократов», доведшая его до инфаркта. Сам он не заявил о себе, слепо поддерживал перестройку, наивно рассуждал о необязательности министров, не раз подводивших его. И все же он оказался пророчески прав, заявив, что «вы еще вспомните это правительство…»

46

После встречи с Геннадием Ивановичем Ольга настраивала себя на спокойный лад, как будто бы ничего и не

произошло. Приветливо улыбалась сослуживцам, пока ее взгляд не задержался на миниатюрном портрете Лермонтова на ее столе, подаренном Гришановым. Печальные глаза поэта укоризненно смотрели на нее и о многом ей напоминали. Она словно услышала при этом слова, которые Геннадий Иванович давно хотел ей сказать.

«Я тешу себя какой-то надеждой, чтобы с помощью этой уловки устоять в несправедливой судьбе». А Ольга не раз ему говорила: «Я не хочу, чтоб мир узнал нашу таинственную повесть…»

Ему казалось, что Ольга после тягостного разговора ушла от него с некоторым облегчением от того, что хотя и не до конца, но все же устояла под гневным видом — ничего не пообещав, несмотря на бескомпромиссную настойчивость. Гришанов не хотел оставаться в неведении и подсказывал ей грубоватый ответ: «Скажи — отстань от меня» и вместе с этим очень боялся, если она не дай Бог произнесет эти роковые для него слова. Затаив дыхание, не сводя с нее глаз, он ждал.

Ольга их не повторила и не отвергла. Он сам должен был понять ее молчание, не рассчитывать на продолжение их тайного союза. Ведь все и так было ясно, зачем же еще обнажать отчетливо обозначившееся во всем ее существе, когда он допытывался, а она, потупив глаза, безмолвствовала или же вслух, а больше про себя, размышляла о настигших их сложностях, от которых нельзя было отмахнуться, не находила успокаивающего ответа.

Ольга не представляла своего смущенного, помрачневшего до неузнаваемости лица, каким он его еще ни разу не видел. На нем было написано ее намерение развязать затянутый ими узел. Она не думала в этот момент, что иначе поступить не может, как и не задумывалась, что для него это означало потерять ее. Глядя на нее, он не смел повторить свои слова: «Я тебя никому не отдам». Она взглянула на него, встретив сердитые огоньки в глазах, которые всегда так ласково смотрели на нее и может из-за этого у нее блеснуло сочувствие к нему и она в нерешительности вяло проронила еще раз: «Все остается так же…» Но он ожидал других слов, схожих с его твердым намерением — никому ее не отдавать. Проникнутые взаимным стремлением друг к другу, в чем они были единодушны, ни он, ни она, совсем недавно не могли даже

предполагать, что сойдутся в мареве разогретого палящим солнцем воздуха для выяснения отношений и этот разговор может

навсегда развести их в разные стороны, тогда как три дня, когда они не виделись, считали за целую вечность!

Ольга корила себя, но даже в этот момент не жалела, что в свое время без оглядки бросилась в распахнутые для нее объятия, хотя вынуждена была теперь выслушивать суровые упреки и осуждать себя пробившейся совестливой мыслью, требовавшей от нее решения, равного принятию обета.

Как было бы хорошо, если бы он смирился, оставив ее без всяких драматических сцен. Она так и представляла — постепенное угасание и неизбежное тихое расставание. «Ну, встретились, были счастливы, — признавалась она, — но прошло время — разошлись». Мало ли подобных историй — вспыхнувшей, как костер, любви! Костер неизбежно тухнет, если его не поддерживать. Расходятся совсем обыденно муж с женой, жена с мужем, а их никто не заставлял расписываться под обязательством верности на всю жизнь. Правда, они поклялись, но не на Библии же и не в церкви, быть верными друг другу, это оказалось для него сильнее всех подписей, заверенных печатью.

Ольга не задумывалась над тем, что огонь можно поддерживать одному, без нее. Он ей напомнил об этом, даже взывал к совести и если бы она видела себя в этот миг, как вспыхнули щеки на непроницаемом лице. Это уже была примета восприятия обращения к тайникам ее души. «Какая же я…», — упрекала она себя за все то, что было между ними. Но даже в этот самый критический момент объяснения сдерживалась мысленно произнести: «Связалась на свою голову…»

Разговор, поначалу был похож на бушевавшее пламя, низведенное ими же до слабого огонька, но его тлеющие угольки оставались надеждой. Их не потушил даже дождь от того, что Ольга в смятении с влажными глазами призналась себе в мучении, которое они сами устроили, хорошо понимая, что он хотел от нее услышать заверения, однако, она так и не произнесла слова, много раз слышанные им.

Она всегда была в восторге от него, а теперь ей представлялось странным, что он не от мира сего, жил в плену высоких чувств, не отступал от них и ревностно защищал их, хотел, чтобы и она следовала ему.

Между тем, их окружение, реальности жизни были такими, что удержаться в них с его представлениями, сохранить их отношения оказалось почти невозможным. Время, в котором он пребывал, ушло в прошлое. Люди

стали другими, нравы и представления о нравственности, долге, чести, преданности, верности и любви стали иными. Она знала, что он в ней находил тютчевский идеал. Что же — она должна была признаться ему, что она совсем другая, что он ошибся в ней, что она, как однажды заметила, — «из глухой деревеньки»? Да, он это слышал и не соглашался с нею. «Деревенька здесь ни при чем, — говорил он ей. — Больше того, только в деревеньке могло родиться щедро наделенное природой такое любящее существо, как она».

Все это не могло не отложиться в ней. Многое ей передалось от него. Часто вырывались из ее уст признания, что он разбудил ее и она выползла на свет божий как улитка из раковины.

Может быть, все это заставило Ольгу задуматься, как быть дальше? А задумываться никогда не поздно. Приходили мучительные мысли, терзавшие ее душу, и известная всем истина, что любовь всегда растет от возникающих перед ней препятствий. Жизнь без нее невозможна и если в ней нет мучений, стрел и огня, то это совсем не любовь. Как тут не вспомнить энциклопедиста в этой области Бальзака, утверждавшего, что блуждая по необъятным просторам чувств, оба зашли очень далеко, стараясь взаимно проникнуть в самую глубину души, проверить искренность друг друга.

«Может, я что-то нарушила в предназначении, данном мне природой, противлюсь сама себе?» — начала размышлять Ольга. И от этого должен был наступить перелом, об этом Гришанов пока не знал. Не знал, что Ольга собиралась бежать от своего Васьки, даже если бы ей пришлось снова поселиться в глинобитном сарайчике без окон, без потолка, под соломенной крышей, неприспособленном для жилья, как это уже однажды она испытала, оставшись круглой сиротой в чужрй деревне за перегородкой, в том закутке, вспоминала она, слышалось в ночи посапывание коровы и от этого становилось не так страшно одной. Рядом спокойно дышало живое существо.

Ольга знала, что, только он с болью переживал давно отошедшее в прошлое ее горькое детство, как свое личное. Однажды она проникновенно написала ему: «Я вечно буду тебе благодарна за все то, что сделал для меня». Как-то проснувшись в ночной теми с этим признанием, она до утра не могла сомкнуть глаз, оставаясь в гнетущем состоянии, как после кошмарного сна. То было ее искреннее

заверение и в нем он тогда не сомневался, но она, втиснутая в прозаический алчный мир, вынуждена была скрывать свои естественные чувства от окружения и от общества, установившего табу на подобные отношения. Казалось бы, общество не вправе

вмешиваться в личную жизнь, не вправе винить и публично унижать тех, которые тянулись к своему счастью, нарушая казенные устои, но не испытывая угрызений совести. Только она, совесть, могла их судить. Выстраданные же помыслы Ольги и Геннадия Ивановича были чисты.

Ольга знала, сколько ему пришлось вытерпеть из-за нее, считавшего ее необыкновенной. Он этого не скрывал, добавляя. Что такой она и останется, пока будет с ним. Прозаичности в их отношениях он не терпел, хотя она не всегда соглашалась с ним в ее исключительности. Геннадий Иванович выслушивал ее, но оставался при своем мнении: «Если что-то случится, — опасался он, — вот тогда она вернется в свою раковину и однажды предстанет перед ним обыкновенной, покорной, живущей в убогом сарайчике, как в келье, смирившись со своей судьбой, в одеянии послушницы с надвинутым на лоб черном платке».

С той бессонной ночи Ольгой завладели душевные бури, причинявшие ей боль, которой она пыталась противиться. Она боролась с собой, но собиралась с духом. У человека, перенесшего тяжкие жизненные невзгоды, не может быть черствого сердца. В нем зрело порывистое признание: «Как хорошо, что ты есть». Но Геннадий Иванович, тоже забитый раздумьями, находился в полном неведении, что замышляла Ольга в наступившие знойные дни.

47

Неведение Гришанова было его личным делом. Оно сказывалось на его настроении, переживаниях, вредивших здоровью, но он старался удержать их в себе, не причинять неудобств окружению. Другое дело держать в неведении народ, пугая его «непредсказуемыми событиями», о которых часто напоминал новоиспеченный президент. Одному ему было известно, что он имел в виду и с какой целью грозил ими. Страну уже охватил хаос, общество захлестнула стихия, государство стало неуправляемым, шла война, лилась кровь. Какие еще могут быть «не

предсказуемые события?..» Оставалась гражданская война.

— Не только, —поправил меня Геннадий Иванович.

— Что же еще?

— Горбачевские кооперативы, как панацея от всех зол, по замыслу прорабов «перестройки».

На свет божий хлынули кооператоры, воодушевленные лозунгом, позаимствованным у знаменитого Остапа Бендера, правда, несколько перефразированным с учетом «нового мышления: «Ударим кооперативами по экономике и обнищанию!» И «процесс пошел». «Даешь кооперативы», как раньше: «Даешь коммунизм!» — Кто больше! Не отставать», — призывал президент.

Кооперативная эйфория стала составной «перестройки», охватившей всю страну. Она раскачивала огромный государственный корабль, попавший в грозную стихию урагана с непредсказуемыми последствиями. Но прорабов «перестройки» это не устрашало. Кооперативы по замыслу их архитектора должны были спасти «перестройку».

Любителей легкой наживы оказалось более чем достаточно. Благо можно было нажиться ничего не производя, а только скупая и перепродавая на жульнической аферной основе. Она-то и насторожила бдительных железнодорожников при следовании «загадочного поезда», шедшего из Нижнего Тагила в Новороссийск. На платформах под брезентами — чехлами они обнаружили дюжину танков без воинского караула. Осмотрщики вагонов сразу заподозрили что-то нечистое. Такого еще не было, чтобы грозное новейшее оружие не значилось в графике воинских перевозок. Обратились к документам. А в них сплошной «туман» — танки значились как «металлолом», в который попали новенькие «неразоборудованные транспортирующие средства».

Кто-то явно «липовал», грубо маскируя новейшие танки,

выпуска 1989 г., начиненные электронным оборудованием, под казенной малозначащей записью «печи железнодорожные». И почему танки с заводского двора переправлялись к морю? В Новороссийске и поблизости не было танковых дивизий. Обследования «странного поезда загадок» позволило обнаружить еще около четырех сот тонн стальной ленты, около тысячи тонн труб из алюминия, более тысячи тонн удобрений и других остродефицитных товаров, которых днем с огнем не найти на снабженческих базах. Поезд остановился на запруженной

составами железнодорожной станции Новороссийск и не мог оставаться без охраны.

Вскоре появились представители концерна «АНТ», спешившие перекантовать груз на платформах Новороссийскому морскому пароходству для отправки на судах за рубеж. Начали разбираться, что это за всемогущественный «АНТ», коему позволено продавать военную технику за границу?

— Перестройка же, — твердили они.

Доложили наверх. Сначала в Москве не поверили. Сомневались, уточняли, проверяли. Но фотоаппарат бесспристрастно зафиксировал на цветной пленке пахнущие свежей краской танки. Пригласили первого секретаря крайкома, показали ему фотографии, чтобы рассеять всякие сомнения и с надеждой, что он незамедлительно доложит в ЦК. А тем временем стали разбираться с производственно–технологическим кооперативом «АНТ», что означало: Автоматизация. Наука. Технология. Начинал он свою деятельность в подмосковном городке Ногинске довольно скромно при местном райпотребсоюзе с изготовления полиэтиленовых мешочков, оборудованием магазинов противопожарной и охранной сигнализацией. Вот и вся автоматизация, наука и технология. Предприимчивые руководители — дельцы кооператива обвели вокруг пальца даже самого Егора Лигачева, второго человека в партии, который не только поддержал кооператив, как предприятие, способное насытить рынок потребительскими товарами, но и дал ему зеленый свет для беспрепятственного продвижения эшелона с танками. Глава уже государственно–кооперативного объединения «АНТ» В. Ряшенцев развернул бурную деятельность, прибирая к рукам кооперативы в Москве, Ленинграде, Харькове. Он всплыл на волне кооперативной эйфории из тьмы безвестности, шагнув сразу в элиту влиятельных бизнесменов–коопера- торов, которым Горбачев предсказывал великое будущее. С помощью правительственных и партийных чиновников АНТ стал уже не каким-то там кооперативом, а концерном, пышел на международную арену, заключив с

французской фирмой 808 сделку на поставку миллионов тонн металлолома, а пока лихорадочно продвигал самолетами поставки за рубеж авиационных моторов, имея в виду специализироваться на продаже советской военной техники в обмен на поставки видеомагнитофонов, аудиокассет, видеокассет, магнитофонов, презервативов до 50 миллионов штук.

Вскоре была получена информация от торгпреда в Париже, что фирма 8Э8, имевшая связь с АНТом прекратила платежи по своим обязательствам и была ликвидирована. Генеральному директору АНТ пришлось срочно переключиться на посреднические фирмы в Венгрии и Швейцарии, заключать миллионные сделки. Но тут доморощенных бизнесменов–воротил, занимавшихся явной аферой, ждал неприятный сюрприз с двенадцатью танками Т-72 МТМ, обнаруженными на Кубани.

В борьбу с концерном включился Полозков. Один против могущественного спрута, поддерживаемого в ЦК и в Совмине. О торгово–финансовых махинациях, которым суждено было войти в анналы истории «перестройки», доложили Председателю Совмина Рыжкову, распорядившемуся проверить деятельность АНТа. Иван Кузьмич обнажал противоправную торговлю АНТа оружием. «Танковая» афера была настолько очевидной, что даже консервативная прокуратура вынуждена была возбудить уголовное дело по признакам статьи, квалифицировавшей деятельность концерна, как покушение на контрабанду оружием.

Когда запахло жареным, генеральный директор и его ближайшие подручные удрали за границу и там объявили о ликвидации своего детища.

Газеты пестрели делом АНТ, возмущалась общественность, усилились нападки на Полозкова, посмевшего всенародно обнажить тайные мошеннические операции АНТа. Это далеко не всем нравилось, и Иван Кузьмич, заявивший о себе этим делом, был объявлен одиозной личностью.

— Дело прикроют, — говорили многие в одиночку и на собраниях. — Вот посмотрите…

Мне не хотелось соглашаться с этим, но похоже они были правы. Горбачев не терпел Полозкова и уж поэтому можно было предполагать, что делу не будет дан ход, так же как и другим нашумевшим делам, не дошедшим до суда в ходе строительства правового государства, за которое ратовал на словах Горбачев.

Полозков как никто другой знал Горбачева. Работая в ЦК, он курировал Ставропольский край и, думается, придет время, и он подтвердит свои слова: «Считаю, что его (Горбачева) надо судить. Сказал ему однажды об этом. Он отшутился, дескать по какой статье? Не знаю уж по какой, но суд над ним в будущем, видимо,

состоится».

— Может быть, на том суде вспомнят и об АНТе? —

спросил меня полковник запаса Колпашников, когда я его вкратце посвятил в дело.

— Вряд ли… Ряшенцев сбежал, торгует нашим оружием.

Илья Васильевич был крайне удивлен моим ответом.

Запротестовал.

— Полозков же взлетел на АНТе, что же он оставит это дело? Это же грабеж государства средь бела дня.

— Не знаю. Все взлетали, парили в своих креслах, подавали сверху голоса, а потом вдруг притихли. Не видать, не слыхать… Как суслики уползли в свои норки. Другие перекрасились в демократов, бегут впереди них.

48

На открывшейся, как премьера в театре, книжной ярмарке в просторном двухэтажном «Доме книги», все полки были завалены необъятным множеством книг в цветных обложках. Глаза разбегались от такого изобилия, но многие посетители, посмотрев, полистав уходили из магазина ни с чем. Я зашел в отдел общественно–политической литературы, от которой тоже ломились полки.

Человек пять покупателей копались ˆ книгах, что-то искали, пробегая страницы, и ставили на полки. Лишь некоторые от стеллажей шли к кассе с книгой в руках. У полки с философскими новинками я тоже искал что-то для души — из серии философских размышлений, даже если они не совпадали с моими представлениями и убеждениями. Нельзя было пройти мимо: «Антиидеи», «Психология XX столетия», «Сумерки богов». Но все это у меня уже было.

Неожиданно я наткнулся на книгу «Krieg und ideologischer Kampf»{Война и идеологическая борьба (нем.).} на немецком языке. «Что мог нового сказать на эту тему автор и почему ее издали немцы?» — сразу возникли у меня вопросы, пробегая оглавление. Я купил эту книгу в мягкой зеленой обложке и только дома разобрался, что ее автор, видимо, профессиональный военный, скрупулезно исследует влияние идеологии на войне. Мне захотелось встретиться с ним, поскольку его некоторые примеры пришлось в войну испытать, что называется, на себе.

На передовой часто с неба сыпалась, как снег на голову, «немецкая пропаганда» — листовки, отпечатанные на чет

вертинках розовой и голубой бумаги. Читать их запрещалось. Такая мера была необходимой для поддержания морального фактора в войсках. Но листовки втихую читали. Читал их и я. Они влияли на настроение, давили на психику солдат и офицеров в окопах и не каждый мог разобраться во лжи, противостоять тому, что в них так складно подавалось. Невольно закрадывались какие-то размышления. Листовки призывали воткнуть штык в землю и по напечатанному в них пропуску переходить линию фронта, сдаваться в плен. Немцы «гарантировали» гуманное отношение к тем, кто решится на такой шаг, обещали кормить до отвала, что вызывало аппетит при чтении листовки на голодный желудок, если учесть, что пайка солдатам не хватало. И все же экономные немцы зря тратили бумагу. Может быть для французов, англичан, американцев и «бутерброды» сошли бы, а для русских немцы перестарались: не та еда. Русские не любят

эрзац- сладостей, от которых тошнит. Предпочитают черный хлеб, сало, картошку и лук с солью. На сладкого червя клевали единицы и расходы немцев не окупались.

Автор книги, профессор, жил чуть ли не по соседству. Нельзя было не воспользоваться этим обстоятельством.

Профессор Иван Ильич Уланов, написавший ту книгу, оказался коренастым сибиряком, блондином с голубыми глазами и, конечно, с сибирским говорком, хотя он давно уже покинул свое родное село на берегу таежной речки. Мы сидели с ним в мягких креслах в квартире, он рассказывал откуда он родом, о тропинках своего босоногого детства, приведших его однажды к деду Меркулу, сельскому столяру.

Будущий профессор помнил аромат сосновой стружки, плавное шуршание рубанка в сильных мозолистых руках деда, стоявшего у верстака и что-то мурлыкавшего про себя, но непременно отзывавшегося на приход Ванюшки, юного друга.

Бородатый сибирский мужик дед Меркул мастерил для сельчан табуретки, люльки, топорища, грабли, все что можно было сделать его нехшрым инструмент эм.

С воспоминаний о детстве и началось наше знакомство с Иваном Ильичем, за чашкой чая.

— Однажды дед Меркул, — рассказывал профессор, — снял со стенки легкую как пушинку скрипку. Хитро подмигнул, подложил под бороду, провел смычком по одной,

другой струне, прислушался и в столярке у верстака полились звуки «Комаринской».

«Ты рассукин сын комаринский мужик…» — подпевал дед и все больше воодушевляясь игрой, притоптывал своими разбухшими пимами.

Я тоже притоптывал на радость деду.

В глубоком сибирском селе у сельского столяра он впервые услышал удивительные звуки скрипки и запомнил их, рассказывая об этом больше чем через полвека.

Дед Меркул мастерил скрипки тем, кто на них играл. Иван Ильич восхищался этим сельским феноменом, хотел о нем написать.

— Духовный мир этого ушедшего из жизни удивительного человека передался мне и его потомкам, — сказал профессор.

Иван Ильич считал, что в таких самородках остается неразгаданная тайна, жалел о безвестности скрипичного мастера. От него он навсегда сохранил «Камаринскую», которая воскрешала в нем далекое детство, родное таежное село.

В голодном тридцать третьем Иван Ильич уже ходил на разгрузку барж, варил в общежитии картошку на заработанные

деньги, учился.

Когда он впервые в аудитории института увидел портрет Мусоргского, то ему показалось, что это вылитый дед М еркул.

— Похож, даже очень похож, — уверял меня профессор, хотя Модесту Петровичу, насколько он помнил, было всего сорок два года. — О своем восхищении дедом я всем рассказывал.

Может быть, поэтому сослуживцы Ивана Ильича подарили ему в день рождения небольшую акварель, на которой была изображена бытовая сценка: дед в изрядно поношенной шубе с длинными рукавами, в истоптанных валенках притоптывает с мальчуганом лет шести.

— Взглянул я на картину и обомлел, — признавался Иван Ильич. — Эта сценка словно была списана со столярки деда Меркула и с меня в ситцевой рубашонке, в штанишках, заправленных в чулки. Я так расчувствовался, что не мог удержать слезы при виде «Веселой минутки» Ржевской.

Слушая Ивана Ильича, я все больше понимал его ностальгию по родной стороне, по давно ушедшим годам.

— Никогда не соглашусь, — гворил он, — с тем, что

родина это кружок на карте. Родина — люди, поколение людей с их неповторимыми лицами, мыслями, делами, поступками, страданиями и сопереживаниями. Родина — это глубинные корни бытия, заложенные твоими предками. И как бы долго ты ни находился вдали от отчего дома, как бы тебя ни тяготили повседневные заботы, нет–нет да и осветит далекая зарница дорогие сердцу родные места, лучше которых нет на всем белом свете, как мое таежное село. При одном слове тайга, слышится что-то величественное и таинственное, понятное только русскому…

В морозном, завьюженном сорок первом Иван Ильич вместе со своими сверстниками–сибиряками с винтовкой и гранатой защищал Москву.

— Потом о сибиряках много говорили, писали, а тогда мы просто воевали, как и все, не ради славы.

Иван Ильич, не ведая того, подводил к интересовавшему меня вопросу:

— Почему мы победили?

Я сам был под Москвой в сорок первом и давно сложил свой ответ на заданный вопрос, но мне хотелось услышать мнение профессора, как бы перепроверить себя в эйфории очернения ратного подвига миллионов.

— Благодаря нашей идеологии, — не задумываясь, сказал Иван Ильич, словно знал о чем я его спрошу.

— Как же так, сейчас так много пишут и вещают, что в ней

было много плохого, даже бесчеловечного и вдруг она победила?

— Ницше и тот говорил — «хочешь знать истину — ищи». В этом очень нуждаются оппоненты, рассуждающие по принципу — это нравится — это не нравится. В поисках истины я и пришел к выводу, что главным нашим оружием в войну была наша идеология. Не будь ее мы попали бы уже не под татарское, а под фашистское иго.

В руках у меня была книга профессора.

—- Позвольте, Алексей Иванович.

Я передал ему книгу. Он быстро листал ее, отыскивая нужную страницу.

— Вот… Послушайте, пожалуйста.

«Политические задачи немецкого солдата в России, — читал Иван Ильич, — сформулированные главным командованием вермахта в сорок третьем году: «Борьба против большевизма является борьбой двух мировоззрений. Война между двумя мировоззрениями, между национал- социализмом и большевизмом раскрывает самым недву

смысленным образом цель политического воспитания».

Предельно четко и ясно по–немецки. На войне столкнулись две идеологии. Победила наша, чтобы о ней сейчас ни вещали кликуши. Советский солдат отстаивал родину «обрусевшего» социализма.

Пойдем дальше. «Я освобождаю человека, — говорил Гитлер, — от унижающей химеры, которая называется совестью. Совесть, как и образование, калечит человека». Отсюда «убивай всякого русского, советского, не останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик — убивай, этим ты спасешь себя от гибели, обеспечишь будущее семьи и прославишься навеки».

Наши политики и комиссары, на которых сейчас льют помои перевертышы вместе с поручиком Голициным, руководствовались иным подходом в воспитании солдата в войну. Помните: — «Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается».

Так чью идеологию я должен защищать? Я же из крестьянского рода, внук деда Меркула.

Мы сошлись на том, что не следует идеализировать царское прошлое. Если бы оно было таким, каким его пытаются сейчас изобразить конъюктурщики, то не было бы социальных потрясений, приведших к революции. Народы царской империи жили в темноте и беспросветной нужде. К тому же колокольный звон одурманивал безграмотного русского–мужика–лапотника и он терпел.

— Ни за что мне не быть бы профессором по тем временам,

— сказал Иван Ильич.

Он пригласил меня на прогулку в воскресенье на «свою» тропу вдоль реки, где никто не мешает побыть со своими думами наедине.

49

Погода хмурилась, но в прогалинах плывущих облаков мелькало весеннее солнце. Порывистый ветерок шевелил набухшие почки деревьев. Посматривая в окно, я ждал звонка Ивана Ильича. Позвонил он мне сразу вскоре после завтрака, приглашая составить компанию.

— Я уже собираюсь. Встретимся у газетного киоска на углу.

— Ветерок… Может, отложим?

— Ничего страшного. На ветру воздух чище, больше

кислорода, что нам как раз и нужно. Через пять минут выхожу.

Мы отправились за город, к той тропе. Холодная гладь своенравной реки, казалось, застыла. Только набегавший ветерок крутил рябь то в одном, то в другом месте. Нам никто не мешал, мы никуда не торопились, шли не спеша, размеренно. Как-то невольно возник разговор о воровстве, организованной преступности, навязшей у всех в зубах. Ему хотелось услышать побольше о «таинственной организации», попавшей под уничтожающий обстрел газет, радио и телевидения, но тем не менее единственной, которая боролась и могла бороться против коррупции, теневой экономики, служебных злоупотреблений. Его интерес был не обывательским, но все же наивным, далеким от действительности, как это всегда бывает с людьми, не посвященными в то, как работает кухня.

— Куда смотрят органы, — возмущался профессор, — почему они не расправляются с мафией? Не видят или закрывают глаза?..

— Это глобальный вопрос, Иван Ильич. В нем политика, идеология, экономика, торговля, распределение, коррупция, милиция, прокуратура, базы, связи и телефонные звонки. Все это видит «недремлющее око» и тоже возмущается.

— Так в чем же дело?

— В глаголе достать. Он стал самым употребляемым.

— Да, дефицит нас замучил. И деньги есть, а куртку купить не могу. Хожу вот в этой…

На нем была довольно потертая импортная куртка.

— Органы, Иван Ильич, не занимались до самого последнего времени этими вопросами. Представьте себе, что существует охранная грамота, запрещающая им заниматься партийными, комсомольскими, советскими и другими категориями, заразившимися болезнью наживы и стяжательства. Даже если и попадала такая информация, охранная грамота строжайше предписывала — уничтожить ее. Иначе не сносить головы.

— Уничтожить?

— Да, да… При другом подходе можно было бы предупредить в недалеком прошлом многие преступления, оградить от коррупции и милицию и прокуратуру, сросшихся с уголовным миром. Того требовала нарастающая, как ком, преступность. Перечень неприкасаемых, наиболее подвергнутых соблазну легкой наживы, заставлял

закрывать глаза на информацию в отношении должностных лиц, кравших миллионы. Милиция и прокуратура бессильны справиться с ними, зато восполняли показатели борьбы с преступностью судом рабочего, укравшего кусок мяса на мясокомбинате или колхозника — полмешка риса на току.

В обществе формировалось негативное общественное мнение. Кстати, его изучением серьезно не только не занимались, но и боялись. Боялись правды.

— А органы?

— Изучали общественное мнение, докладывали наверх, но информация уходила как в песок. Все внимание контрразведки было сосредоточено на противнике, разоблачении агентуры иностранных разведок.

— Разоблачали?

— Сомневаетесь?

— Нет. Впервые, пожалуй, приходится слышать об этом из первых рук. Даже не верится. Все это за семью печатями…

— Чем меньше говорит контрразведка о себе, тем лучше для нее. Это золотое правило. Так повелось с незапамятных времен. Недавно мы разоблачили агента, поймали его с поличным, в поезде, когда он пытался от нас улизнуть в Москву. В темном купе, это было ночью, он потянулся, облегченно вздохнул, надеясь, что самое страшное для него позади. Включил свет и к своему изумлению увидел двоих, сидящих напротив. Мы не собираемся это афишировать.

— И все? — удивился Иван Ильич, ожидая услышать подробности.

— Все.

— Были и другие разоблачения. Вы, наверное, читали. При Андропове мы как никогда ушли от сталинских установок, а лучше сказать бериевских, ближе подошли к надежному обеспечению государственной безопасности, страны, защиты ее извне.

— Лично меня, как гражданина, всегда это беспокоило, — сказал профессор. — Каждое государство, сколько- нибудь уважающее себя, ревностно защищает свою национальную безопасность, заботится о разведке и контрразведке. Обратите

внимание, Алексей Иванович, на то, что эти службы защищают режим, при котором они существуют.

Я не совсем понял намек Уланова, какой режим он имел в виду и в какой стране. Что ему сказать на это?

— Андропов постоянно напоминал, чтобы работа органов находила понимание в народе. К нам шли люди, писали заявления и жалобы, как в последнюю инстанцию с надеждой и верой получить разрешение вопросов, найти поддержку в борьбе со злоупотреблениями и преступностью. Были и перекосы в охране режима…

— Алексей Иванович, бога ради поймите меня правильно. Я имел в виду не наш режим, а вообще.

— Нет, это же интереснейший вопрос. Да, о перекосах… Я имею в виду нарушения законности, имевшие место в прошлом. Они происходили из-за того, что не было закона об органах госбезопасности. Чекисты прежде всего были заинтересованы в нем и требовали принять его, чтобы не блуждать в потемках. Отсутствие такого закона позволяло использовать службу безопасности верхними эшелонами в политической борьбе, в конъюнктурных, преступных целях. Далеко не каждый оперуполномоченный догадывался об этом. Он как исполнитель должен был делать то, что ему предписывалось приказами и инструкциями и его же стали обвинять во всех грехах. Виноваты ли все солдаты фашистского вермахта, воевавшие на Восточном фронте? Они-то должны были понимать и не стрелять. Кстати, будучи в Германии, я не раз интересовался, почему немцы с таким упорством воевали против нас. Они отвечали — мы маленькие люди, выполняли приказ, а стреляли в землю. Даже эсэсовцев немцы не обвиняют, им платят хорошие пенсии, у нас требуют назвать и призвать к ответу бывших маленьких работников. Им и так дорого обошлись исполнения директив Ягоды, Ежова, Берия. Среди них было немало людей с чистыми руками, протестовавшими против беззакония и массовых репрес. сий. Тысячи, десятки тысяч поплатились за это жизнью.

Помню на одном из совещаний у начальника областного управления в самом начале пятидесятых годов доводилась до исполнителей директива Инстанций, кажется, № 066 о повторной изоляции участников бывших полит- партий и троцкистской оппозиции, отбывших срок по решению Особого совещания. Молодые работники, тогда только что пришедшие с фронта, недоумевали по поводу такого директивного указания и с некоторой робостью высказывали свое несогласие. Арестованные тоже недоумевали: «Мы же отсидели, за что?..» Те и другие требовали

разъяснений. Кончилось тем, что в Управление приехал секретарь обкома партии и совместно с руководством Управления «разъяснил» на том совещании необходимость неукоснительного выполнения директивы.

Правда, роптания продолжались, но директиву после грозного предупреждения, что можно остаться вне рядов партии, выполняли.

В органы попадало и много таких исполнителей, которые годами и десятилетиями отбывали службу как рядовые в пехотном полку, неспособные на большее. Некоторые тяготились работой, шли на предательство в погоне за деньгами. Неспособность к оперативной работе чаще всего проявлялась у пришедших по партнабору. Они должны были бы пройти курс «молодого бойца», т. е. оперуполномоченного, а потом садиться в начальственное кресло. Представление работы только по лекциям и бумагам — серьезный пробел у этой категории кадров. Но они по существу возглавляли КГБ в последние годы в центре и на местах и несут полную ответственность за их деятельность. Времена, когда Чапаев требовал выдать документ по форме, что его владелец может работать ветеринаром, канули в Лету. Пришедшие же по партнабору, назначались только начальниками, чванливо претендуя на высокие должности, компрометировали не только себя. У такого руководителя, выше которого рядовой оперуполномоченный, в лучшем случае затягивалось становление на годы, а нередко их увольняли из-за непригодности к работе. Привнесение в деятельность столь острого ведомства комсомольских методов Шелепина и Семичастного привело к неразберихе, к замене профессионалов ремесленниками из комсомола, кустарями типа Бакатина. Становление оперработника, утверждение его как профессионала заканчивается где-то к пяти годам. До трех лет заметны колебания, идет адаптация, поиски себя, раздумья, а потом утвердившись, многие уже не мыслят себя вне органов. Дело ведь не в формальном признании профессионалами, а в глубоком овладении высотами профессионализма, как скажем учителем, инженером, сталеваром. То же — разведчиком и контрразведчиком…

— Я всегда полагал, что это так и есть.

— К сожалению профессионалов–контрразведчиков было мало. К тому же и они жили обособленной, я бы сказал, автономной жизнью, в кругу своих проблем, интересов и обязанностей, о которых можно было поделиться

с довольно ограниченным кругом лиц. Уклад их жизни особенно после трех–пяти лет работы складывался ограниченно–

замкнутым. Даже дома, в кругу своей семьи и близких он не мог поделиться накипевшим на душе, не мог разрядиться, пребывая в плену отрицательных эмоций, да и о положительных обязан умалчивать. Это становилось запрограммированной нормой поведения. «Вся моя жизнь — это работа, — как-то признался мне, задумавшись, очень уважаемый, известный своей кристальной честностью сотрудник. — Другого ничего нет».

Особенности профессиональной работы каждодневно оставляют как будто бы незаметный след в душе: внутреннюю сдержанность, постоянное прятание в себя почти всего того, чем был занят, ибо строго предписывалось — не разглашать больше, чем нужно по службе или вообще ничего. Можно, конечно, было обсуждать самые различные темы, делиться новостями и впечатлениями, вплоть до загадок Б. ермудского треугольника или Тунгусского метеорита, но что касается службы сотрудник оставался наедине с самим собой, в лучшем случае с начальником по службе или близким коллегой. Все это с течением времени сказывалось на психологии и поведении профессионала службы безопасности.

Далеко не каждый мог выдержать эти жесткие условия и работать в КГБ. Так же как не каждый может быть летчиком, хирургом или реставратором. Не каждый может работать с людьми. Многие шли на службу в КГБ не из- за призвания, а из-за престижности, относительно повышенной заработной платы и в надежде на мнимые льготы и «особое» положение в обществе. Но никаких льгот не было. Действовал приказ ничем не выделяться, даже быть более заземленными по сравнению с другими профессиями. Такова правда, Иван Ильич, о нелегкой и неблагодарной профессии, требовавшей только успешно справляться с выполнением своих служебных обязанностей.

Как-то пришел ко мне с довольно агрессивным настроением отец вновь принятого работника, проработавшего всего 3—4 месяца. Отец категорически требовал предоставить сыну отдельную квартиру со всеми удобствами, чтобы молодой офицер чувствовал заботу о нем. С предоставлением жилья было трудно и его временно поселили в семейное общежитие. Существовала очередь и многие, зачисленные на службу значительно раньше его, терпеливо ждали предоставления жилья. На все объясне

ния отец реагировал крайне болезненно, заявив, что он надеялся на то, что в органах для офицеров существуют особые порядки. После этого разговора сын три для прогулял по совету отца, бывшего военного, чтобы уволиться. И он был уволен.

— И поделом, — сказал Иван Ильич, слушавший меня внимательно, ни разу не перебивший, словно я пересказывал ему

детектив.

Мы подошли к двум подросткам у кромки берега. Один из них забрасывал спиннинг, другой — удочку в широко разлившуюся реку. Но они ничего не поймали. Мы постояли немного около них и пошли дальше.

— Так, так… — напомнил мне профессор, — Мы отвлеклись.

— Отбор кадров, строгая дисциплина и неотвратимость наказания за малейший проступок, особенно за нарушение законности удержали ограны государственной безопасности от широко распространившейся сверху донизу коррупции, но черствость, высокомерие, злорадство нередко присутствовали у тех, кто не мог удержаться от чванства, подхалимства, преследовал цель пробиться по карьеристской лестнице в чиновники.

Не было недостатков в призывах в основном на совещаниях и собраниях, приказах, да и в решениях коллегии к вниманию к людям, к поддержанию традиций Ф. Э. Дзержинского. Но часто эти благородные пожелания были пронизаны формализмом. Чиновники от безопасности расписывали каждый шаг любого ритуала от «а» до «я». Многие, наверное, помнят, как в Колонном зале задержали президиум всесоюзного совещания на несколько минут, после того как на сцену пришел Л. И. Брежнев. Рядовых президиума пропустили после того, как утихли аплодисменты генсеку. Но мы на них и не претендовали.

С этими мыслями я и приехал в Комитет с отчетом, зашел в приемную заместителя Председателя и попросил секретаря доложить, что у меня есть вопросы на несколько минут.

Секретарь колебался. Я попросил телефон, чтобы самому просить о приеме. Секретарь не решался, направил к помощнику. Тот предоставил мне «кремлевку», но просил не называть место, откуда я звоню. Дозвонился, доложил, что приехал, есть вопросы, долго не задержу. — «Не могу», — услышал в ответ, — ожидаю ответственного

товарища. — «А я не ответственный?» — вырвалось у меня. — «Сожалею. Жму мужественную руку».

На том разговор по «кремлевке» закончился. Я еще посидел в приемной, обдумывая, что же делать? Секретарь стоял на страже, как у двери Тамерлана. Да и желание встретиться после такого разговора у меня пропало. Зашел к товарищу, приезжавшему с проверкой накануне заслушивания. Он попросил мой доклад якобы с благими намерениями. Я дал и сказал, что буду признателен за замечания, может, где-то, что-то упустил. На следующий день, возвращая доклад, он заметил, что в общем-то ничего, «но акценты надо сместить. Слишком смел в постановке

вопросов. Зачем тебе забивать гвозди?» Я не собирался смещать акценты, так как это была бы уже подстройка под чье-то мнение, а не мой доклад, расходившийся с его выводами. Приехав за день до окончания проверки, он не разобрался и настрочил наспех свое выступление, наполнив его мелочными примерами и дежурными обобщениями невпопад. Я ему об этом сказал. «Не обращай внимания. Доклад я уже порвал». Но ведь с некоторыми положениями я не согласен. Пришлось ему склеивать свой разорванный доклад, чтобы восстановить, о чем он говорил. Помня это, я и пошел со своими акцентами.

Меня слушали на довольно представительном совещании о работе. На доклад отвели пятнадцать минут, а у меня было чуть больше. Хотелось высказаться, не кривить душой, как на передовой летом 1943 года во время боев на Курской дуге, когда вступал в партию, получив право первым вылезти из окопа и повести за собой солдат на вражеские траншеи. На заслушивании я не кричал «ура», но палил о наболевшем, как на передовой. Сказал о недостатках в работе. Это были не просчеты и не нарушения социалистической законности. А потом перешел к планам и так называемым постановочным вопросам.

— Вот вы тут голову нам морочите своими татарами, сектантами… — прервал меня председательствующий зам.

— Это не только наши проблемы.

— Какие там проблемы. Выселите татар с Таманского полуострова — вот и вся проблема. Зачем вы их туда пускаете? Создаете плацдарм у Крыма.

Его кто-то поддержал.

— Нашли проблему. А сектанты?.. Не можете справиться с ними. Изолируйте главарей. Мы направим письмо

первому секретарю крайкома партии и напишем, чтобы он проконтролировал вас.

Я не согласился с такой постановкой вопроса о татарах, заявив, что ее надо решать не на Таманском полуострове, а в Москве, как, впрочем, и проблему немцев Поволжья. Не согласился и с указанием по сектантам, так как угрозы госбезопасности они не представляли. Все молчали. Некоторые, понурив голову. Я стоял на противоположном конце длинного стола. Руководитель старался урезонить меня.

Только один генерал смотрел в мою сторону открыто добрыми глазами, в которых я видел поддержку. В каких- то просчетах меня никто не упрекал, многие замечания я признавал и даже был благодарен за них. Прямо сказал, что кое–чего я не замечал в текучке, признавая свои упущения. Но и отстаивал свои принципиальные соображения, не только по татарам, немцам и

сектантам.

— Надо изучать общественное мнение, знать, что о нас говорят в народе, — пришлось повторить в заключение.

— Вы рассуждаете здесь, как работник Центра. Вы что же намерены нас поправлять? — опять я услышал укор.

— Я далеко не все сказал из-за краткости времени, у меня есть и другие предложения о необходимости совершенствования поиска новых подходов в нашей работе, к оценке наших результатов.

— У вас чта, все? — спросил председательствующий, скривившись.

Меня это крайне удивило, но пришлось сказать:

— Все.

«Значит, не слушал», — мелькнуло у меня в голове. Это я понял по вопросам, которые им задавались. На этом заслушивание закончилось. Все расходились. Я задержался, чтобы спросить разрешения уехать домой.

— Езжайте. Считайте, что на этот раз мы вас выручили.

У меня очень разболелась голова, но я спросил:

— В чем выручили?

В ожидании ответа я стоял в недоумении перед развалившимся в кресле руководителем заслушивания, который уже не смотрел на меня, а перекладывая какие-то бумаги, велел секретарю принести ему чашку чая. Мне тоже очень хотелось пить. Во рту пересохло после такой перепалки.

— Я так устал, — сказал он секретарю. — Чайку…

Для меня было небезразлично, что заключала та фраза? Зачем она сказана? В чем я виноват?

— Не пора ли нам, Иван Ильич, ложиться на обратный курс? — посмотрел я на часы.

— Неужели пора? Пожалуй, зашли мы далеко, — поглядел он по сторонам. — Только вы продолжайте. У нас еще есть время. Моя норма на воскресенье не меньше десяти километров.

Мы повернули обратно вдоль реки, навстречу ветру.

— Да… Я не сомневался в своей правоте, даже еще больше укрепился, но вывод для себя сделал, что не всем нравится постановка вопросов, выходящих за рамки дозволенных рассуждений. Все это означало «знай свой шесток».

Один из моих оппонентов после заслушивания признался:

— Ты уж не обижайся. Я и сам не знал, о чем говорить. Меня уведомили за тридцать минут. Получилось не в ту степь…

По другую сторону стола в некотором недоумении молчаливо стоял поддерживавший меня генерал, спокойный, рассудительный. Мне казалось, что на его лице написано: «Не

обращай внимания. Мелочи жизни…»

Принесли чай заму… Генерал взял меня под руку и увел из кабинета. Мы шли молча по длинным мрачным коридорам. Я был под впечатлением от заслушивания. Нужно ли оно было? Что оно дало? — задавал я себе вопросы. Ответа не находил. Что же дальше?

Расставаясь, генерал сказал:

— Когда будут хоронить, бросишь горсть земли… — пожал мне крепко руку и зашагал своими длинными ногами, чтобы не возвращаться к этому разговору.

В душе я благодарил его за человечность, профессионализм, высокую культуру и за то, что он увел меня от нудного зама. Генерал знал подоплеку заслушивания. Она не всплыла, потому что в руках того, кто ее проводил, ничего, кроме плевой анонимки не было. Но тогда как раз был пик на анонимки. За них подвергали распятию, как во времена инквизиции.

Я никогда не сомневался в необходимости работы разведки и контрразведки, но как и многие, задумывался над ее содержанием, формами и методами, ощущая противоречия деятельности с действительностью. Корректировка была необходима. Но как бы ни шельмовали службу госбезопасности, теперь уже разваленную, история не

пременно отметит ее роль в защите национальных интересов великого государства и не менее ревностной защите его целостности от националистов, приведших к национальной вражде, от происков разведок, работавших против нас и добывания для страны информации, способствовавшей укреплению державы.

— Алексей Иванович, мне кажется… Если я не прав, вы меня поправьте, пока Комитет работал, была держава, но цементировала ее идеология. Почему безопасность ее не защитила?

— Так называемая «перестройка» началась с погрома контрразведки и разведки, с лишения их основных функций, с афиширувания государственной тайны. Комитет мог и должен был предотвратить развал державы, многие бедствия, кровопролитие, межнациональную резню. Но страну ввергли в бездну беззакония, беспредела и последовал хаос, приведший на край пропасти.

Во всех государствах и, прежде всего, в США ЦРУ стоит на страже защиты национальных интересов. У нас это понятие агенты влияния предали анафеме.

— Читал, читал, — сказал Иван Ильич, — но не совсем представляю что это за институт. Агенты влияния?..

— Следующий раз, с вашего позволения.

— Договорились.

Уставшие, обветренные мы возвращались домой. В городе на трамвайной остановке было тише, но поджидавшие трамвай стояли спиной к холодному северному ветру, гулявшему между домами.

Трамвай где-то задерживался. Я насквозь продрог.

50

Наш следующий раз надолго отодвинулся из-за того, что мне нездоровилось. Звонил Геннадий Иванович, справлялся о самочувствии, спрашивал чем мне помочь, навещал Иван Ильич, любитель покопаться в книгах. Он отыскал в моей домашней библиотеке зачитанную книгу на немецком языке, изданную на Западе о докторе Зорге, которая у нас не переводилась. Во всяком случае она мне не попадалась, хотя я следил за литературой о выдающемся нашем разведчике. Эту книгу мне подарила еще в 1964 году знакомая стюардесса Катрин в Германии. Она летала на международных линиях западногерманской

авиакомпании. Таким подарком она хотела сказать мне многое. Я его так и воспринял.

Иван Ильич каждый раз просил меня прочитать ему одну из глав о том, чтобы иметь представление, что пишут немцы о Зорге, тем более, что автором книги был служащий германского посольства в Токио, хорошо знавший Рихарда Зорге.

Так мы с Иваном Ильичем глава за главою, обычно за чаем, дошли до трагического последнего дня разведчика в тюрьме.

Я раскрыл книгу и уже сходу начал переводить целые строки, как кто-то позвонил. В трубке послышался незнакомый, но приятный женский голос с просьбой разрешить зайти по поручению Геннадия Ивановича.

— Конечно, заходите, — я объяснил как найти дом во дворе.

Она не заставила себя долго ждать.

— Геннадий Иванович прислал вам лекарства, чтобы вы быстрее поправлялись. Вам большой привет от него и приглашение навестить в поселке заточенья, — улыбнулась незнакомка.

Глядя на молодую симпатичную женщину, я почему- то сразу подумал, что передо мною стоит его Ольга.

Она хотела тут же уйти, но я пригласил ее в комнату, где мы пили чай о Иваном Ильичем. Как застеснявшуюся гостью, мы усадили ее за столом.

— Вы, насколько я понимаю, — Ольга, — сказал я ей с некоторым опасением, боясь ошибиться.

— Откуда вы меня знаете?

— Земля слухом полнится. Очень приятно с вами познакомиться. Наслышан о вас.

— Я приехала на консультацию в поликлинику, ну и заодно передать вам… Геннадий Иванович часто вспоминает вас.

— Спасибо. Вы у доктора уже были?

— Да. Пришлось долго ждать.

— Тогда не торопитесь. Отдохните, разделите нашу компанию. Все на столе. Хотите с сахаром, хотите с конфетами, печеньем, что предпочитаете…

Чтобы не смущать Ольгу, которую мне хотелось рассмотреть поближе, я продолжил бегло переводить Ивану Ивановичу повествование о Зорге, дополняя тем, что я знал о нем.

Как я заметил, Ольга тоже прислушивалась.

…Только через три года после того как Рихард Зорге был арестован, японское правительство дало краткое сообщение в печать о его казни. Оно было крайне лаконичным. В нескольких строках обосновывался вынесенный ему смертный приговор за государственную измену без каких бы то ни было подробностей.

Германский посол в Токио Равенсбург, с которым Зорге находился в близких отношениях, был немало удивлен, когда после публикации к нему вечером без видимого повода явился советник Министерства иностранных дел Японии Кацука и коснулся, как он сказал, последнего пути Зорге в тюрьме.

— Почему? — спросил его Равенсбург, — от вынесения приговора, так долго, два с половиной года, откладывалась казнь Зорге?

Кацука уклонился от ответа.

— Доктор Зорге мужественно встретил смерть. Его самоотверженное поведение очень импонирует мне, — сказал советник.

— Как?.. Вы его видели в день казни?

Японец утвердительно кивнул головой.

— Мне было приказано присутствовать в качестве свидетеля при казни. Я был там с момента, когда за ним пришли в его камеру.

Равенсбург едва сдерживал волнение.

Никто до этой встречи ничего не мог узнать о последних днях доктора Зорге. Молодой дипломат сидел напротив посла и, по–видимому, никаких опасений к продолжению начатого разговора не испытывал, после письменного доклада министру.

— Я не имею представления, как он уходил из жизни, —' сказал посол, — и поэтому было бы весьма интересно услышать, как прошел последний путь Зорге. Все так же, как и жил?..

Советник Кацука охотно откликнулся на заинтересованность Равенсбурга. Его рассказ заслуживал внимания как очевидца и кроме того он об этом уже говорил в очень узком кругу. Посол пытался попутно задавать ему вопросы, но Кацука просил его не перебивать, указав тем самым на ответственность посольства за сотрудника.

— С Зорге за все время нахождения его в тюрьме хорошо обходились, — сразу подчеркнул Кацука. — Самое страшное для всех заключенных, особенно в той тюрьме, где сидел Зорге, — питание и режим. Однако ему было

разрешено иметь четыре шерстяных одеяла, он мог читать то, что хотел. Если люди говорят, что его пытали, не верьте им. В этом не было никакой надобности, так как доктор Зорге очень гордился тем, что он делал. В тюрьме у него появилась необходимость рассказывать больше, чем от него ожидали.

Он не побоялся например назвать весьма известных женщин, с которыми имел связь. Могу вас заверить, господин посол, что список их фамилий весьма внушительный.

— Не верится, что его не пытали в японской тюрьме, — заметил Иван Ильич. — Он же руководил резидентурой и, конечно, японцам надо было узнать все о людях, которые ему помогали. Не думаю, что он их называл.

— День 7 ноября 1944 года, — продолжал Кацука, — в тюремной камере 133 начался как любой другой из 1088 дней его заключения, до тех пор, пока в двери не повернулся ключ надзирателя. Открылась дверь камеры. Доктор Зорге лежал на своем матрасе, читал толстую книгу. Но в этот день пришел в камеру не только надзиратель, а и полковник Нагата–сан, начальник тюрьмы. Сам я стоял позади полковника. Когда узник увидел Нагату в парадной форме, он закрыл книгу, откинул одеяло и сел на койке. Полковник Нагата поздоровался с ним как положено по службе, по всем правилам, что роднит японцев с прус- сками при исполнении служебных обязанностей.

— Вы доктор Рихард Зорге? Родились 12 апреля 1895 года в Баку? — спросил его, как предписано, полковник.

Зорге встал, подтвердил эти данные.

— Доктор Зорге–сан, по приказу его превосходительства министра юстиции сообщаю вам, что сегодня состоится ваша казнь.

Нагата ждал реакцию осужденного, но лицо Зорге оставалось спокойным, на нем не дрогнул ни один мускул, незаметно было никакого страха перед смертью. В высшей степени самообладание и хладнокровие Зорге произвело на нас глубочайшее впечатление, особенно на Нагату. Какое-то время стояли в оцепенении.

— Все приготовлено, Зорге–сан, — сказал полковник, — но я могу несколько повременить…

Узник же дал понять, что он не нуждается в отсрочке.

— Зачем? — улыбнулся он. — Сегодня я и без того ничем лучшим не намеревался заниматься.

Как начальник тюрьмы, полковник Нагата ничего подобного раньше не слышал и не наблюдал, чтобы при

говоренный к смерти с таким спокойствием и с такой готовностью встречал свой последний очень короткий путь от камеры до виселицы.

— Нужно ли вам время… для того, чтобы написать письмо или еще что-то?

Зорге покачал головой.

Белому осужденному к смертной казни в Японии, в стране восходящего солнца, начальник тюрьмы предложил свидание с христианским священником.

— Зачем?.. Когда я стою и так перед высоким шефом.

Нагата слегка поклонился.

— Я не хотел бы вас торопить, Зорге–сан.

Выше на целую голову японца, Зорге ответил полковнику таким же, полным вежливости поклоном.

— Единственное, что я должен еще сделать, — сказал Зорге, — так это поблагодарить вас и господ стражников за заботу обо мне, доверие и дружеское расположение, которое оказывалось мне в тюрьме его императорского величества.

Полковник Нагата воспринял эту признательность совершенно серьезно и как вполне заслуженную. Со своей стороны пожелал ему всего хорошего на пути в другой мир.

— Очень любезно с вашей стороны, господин полковник, — ответил ему Зорге. — Я этим очень взволнован, только не знаю как это все будет выглядеть, не останется ли это благим пожеланием.

Нагата не вникал в существо этих слов.

— Доктор Зорге–сан, я сожалею, что было отвергнуто наше намерение обменять вас на наших людей. Мы даже пошли на уступку, предложили Советам обменять на одного нашего агента.

— Советам?.. — изменился доктор Зорге в лице.

— Естественно, вы же советский гражданин.

— Мне кажется, очень, очень мало вы просили за такого как я.

— Конечно, — согласился полковник. — Но ответ был отрицательным. Нет… Теперь ничего другого не остается как…

Зорге, плотно сжав губы, молчал.

Нагата и другие присутствующие тоже молча ждали некоторое время в мрачной камере.

Наконец приговоренный вскинул бодро голову, взглянул на нас.

— Чего мы еще ждем, господин полковник? — спросил резко Зорге. — Идемте!.. — шагнул он.

Мы расступились, пропустили его к выходу из камеры в коридор. У железной двери камеры стояли два военных полицейских и надзиратель. Они были удивлены, не ожидали, что так быстро появится узник. Зорге поздоровался с ними. Он не был связан, как обычно связывают смертников. Мы шли по длинному тихому коридору. Слышны были только наши шаги. Это было, конечно, не церемониальное конвоирование узника, которое можно увидеть в кино.

Полковник шел впереди, Зорге между полицейскими, я с двумя свидетелями замыкали шествие. Зорге не подавал ни малейших признаков волнения, даже выглядел не озабоченным. И это поражало нас всех. Он без промедления ступил на узкую винтовую лестницу, ведущую вниз, на первый этаж.

Молча наша небольшая группа пересекла тюремный двор, а потом без спешки вошла в другой, несколько больший. В нем, в дальнем углу, было невзрачное бетонное здание. С высоко поднятой головой Зорге прошел в его узкую дверь.

Я был поражен, как, наверное, и узник, внутренностью этого каземата, как будто мы вошли в храм, в чисто японском стиле.

Из мрака смотрели на нас глаза позолоченного будды. Божество вызвало у Зорге смех. Он ворвался в этот каменный мешок и казалось в нем стало светлее. Однако мне тут же в голову пришло, что божество невозмутимо, равнодушно приглашает узника к смерти.

В бронзовых подставках чадили тлеющие палочки. Они курились жидковатым дымком, извивающимся тонкими сизыми струйками, наполняя помещение туманом и запахом буддийского храма.

У алтаря стоял священник, буддист в желтом одеянии. Губы его беззвучно шептали какую-то молитву, а пальцами он перебирал янтарные четки.

Зорге поклонился священнику.

Тюремный комендант и его люди привыкли к тому, что смертнику здесь предоставляли последнюю паузу. Обычно она затягивалась. Зорге же показал головой, что он не желает задерживаться у святыни.

Полковник Нагата пригласил его вежливым жестом обойти вокруг алтаря. Там, скрытая за высокой статуей божества, находилась дверь, уже раскрытая перед Зорге.

Он переступил порог камеры смертников. Посередине ее была виселица. Зорге без промедления подошел под нее. Слева у двери стояли прокурор и судья, приговорившие его к смерти, справа — трое в темных кимоно и в черных масках. То были палачи. Они поспешили к Зорге, набросили ему на шею петлю.

Наступила жуткая пауза.

— Можете ли вы еще что-то заявить, доктор Зорге? — спросил полковник Нагата в соответствии с предписанным ритуалом.

Зорге обвел нас всех глазами и громко рассмеялся.

.. Видя как посол Равенсбург изменился в лице, советник Кацука сказал:

— Я вас предупреждал…

Равенсбург молча закурил сигару.

— Слушать этот презрительный, дерзкий смех было ужасно…

Посол словно замер с сигарой во рту.

— К черту все, что живет на этой земле, — закричал Зорге так громко, что на его лбу обозначились вены.

— В этот момент подбежали к нему палачи, быстро опоясали его веревкой, надели на голову черный колпак, свисавший на плечи и отошли в сторону.

Нагата подал знак. Один из палачей потянул ручку на себя у стены. Послышался глухой шорох, под ногами Зорге раскрылся люк и он сразу провалился в него…

Иван Ильч и Ольга, слушавшие меня, некоторое время молчали, глубоко переживая вместе со мною последние мгновения жизни Рихарда Зорге. У Ольги заблестели глаза, она смахнула платочком набежавшие слезы.

— Даже враги вынуждены признать и преклониться перед выдающимся разведчиком двадцатого века, коммунистом Рихардом Зорге, — сказал Иван Ильич. — Я читал отзыв о нем американского генерала Уиллоуби из штаба разведки Макартура, что группа Зорге, блестящего разведчика, совершила поистине чудеса, работая на свою духовную родину — Советский Союз. А английский литератор Уайтон назвал Зорге величайшим разведчиком мира. Но каким же надо обладать цинизмом и кощуьством, чтобы так глумиться над памятью человека, отдавшего жизнь ради победы над фашизмом. Такое может быть только у нас. Как и над легендарным Николаем Кузнецовым…

Ольга присоединилась к нему, сказав, что не знала того, что услышала, и очень жалела. Собираясь уходить, обещала рассказать о Зорге Геннадию Ивановичу.

— Он мне много говорил о вас, — прощаясь, задержала она мою руку. — Мы вас ждем. Мы… — подчеркнула она.

Мне же хотелось ей сказать, что я тоже кое-что знаю о ней, но я промолчал. А следовало бы попросить ее не терзать его ранимую душу, ведь он ее очень любил.

51

Началась отпускная пора, Ольга собиралась в отпуск. Об этом она поделилась с Гришановым, сказав, что давно уже не была в своей родной деревне, где похоронена ее мать, которую она не помнила, но непременно хотела бы побывать на деревенском кладбище. Ольга корила себя за то, что пролетели годы, а ей все никак не удавалось выбраться, чтобы побывать в тихой деревушке, где прошло ее детство, где она маленькой девочкой в ситцевом платьице, сшитом бабушкой, бегала босиком по росистой траве вокруг пруда, карауля гусей и в теплой лужице собирала в подол копошившихся головастиков.

Геннадий Иванович с одобрением отнесся к ее намерению, даже настаивал, чтобы она больше не откладывала поездку, низко поклонилась и от него могильному холмику матери, представлявшемуся ему не иначе, как заросшим травой. Да и отец ее, рано умерший, уже после войны от тяжелых ранений, был похоронен в тех же местах, где-то поблизости, в другой деревне, в которой учительствовал.

Чем больше Гришанов узнавал Ольгу, тем сильнее ощущал желание побывать в ее родных краях вместе с ней, сознавая, что это почти невозможно.

В нем жило два человека — один понимал Ольгу, что по–другому она поступать не могла, а другой противился, не признавал никаких сложностей и условностей мира и настаивал на своем. Ему так хотелось верить, что Ольга с ним, и он убеждал себя в этом, но нуждался в постоянном подкреплении своей уверенности, как цветы в поливе живительной влагой.

— Я засохну без тебя, — признавался он ей совершенно серьезно, упиваясь женственностью Ольги, находившей такие слова к нему, что он удивлялся, где, как, когда она их находила и передавала ему весь дух раскованной русской души, сложившейся в глубинке, куда не проникла разрушительная цивилизация.

Каждый отъезд Ольги, особенно в отпуск, Гришанов

переносил болезненно. Он понимал, что не мог удержать ее около себя, что было сверх его сил и желаний, но смириться с тем, что она на какое-то время его покидала, не мог. Правда, на этот раз его сдерживало то, что на лице Ольги, когда речь заходила о ее родителях, он видел на глазах едва удерживаемые слезы. И он старался не напоминать ей о своих переживаниях. Его не оставляла дерзкая мысль — поехать вместе с ней, что бы это ему ни стоило.

Гришанов помнил слова великого немца Гёте о том, что если

хотите понять поэта, отправляйтесь к нему на родину. Ольга не была поэтом, но в ней он чувствовал поэтическое начало и хотел понять ее. Ничего ей не говоря, Гришанов начал про себя выстраивать планы ее сопровождения. Долго скрывать этого не мог и однажды, не удержавшись, поделился с ней, хотя и предчувствовал несбыточность своего намерения. В деревне у Ольги проживала тетка, помогавшая бабушке выходить ее, с кучей своих ребятишек, ютившихся вместе со взрослыми в горнице, как она называла одну из двух комнат давно построенной хаты. В ней она и росла на положении бедной Золушки. Все это не могло не сказаться на ее добром характере, тонко чувствующем каждое слово, разделяющем людскую боль, готовом прийти на помощь и поделиться всем, что у нее есть.

У Гришанова всегда щемило сердце, когда она рассказывала ему о своем детстве и он старался делать для нее все, что мог, чтобы на ее лице чаще появлялась улыбка. В нем жила и искренняя признательность к тем из ее родственников, которые приютили и накормили ее.

Гришанову хотелось увидеть этих добрых людей, увидеть деревушку, приютившуюся вдали от больших дорог, живущую в своем маленьком непритязательном мире, опустошенную пронесшимся ураганом войны. Из рассказов Ольги Гришанову рисовались старая покосившаяся хата, пруд в ложбине; степные просторы вокруг деревни, набегавший на приволье ветерок, раскачивающий волнами зеленоватую рожь, украшенную васильками. В их яркой голубой синеве он видел бездонное летнее небо и чувствовал запахи степного разнотравья.

Находясь во власти всех этих представлений, Гришанов не вытерпел.

— Я хочу поехать с тобой. Хочу…

Она отнеслась к его намерению более чем благосклон–но, даже стала обсуждать варианты возможного путешествия. И он ей поверил, стал готовиться к поездке, невзирая ни на какие сложности и опасения огласки, грозившей тяжкими для обоих последствиями.

Чем больше они вдавались в подробности подготовки к поездке, тем очевиднее становилось для него, что мечта эта неосуществима, хотя поначалу он не сомневался в искренности желания Ольги поехать с ним вместе. Но как это сделать, ни он, ни она не представляли и Гришанов вынужден был отказаться от своих радужных планов. Она ни разу не обмолвилась, что с ней собирается муж, быть может потому, чтобы не ранить этим Гришанова. Потом, как заметил Гришанов, она стала избегать разговоров о своей поездке по мере того, как она приближалась.

Гришанов упрекал себя в наивности своих задумок, о которых он мог только мечтать. Он тоже перестал ей напоминать о сборах в дорогу.

Ольга ушла в отпуск. Сопровождение не состоялось. Геннадий Иванович почти месяц ничего не знал об ее отъезде, он мог только догадываться, что она уехала, хотя могла ему позвонить и сказать, что уезжает. Его не покидала успокаивающая его мысль, что если она и уехала, то одна. Размышляя об этом, он убеждал себя, что был бы ей большой помехой, создал бы трудно объяснимую ситуацию, когда пришлось бы рассказывать о себе тетке — кто он такой и зачем приехал? Она неизбежно бы осудила Ольгу и его и им обоим не удалось бы избежать не только деревенских пересуд. Ему даже приходили на ум слова: «У тебя же есть какой-никакой муж… Как же ты так?..»

…Прошел месяц, Ольга вернулась из отпуска в самом радужном настроении с чуть загорелым лицом, посвежевшей, и как она призналась ему при первой встрече, соскучившейся по нему. С распростертыми руками, как с расправленными крыльями, в его любимом голубом платье с крылышками, прикрывавшими плечи, она бросилась в его крепкие объятия. Он долго не отпускал ее от себя, как всегда не веря самому себе.

— Это ты?

— Это я, милый, это я…

— Куда же ты так надолго пропала? Рассказывай. Как говорят немцы — я весь превращаюсь в слух.

— Ты же знаешь, я ездила в деревню. И какая же я… Так долго не была в родных, милых сердцу местах. Поплакала на могиле матери… Теткин домик совсем ушел в

землю. Даже не верится, что я в нем жила под бабушкиными иконами в красном углу. В деревне почти никого не осталось. Разбрелись, разъехались, как и я, по белу свету. В запустении доживает деревня и люди. Только по ночам кричат филины.

Тетка несказанно обрадовалась моему приезду. Мы с ней бродили по полям вокруг деревни, я собирала алые маки и твои любимые васильки, ни на минуту не забывая о тебе, мой Василек. Мне там легко дышалось и хотелось остаться с добрыми, простыми людьми.

Ольга, рассказывала о подруге ее матери, жившей в соседнем селе. Когда она узнала о ее приезде, тут же прибежала, обняла ее как родную со слезами на глазах.

А Ольга глядя на ее постаревшее, обветренное лицо» хотела расспросить о матери. Ведь она с ней дружила, слышала ее голос, знала, какой она была.

— Я почувствовала в ней близкого мне человека, помнившего

маму. Все о ней говорили хорошо, тепло, с сожалением, что так рано умерла. Мамина подруга приглашала меня в гости к себе. Я собиралась, но мне так и не удалось с ней не спеша поговорить.

— Почему же ты не побывала у нее?

Ольга замялась, виновато потупила глаза. Что-то ей мешало сразу ответить на этот вопрос.

— Я же была не одна.

— Не одна?.. — сразу догадался Гришанов, кого она имела в виду.

Догадка поразила его, как блеснувшая поблизости молния. Он помрачнел. После молнии должен был последовать гром, но Геннадий Иванович не дал ему прогреметь. Ольга все это видела, догадывалась, что творится в его душе.

— Мы ездили вдвоем. Какой разговор в присутствии его. Ему все это безразлично, не нужно. — Она не произнесла слова — муж, не называла его по имени и это ее подчеркнутое отношение к нему несколько успокаивало Г ришанова.

— Зачем же он поехал с тобой?

Вопрос для Ольги был трудный, она не знала, что на него ответить. Геннадий Иванович стоял около нее, она держала его руку, но он смотрел в окно, под которым привольно рос еще молодой клен, широко раскинувший свои ветки, затемнявший кабинет. Погода, словно почувствовав недоброе, нахмурилась и скоро зашумел проливной дождь, обмывая зеленые кленовые листья, с которых срывались

на мостовую крупные капли. Какое-то время они стояли молча, прижавшись так близко, что он чувствовал, как учащенно от волнения бьется ее сердце. Гришанов был глубоко уязвлен тем, что он услышал от нее. В нем помимо его воли копилась буря, но он только глубоко вздыхал.

— Иди домой, — сказал он ей. — Тебя ждут.

— Никто меня не ждет, — ответила она тихо со слезами. В них был ее немой ответ на невысказанный Гришановым упрек. Ему хотелось верить ее жестоким словам, которыми она хотела объяснить многое, но на этот раз он не воспринимал их, они пролетали мимо него.

Ольга ушла обиженной, не проронив ни слова. Как только он остался один и заходил по кабинету, задымив сигаретой, пришел к тому, что сердиться на нее не мог, как и не имел никакого права упрекать ее, но все его существо протестовало против того, что она как бы тайком уехала с мужем.

Все остальное связанное с этим, Гришанов додумывал сам, в чем ему помогала его безудержная фантазия, заводившая нередко в тупик, из которого он каждый раз мучительно искал выход.

После этой неожиданной для обоих размолвки, время шло тягостно, Гришанов замкнулся, избегал встреч и объяснений с Ольгой. И все же они мимолетно встречались. Лицо ее было обиженным, но на нем не было и следа надутости. Она старалась поздороваться с ним ласковым голосом, даже улыбнуться, как будто между ними ничего не произошло. Видя мрачное настроение, Ольга стремилась вывести его из затянувшегося тягостного состояния.

Вскоре и он почувствовал себя виноватым перед ней. «Какое я имею право требовать от нее исполнения своих несбыточных желаний? — Никакого!» — повторял он про себя. Извиняясь, он сказал ей об этом, но Ольга, выслушав его, запротестовала:

— Я даю тебе это право.

Эти неожиданные властные слова не только его разоружили, но он еще и еще раз почувствовал, как жестоко с ним поступила судьба. Не смилостивившаяся над ним даже в таком скромном его желании, как побыть вместе в отпуске.

Преднамеренно или нет, но Ольга вернулась к своей поездке в деревню, что он встретил весьма настороженно и даже хотел просить ее ничего больше не рассказывать.

— Ты меня еще раз прости, — прервал он ее.

— За что?

— За то, что вторгаюсь в твою жизнь.

Ольга помолчала. Снова начались объяснения.

— Я тебе доставляю столько мучений. И мне тоже нелегко. Что же мне делать? — в который раз она спрашивала его.

Ответа не последовало. У Гришанова его не было, хотя он и надеялся на что-то, но и сам не представлял это «что-то».

Ольга понимала Василька, догадывалась, что его так сильно задело и поэтому хотела как-то рассеять сгустившиеся над ними грозовые тучи.

— Ему там было не интересно со мною. Я приехала на свою родину, а он бездельничал, днями скучал, посматривал на всех свысока, не понимая меня, людей, ехидно подсмеивался не только надо мной, но и над теткой, относился к ней с пренебрежением, доставлявшим ему удовольствие. Меня же переполняли воспоминания детства, хотя и трудного. Я там словно оттаяла в чистом деревенском воздухе, пропитанном запахом полей. Мне хотелось побыть там подольше, а он торопил меня с отъездом. Так что все радостное отравлялось его желчью.

Гришанов не совсем верил ей. Для него камнем преткновения оставалось то, что он был с ней и она ему об этом сказала после возвращения. Это бросало его то в жар, то в холод, но он упорно молчал.

— Нас провожала на станцию тетка. Ехали мы автобусом. До станции километров двадцать. Казалось, что мы с ней не наговорились за те несколько дней, которые я провела у нее. Она видела его отношение ко мне, переживала за меня, но старалась не вмешиваться. Я понимала тетку по ее лицу, по ее намекам, понятным только мне. Назревал скандал.

— И ты приложила все усилия, чтобы его не было, — проронил Гришанов, думая о своем.

— Я старалась как-то сгладить, уговорить его не ворчать, угомониться… Мне не так легко было.

— Но ты угомонила его…

Ольга не совсем понимала его. Гришанову хотелось еще добавить к тому, что он сказал, слово «лаской», но он спохватился и не произнес его.

— Приехали мы на станцию. Он прошел с чемоданом в вагон, а я осталась с теткой на перроне. Тетка, видя, какая у меня жизнь, расплакалась, жалея меня как девочку- сиротку. Я тоже не удержалась.

Гришанов снова и снова хотел, чтобы она не рассказывала эти подробности, причинявшие ему боль, но Ольга посмотрела пристально ему в глаза, собираясь открыть тайну, которую поведала тетке.

— Я решилась сказать хоть одному человеку на земле, что у меня есть в жизни… Я призналась ей… — — опустив глаза, тихо говорила она.

Гришанов насторожился после этих слов, спросил:

— В чем? Извини, я не настаиваю на ответе, — спохватился он.

— Что я люблю одного человека и он меня тоже любит. Я только не назвала тебя.

Широко открытыми глазами, со слезинками в уголках, покатившимися по ее щекам, она стояла перед ним как на исповеди, считая, что очистилась от всех своих грехов.

Гришанов, никак не ожидавший этого признания, привлек ее к себе и она расплакалась в его объятиях.

Погожим днем бабьего лета в добром расположении духа позвонил Геннадий Иванович, приглашая меня на рыбалку к однополчанину, председателю колхоза.

— Приезжайте, сварим такую уху, какую только по праздникам подавали на царский стол.

Я согласился, спросил как он там один поживает.

— Да, один, — со вздохом протянул Геннадий Иванович. — Получил письмо от однополчан, собираются на встречу участников парада 7 ноября 1941 года. Думаю поехать. И я тогда

шагал по брусчатке на Красной площади. Так давно это было, но было. Шел снег… Да, как давно я не ходил в атаку… Давнишняя мечта — побывать на Куликовом поле, а потом в Киев, ˆнавестить своих, постоять у Золотых ворот, как и на Красной площади.

Я ему сказал, что, может быть, вместе соберемся на Куликово поле, а оттуда заедем в Москву.

— Это было бы прекрасно. Не знаю как на вас, а на меня старина действует. Прикосновение к ней нагоняет раздумья о неповторимости времени, нас и нашего мелочного бытия.

— Наш путь — в тоске безбрежной, — напомнил я ему блоковские слова, разделяя его настроения.

52

В последний день только что ушедшего в историю, полного драматизма и катастроф старого 1991 года, как

по заказу выпал снег. Природа, словно почувствовав обрушившиеся на людей беды «перестройки», преподнесла новогодний подарок, припорошив все неприглядное в нищенском бытие, принарядила пушистым снегом зашумевшие леса, украсила обезображенные деревья на городских улицах, укрыла проржавевшие, дырявые крыши домов. Белый снег, пожалуй, единственное, что как-то напоминало об испокон веков отмечаемом новогоднем празднике, накануне которого прозвучали мрачные предупреждения как в штормовую погоду, о надвигающейся опасности. Она грянула двумя днями позже, названная как тайфун — «Либерализация». Не до веселья было за скудным новогодним столом, омрачившим праздник. Мне хотелось как-то скоротать этот день.

Утром звонил телефон. Поздравляли с наступившим новым годом. Позвонил и Иван Ильич.

— С новым годом, — услышал я в трубке. — Раньше говорили с новым счастьем. Будем надеяться. Приходите, мы ждем вас. Есть даже бутылка шампанского. Купили про запас по старым ценам.

Я пообещал прийти.

Скользко было на улицах и слякотно на душе. Горожане оказались как на катке, едва удерживаясь на ногах.

Природа не могла посыпать тротуары песком, а в коммунальной службе, переведенной на новое мышление, эта работа была исключена из прейскуранта. У отцов города дела, видимо, были поважнее, чем забота о горожанах, не до очистки улиц от снежных заносов, в разгар «перестройки».

Пожилой человек, можно сказать старичок, с пустой сумкой в руках (на случай, если где-то что-то дают), подходя к трамвайной остановке, поскользнулся, упал. Старик лежал на тротуаре, распластавшись, шапка отлетела в сторону. Стоявшие на трамвайной остановке видели неподвижно лежавшего человека, но никто к нему не подходил. Через него даже переступали молодые парни. Мне трудно было одному поднять обмякшего беспомощного ветерана. Я взял его за плечи пальто, потянул на себя и попытался поставить на ноги. На меня косились — уж не заодно ли я с дедом где-то подвыпил на Новый год и выручаю его? Долетали смешки. Никто не подошел помочь. Басовито звенели колокола близлежащего собора. Их тоже мало кто слушал, а они как раз призывали помочь лежащему человеку. С

большим трудом удалось мне посадить его на

скамейку под навесом. Пожилая женщина подобрала шапку старика и сумку.

— Спасибо, — шептал он. — Спасибо…

Наверное, трудно ему было говорить погромче. Я постоял около него минуту. Он, кажется, приходил в себя.

— Теперь я доеду. Подожду трамвай. Спасибо…

Когда я от него уходил, по его щекам катились скупые

старческие слезы.

Колокола все звонили, а пешеходы были безучастны: мало ли православных падает на улице людей старых и молодых, ломают себе ребра, ноги, ударяются головой, а иногда остаются на том месте. Но колокольный звон напоминает: не проходи мимо, не проявляй черствость и бездушие, основательно поселившиеся не только у тех, кто находился на трамвайной остановке. На призывы к милосердию пока что никто не реагирует. Отчужденность превратилась в повседневность. Надеяться на то, что кто-то окажет помощь упавшему, трудно, не говоря уже о том, что кто-то заступится, остановит машину, доставит в больницу человека, попавшего в беду.

Иван Ильич и его супруга встретили меня приветливо в прихожей. Оба раздевали и разували, приглашали проходить.

Профессор жил более чем скромно в двухкомнатной квартире хрущевских построек. В вазе на телевизоре вместо традиционной елки была пушистая с длинными зелеными иглами ветка сосны. На ней колокольчик и два шара.

— Все остальное отдали внукам, — сказала супруга.

Усаживаясь за стол, на котором стояла бутылка шампанского с черной этикеткой и высокие тонкие бокалы, я рассказал об упавшем старичке.

Оба отнеслись весьма сочувственно к незнакомому человеку.

— Сейчас очень модными стали слова: цивилизация, милосердие, гуманность, духовное возрождение. Растут как грибы разные благотворительные общества и банки, открываются счета, а по телевидению как назло демонстрируются экстравагантные моды, рекламируются банки, биржи, акции, концерны, а в магазинах бешеные цены, людям не до мод, банков, бирж, а как бы выжить, — с возмущением говорил Иван Ильич. — О какой цивилизации может идти речь, если варварские реформы, открывшие дорогу дикому рынку, если государственные деятели, пре–небрегающие жизнью абсолютного большинства народа, проводят курс на выживание, открыто заявляя, что они видите ли предвидели — «не все выдержат реформ». Значит, имеется в виду истребление определенной 4асти населения. Известный историк

вынужден был признать, что «совершилось ограбление многих миллионов и от этого факта никуда не уйти».

Один из тех миллионов, слушая лекцию моего коллеги, профессора, спросил:

— «Горбачев обещал привести Союз к настоящему социализму — не вышло. Понимает ли Ельцин, что и современный капитализм в ближайшее время в России тоже не получится? Но если даже наши вожди не ведают, куда они ведут страну, то во что тогда верить, чего ожидать и на что надеяться простому человеку?»

Профессор задался целью ответить на глобальный вопрос в газете: «Есть ли идеал у России: что взамен социализма?»

Разваленную Россию подвели к перепутью, только не к камню, у которого витязь Васнецова задумался, куда идти, а к пропасти. В духе времени профессор лягнул коммунистов, так же, как недавно считалось неудачным выступление ораторов, не поддержавших борьбу с курением и уничтожение сорняков на Кубани, выдал им с лихвой: «… Россиянам осточертели и идолы времен сталинизма и после сталинского псевдо–социализма». А ведь совсем недавно профессор утверждал идеологию этих идолов, вдалбливал ее студентам. Давно доказано, что без патриотической идеологии и идеалов нет целостного Отечества. Они скрепляют, объединяют общество. Сам профессор задался вопросом, что для достижения цели «Необходима общенациональная цель, способная воодушевить и сплотить всех на последовательное осуществление мер по выходу из социально–экономического тупика». И Достоевский утверждал, что «тайна человеческого бытия не в том, чтобы только жить, а в том, ради чего». Для этого нужна идеология, которая определяет общенациональную цель. Другое дело какую идеологию исповедовать. На сегодня выбор небольшой: социалистическую или капиталистическую. Без четкого определения идеи невозможно организовать политические и социальные государственные институты, призванные управлять социалистическим или капиталистическим обществом.

— Иван Ильич, ну, отдохни ты, пожалуйста. Заговорил Алексея Ивановича. Успокойся.

Соня, как можно сегодня молчать? Завтра же обрушится либерализация. Она нас завалит и мы задохнемся, как в шахте при обвале.

— Сегодня же первый день нового года, праздник.

— Праздник?..

Иван Ильич сдержался, наверное, потому, что сидели за столом и он не посмел сказать: «Какой там праздник».

— Сейчас всячески замалчивается переход от социализма к капитализму. По крайней мере никто открыто, несмотря на гласность, рассуждает так, как это не только сложный вопрос теории и практики, не имеющей прецедента в мировой истории, но из-за опасения наклейки ярлыка партократа. Также стыдливо замалчивается и упразднение советской власти, Советов, вошедших в плоть и кровь нынешнего поколения. Они заменяются мэриями и администрациями, не предусмотренными конституцией. Каждому школьнику известна формула — капитализм созревал в недрах феодализма. У нас же строился социализм, зародившийся в капиталистическом обществе, да еще и развитый, в нем никак не мог пустить корни капитализм. Прав был профессор, что «учитывая все, что обещать нашему народу, россиянам, за несколько лет (а не за пятьсот дней) создать в стране современное капиталистическое общество — это еще большая утопия, чем обещания коммунистов (точнее только Н. Хрущева) на протяжении одного поколения построить коммунизм».

Сегодня и в обозримом будущем у нас нет никаких предпосылок, никакой надежды для утверждения основ капитализма. К этому не подготовлена психология людей, выросших при социализме, начисто отвергавшем частную собственность и класс предпринимателей и поэтому не знающих, что такое капитализм, как его «построить».

Я слушал неистового профессора, знавшего досконально свой предмет и отстаивавшего то, в чем он был убежден. Только меня не следовало агитировать. Иван Ильич, как и всякий профессор, был увлеченной личностью и не мог не говорить об идеологии и мотивах деятельности в психологии личности, к которой он питал отвращение.

Мне тоже хотелось его успокоить заверением, что я разделяю его тревожные мысли.

— Десятилетиями у нас утверждалась плановая система ведения народного хозяйства. Ее фрагменты по

заимствовали некоторые высокоразвитые государства. Так? — спросил я Ивана Ильича.

— Да, да, да…

— Для перехода же к капитализму эту систему надо разрушить до основания, а потом уже на ее обломках должен родиться капитализм. Построить его нельзя. Разрушение народно–хозяйственного комплекса привело к резкому спаду производства, к анархии, политическому и экономическому кризису, к катастрофе. Страна стала неуправляемой вследствие разрушения складывавшихся десятилетиями управленческих

структур. Осиротели заводы и фабрики, брошенные в хаос дикого рынка, идет сокращение производства, основы материальных благ и ни у кого нет никакой заботы о работе фабрик и заводов. Они у нас не чьи-то частные, а народная собственность. Кому же их передавать в частную собственность? Фабрики и заводы, колхозы и совхозы, земля принадлежат по праву всем, кто на них работает. Только они вправе распорядиться своей собственностью по своему усмотрению.

— История повторяется, Алексей Иванович. «Потерпите год и наступит улучшение» — это заимствование из хрущевского обещания поколению коммунизма. История посмеялась над этой глупостью.

— Мой старшина Семен Лихачев, сибирский самородок, из старателей, хоть и не читал «Похвалу глупости», но в разговорах вставлял: «Глупость—дар божий и ейной надо уметь пользоваться». Не знаю чьи это слова, но впервые я их услышал от него.

На умном лице Ивана Ильича, в его светлых глазах под нависшим крутым лбом мелькнула добрая ироническая улыбка.

— Не спасут нас ни советники со стороны, ни надежды на подачки милостыни, жевательной резинки. Да и к лицу ли россиянам одевать смокинги с чужого плеча?

Иван Ильич еще долго отводил душу. Ему представился случай выговориться и от этого становилось, видимо, легче.

— Попробуйте наших яблочек, — угощала меня супруга Ивана Ильича, уловив паузу в нашем разговоре.

На одной тарелке лежали моченые яблоки, на другой как будто бы только что сорванные.

— Сами вырастили, — сказал Иван Ильич, на своей фазенде. Надо вам показать нашу хибарку.

— Что показывать? Стыдно за профессора.

— Соня, в ней вся прелесть. Терпеть не могу кирпичных сооружений и комфорта на природе. А в общем она права.

Профессор стыдился не своего профессорского звания, а того как он ютился в убогой клетушке, но об этом он помалкивал. Не один Иван Ильич был озабочен жизнью в ящике, разделенном перегородкой на две половины. Давно повелось, от большевиков, а он напоминал мне убежденного в своей идеологии большевика–фанатика, вести аскетический образ жизни, даже в одеянии, как монахи. Маршалы носили солдатские гимнастерки, наркомы — косоворотки. Но шло время, большевики–аскеты уходили и постепенно избранные писали для себя грамоты о привилегиях, как приложение к табелю о рангах. Те же, коим они были не положены, строго контролировались, чтобы они не разлагались от

обогащения и барских замашек.

С контроля наличности у членов бюро крайкома дач и машин начал свою работу на Кубани Виталий Иванович Воротников. Ни у кого не оказалось. Потом все отчитывались за каждый метр жилья.

— У коммунисте» так и должно быть, — сказал профессор.

53

Прошли месяцы… В середине сентября начались занятия в институте, где Иван Ильич возглавлял кафедру общественных наук. Мы случайно с ним встретились в сквере у цветочной клумбы, места памятника Екатерине. Он искал курево в своих карманах. Я ждал. Ему хотелось закурить, заглушить нервную вспышку, а спичек сразу не находил, копался в портфеле, в котором был полный беспорядок.

— Что случилось, Иван Ильич?

Он словно меня не слышал, пока не нашел спички и не прикурил. И только, когда блаженно затянулся, чуть откинув голову назад, и выпустил жидковатый дымок изо рта, ему, наверное, полегчало и он показал рукой на солидное здание с прямоугольными колоннами.

Я понял, что он только что оттуда, там довели его до такого состояния. Галстук у него съехал на бок с низко опущенным узлом, верхняя пуговица рубашки расстегнута. Чуть успокоившись, он укоризненно сказал:

— Вчера же они были совсем другие, упрекали меня

за лекции, в которых по их мнению мало было социализма. Требовали социализма! Вся власть Советам! Сегодня я их не узнаю, их словно подменили. Перекрасились…

Теперь крутят они головой от того, что я не могу выбросить само слово социализм. Не перестроился… Но я же не ветренная модница, не подстраиваюсь под ветер — сегодня одно, завтра другое. Можно менять юбки — сегодня выше колен, завтра до пяток или в американских джинсах с заплатками щеголять, а я предпочитаю носить свои штаны, потертые, но свои. Джинсы я не надену на потребу моде.

— Я тоже, — поддержал я его из-за солидарности.

— Так вот!.. Им следовало бы знать, что коммунистическая идея возникла в глубокой древности, что это закономерное явление в развитии общества, а не чья-то выдумка. Материалистическое мировоззрение, — уже с увлечением, как на лекции, говорил профессор, — как учил еще древний философ Гераклит: «Не создано никем из людей и никем из богов». Окружающий мир существует извечно. Он никогда не возникал и никогда не исчезнет, а будет лишь переходить из одного состояния в другое. Можно спорить, но нельзя изъять из истории учение о коммунизме. Его изначальные истоки были еще в первобытно–общинном строе. В средние века появились социалисты–утописты, мечтатели о лучшем будущем

человечества, как они его тогда представляли.

Человечество помнит жестокую инквизицию, преследование великих мира сего, суд над Галилео Галилеем, казнь на костре Джордано Бруно.

Трагические судьбы Мартина Гуски, Томаса Мюнцера, Томаса Мора, приговоренного к «… влачению по земле через все лондонские Сити в Тайтбери, там повесить его, снять с петли, пока он еще не умер, вспороть живот, вырвать и сжечь внутренности. Затем четвертовать его и, прибить по одной четверти его тела над четырьмя воротами Сити, а голову выставить на Лондонском мосту».

Томмазо Кампанелла, автор знаменитого «Города Солнца», руководитель восстания на юге Италии прошел через изуверские пытки и был заточен на 27 лет в тюрьму. Можно назвать приговоренного к смерти французского революционера Гр. Бабёфа, сосланного на каторжные работы, Н. Г. Чернышевского и многих других. О жертвах свирепствовавшей инквизиции сейчас при гласности замалчивается. Демократия получается однобокой, про

возглашается то, что ей выгодно сегодня, но это из арсенала проклинаемой ими партократии. А ведь не грешно помнить отдавших жизнь за прогресс человечества, за демократию.

Профессор выкурил сигарету и тут же взял другую. Одной ему мало было. Но пока же прикуривал, держал наготове в руке.

— Иван Ильич, успокойтесь.

— Не могу. Довели.

— Поберегите себя.

— Спасибо на добром слове. Но поймите, не терплю примитивщины и кустарщины в споре. Меня, наверное, отстранят, отнимут кафедру, выгонят, но я останусь профессор ом–материалистом.

— Что вы говорите. За что же?

— А вот за что. Вся сознательная жизнь нашего поколения протекала при социализме и мы хорошо знаем, что в сфере удовлетворения жизненных потребностей народа не было какого-то предпочтительного выделения людей по их социальному положению, хотя не было и уравниловки Люди более высокой квалификации материально поощрялись лучше, нежели остальные. Это не обуславливалось их пролетарским или непролетарским происхождением.

После войны была отменена карточная система для всех категорий населения. Улучшение материального положения населения осуществлялось не методом дикого повышения цен, а методом систематического ежегодного их снижения. Вернемся к

сегодняшним дням. Свора предприимчивых дельцов перепродает продукты питания, товары первой необходимости по бешеным ценам, грабит простого труженика, у которого хватает только на хлеб и молоко. Рабочие, крестьяне, служащие презирают перекупщиков, клеймят спекулянтов, наживающихся на их бедствии, но дельцам–рыночникам в угоду американцам покровительствуют властные структуры. Буш недавно с умилением заявил, «что на протяжении более сорока лет США возглавляли борьбу Запада против коммунизма… Конфронтация закончилась. Советский Союз больше не существует. Это победа наших моральных сил, наших ценностей».

Он не раскрыл механику — как это было сделано. Ему это не нужно было, а нам следует знать о напористости «агентов влияния» ЦРУ, о чем известно было советской контрразведке. Эта агентура действовала в верхах и

обеспечивала проведение курса на разрушение государства и партии, основ социализма. В низах надо было вызвать недовольство, оживить тех, кто ненавидел социализм, вызвать «брожение умов» в обществе. Для этого были пущены в ход: гласность, плюрализм, свобода н. т. «неформалов», партий, организаций. В работу включились все обиженные, реабилитированные, преступные элементы, кооператоры–перекупщики. К этому еще присовокупили кампанию по борьбе с привилегиями и злоупотреблениями. На этой мутной волне шумные митинги морально подавили низовые партийные комитеты, а верхушка, ЦК отмалчивались, внося растерянность в ряды коммунистов. В страну хлынула агентура ЦРУ и эмиссары эмигрантов и их потомков. Кампания по разрушению сверхдержавы финансировалась Западом в виде благотворительной помощи и сам наш президент занялся бизнесом. Щедро оплачивались его книги, но это было прикрытие субсидий за развал государства, как и присуждение Нобелевской премии. Казалось можно бы провалиться сквозь землю за такие подачки, но с экс–президента как с гуся вода, он даже намекает на возвращение к политике, сославшись на великого сына Франции, ее патриота, ставшего на ее защиту в самые критические годы ее истории и возродившего величие Франции.

— Что же мы стоим? — спохватился я довольно поздно. — Давайте присядем на скамейку. Он посмотрел на часы.

— Можно. Время еше есть. Да надо остыть. Так вот… Строительство социализма, что на памяти нашего поколения протекало в обстановке жесточайшего сопротивления свергнутых эксплуататорских классов и их потомков. Утверждения некоторых прорабов перестройки о том, будто в переходный период у

советского народа не было классовых врагов — это ложь и фальсификация. Враги были. Они стреляли, вредили, совершали диверсии и саботаж. Внутренние враги смыкались с внешними. Террор развязали в стране не коммунисты и Советская власть, а буржуазные партии, белогвардейцы. Разведки иностранных государств объединились в борьбе с Советами. Появилась и плеяда ультралевых, некомпетентных партийцев, провозгласивших лозунги, усердно стремившихся своим показным усердием довести до абсурда политическую линию партии. Это вызывало на местах озлобление масс, объективно вредило социализму, бросало тень

на коммунистов, среди которых были и подхалимы и карьеристы, злоупотреблявшие властью. К тому же на социализм вылито столько помоев, что нынешнему поколению трудно отделить правду от лжи. И все же благодаря социалистическому общественному и государственному строю, опираясь на мощную индустрию, коллективное сельское хозяйство, высокий патриотизм народа, Советский Союз одержал победу в противоборстве с фашистской Германией. Наш строй позволил быстро восстановить разрушенное войной хозяйство.

Все это я отлично представлял и сам был того же мнения, но не смел прерывать Ивана Ильича, давая ему возможность выговориться, разрядиться.

— Ощутимый удар по социалистической системе нанесла руководящая верхушка партийной и государственной номенклатуры. Она фактически отделилась от народа, от жизни страны, от рядовых коммунистов.

Первые лица и их ближайшие помощники снизошли до распределения дефицитных потребительских товаров, поступавших на базы и в торговлю. А производство дефицита они никак не могли наладить, оказались не способными. И это, заметьте, при плановом ведении хозяйства.

Проблема дефицита стала все более ощутимой. В стране создалась обстановка для злоупотребления служебным положением, смыкания партийно–советской и правоохранительной номенклатуры с преступными элементами, дельцами теневой экономики. Все это вызывало недовольство в массах, неверие в чистоплотность и справедливость партийной и советской верхушки на всех уровнях.

Отчуждение лидеров от народа, обеспечение себе барского положения, беспринципность и безыдейность, обращение к его величеству рабочему классу не иначе как к черни, работягам привело к компрометации социализма. К тому же партийные лидеры типа Хрущева завели социалистическую теорию в тупик, а

«ученые» перемалывали то, что произносили лидеры, провозглашали их речи как вклад в развитие теории социализма, твердили о продвижении вперед, придумав термин «развитого социализма».

— Вам не приходилось слышать об иронии истории?

— О насмешке истории?..

— Можно и так, только это философская проблема. Над ней Гегель корпел. Ее смысл в том, что «посев не похож на жатву». Ирония истории покровительствует

Хрущеву и Горбачеву. Один наломал дров с коммунизмом, другой — с «перестройкой».

— Алексей Иванович, извините великодушно. Я вас заговорил. У кого что болит, тот о том и говорит.

— Нисколько не сожалею. Я словно побывал на лекции, обновил свои познания.

— Я тороплюсь, взяли огород, договорились с женою вскопать на зиму… Она, наверное, заждалась меня. Да, Алексей Иванович, вам на раздумья — кого бы вы назначили министром сельского хозяйства? Подумайте, я побежал на автобус. Извините, до встречи.

Профессор заспешил. Я посмотрел ему вслед. Чуть сгорбившись, но неистово убежденный в своей правоте, он крепко держал портфель, где лежали его лекции, с которыми он приходил в тот дом. Наверное, и копая огород, он спорил про себя со своими оппонентами, доказывал иронию истории. Я тоже размышлял над этим сочетанием.

Кого бы я назначил министром сельского хозяйства?

Придумает же такое профессор. Может, он имел в виду себя, отправляясь на сельхозработы? От профессора можно все ожидать.

А если серьезно, то я бы назначил… мудрого селянина, народного агронома Терентия Мальцева, сказавшего однажды, что селу не хватает мужика.

С иронией истории посложнее. Здесь надо разобраться, как-никак философская идея, высмеивающая устремление индивидов. Иван Ильич назвал двоих, а их больше.

Апогеем бахвальства Никиты Сергеевича было заявление о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Его тут же подхватила пресса и радио в духе того времени, широко разрекламировав криками: «Даешь коммунизм!» Рьяные драматурги поспешили со своими творениями на театральные подмостки, с которых посыпались заумные размышления о необходимости развернуть соревнование за быстрейшее продвижение к коммунизму, не задерживаясь на социалистической формации, как первой стадии на пути к коммунистическому обществу.

«Крылатая фраза», кем-то вписанная в выступление Хрущева, извратившая великую идею, очень понравилась кукурузному глашатаю. Еще бы. Ее тут же узнал весь мир, пораженный не только безотчетной болтовней, но

и глупостью провозглашенной тирады, когда страна еще не совсем оправилась от войны, а кукурузная политика привела к тому, что опустели магазины, не хватало хлеба, а крестьяне, боясь того, что отб&рут коров, пошли на массовый забой скота. Сокращалось поголовье, уменьшилось производство мяса, пришлось срочно поднять на него цены. Все это вызвало недовольство у поколения, которому обещали райскую жизнь в коммунистическом обществе. Говорят, что автор этого пророчества был по достоинству оценен Хрущевым: рекомендован для приема в Союз писателей как талантливый журналист, ошеломивший своим глупомыслием все человечество.

Хрущев в своих выступлениях наставлял литераторов, как надо выписывать типические образы современников, стремящихся к коммунизму.

Правда, сейчас никто не хочет признаться в своем «гениальном» предвидении, вложенным в уста первого секретаря ЦК партии. И те, кто это сделал, вдоволь посмеялись в последнее

время над проделкой. Это ли не ирония истории?

Казалось бы урок хлестаковщины послужит предупреждением всем последующим государственным мужам, предостережет их от смехотворных заявлений, которых бы никогда не допустил не то, чтр трезвый политик, любой простой смертный, умеющий читать. Однако это впрок не пошло. Не счесть всех последующих провозглашенных лозунгов, не принятых жизнью.

Достаточно сказать о пятилетке качества, об экономной экономике, об обеспечении каждой семьи отдельной квартирой к 2000 году. Начало этих и других прожектов лежит в великом десятилетии эпохи Хрущева, широко распахнувшего двери партии для приема карьеристов и всякого рода приспособленцев, скомпрометировавших демагогией партию, идейных, бескорыстных коммунистов.

На реформы Никиты Сергеевича откликнулось устное народное творчество — хлесткими анекдотами. В них нашло отношение народа к чудо–реформатору, провозгласившему приход коммунизма.

На Кубани остались воспоминания о его вояжах с хлебосольным застольем. За обедом хозяева поставили на стол разрезанный арбуз. Хрущеву не понравился арбуз в таком виде. Он попросил принести другой. Выбрали покрупнее. Никита Сергеевич разбил его о колено. Арбуз

оказался спелый, сочный, обрызгавший белую, шитую украинским орнаментом рубашку. «Вот так едят казаки арбузы», — поучал Никита Сергеевич. Он вспомнил, что во время гражданской войны останавливался на постое у какого-то казака в станице, где у него стащили сапоги. По его описанию нашли в станице того казака. Никита Сергеевич пожелал встретиться с ним. Перед посещением высокого гостя, местные руководители позаботились об убранстве турлучного жилья казака. Обставили мебелью его довольно скромный дом. Никита Сергеевич разговаривал с казаком о годах гражданской войны, о его жизни, Остался доволен.

Старожилы, помнящие этот визит Хрущева в станицу, рассказывают, что после его отъезда у того казака решили отобрать мебель, но он ее не отдавал, пригрозив пожаловаться Никите Сергеевичу.

Эти анекдотичные эпизоды задержались в памяти станичников. И когда проезжают ту станицу, непременно о них расскажут старожилы. Другого от его посещения края ничего не осталось. Даже не припоминают нашумевшего в то же время обещания перенестись в коммунизм.

Выступая на одном из многочисленных митингов во время

пребывания в ГДР, Никита Сергеевич заявил, что он был пастухом, недобрым словом отозвался о канцлере ФРГ Конраде Аденауэре. Стоявший рядом со мной степенный немец, внимательно слушавший синхронный перевод речи, покрутил головой и сказал: «Ну, и оставался бы пастухом».

Было бы, конечно, несправедливо не отметить разоблачение Хрущевым культа личности Сталина на XX съезде партии. Но это была запоздалая акция, когда Сталина уже не было. Хрущев разоблачал покойника. А при его жизни он говорил о нем совсем другое:

«Товарищ Сталин гениальный вождь и учитель нашей партии, отстоял и развил ленинскую теорию о победе социализма в одной стране… Меня, пастуха и шахтера, вывел в первые секретари. Нашего Сталина мы никому не отдадим».

Любил он напоминать с умилением о своем пастушьем прошлом и казалось бы должен был пощадить кормилиц-коровушек… Оставил-таки историческую веху в развитии животноводства, после которой так и не удалось восстановить поголовье. Вряд ли могло прийти в голову нечто подобное пастуху.

И все же это был не апогей потому, что не удержался Никита Сергеевич от возвеличивания собственного культа и провозглашения «великого десятилетия» своего царствования. Довести страну до голода и нищеты он не успел.

Как тут к слову не сказать об апогее Горбачева, обскакавшего Никиту Сергеевича «перестройкой». Это та же ария из той же оперы.

Здравомыслящим трудно понять почему в обливании помоями своего народа находят удовлетворение многие из пишущих и вещающих. Полковник Колпашников однажды, развернув газету, с горькой усмешкой сказал: «Вот опять чернухой кормят, чтобы удержаться на плаву и рекламировать неполноценность русского мужика, научившегося только пить водку за всю многовековую историю. Ни стыда, ни совести». Ясно и четко — по военному. Но если послушать представителей интеллигенции, то они заведут в такие дебри, из которых не выбраться. Может быть, поэтому и безмолвствует затурканный народ? Призывает к духовности Распутин, злобствует Астафьев, телефонист батареи, метящий в военные стратеги.

Многочисленные газеты ежедневно пестрят циничными измышлениями на собственную историю, призывами все разрушить, оставаясь глухими к размышлениям простых людей как выжить в наступивших сумерках нашего бытия, преподнесенных рчередным экспериментом, нареченным его

автором «перестройкой». Как бы ни был широк диапазон высказываемых на этот счет мнений, ученые мужи не могут в полной мере понять и объяснить этот катаклизм, но, пожалуй, ближе всего к истине подходят рядовые труженики, свободные от бесчисленных догм, выдвигаемых теоретиками, в ранге академиков и многочисленных кандидатов наук, в суждениях которых очень заметны дилетантские сиюминутные выверты на происходящие события. Теперь уже, после убаюкивающих словопрений на уличных шоу и с высоких трибун обанкротившегося президента, уподобившегося гоголевскому Манилову, с той лишь разницей, что его увидели в Вашингтоне, мало кто верит каким бы то ни было прогнозам и обещаниям на лучшую жизнь многострадального народа. Один называет срок год, другие в пять лет, а сколько нужно в действительности, чтобы выбраться из глубочайшего экономического и политического кризиса, никто не знает. Иностранцы подсказывают, что для утверждения цивилизо

ванных рыночных отношений необходимо по крайней мере пятнадцать — двадцать лет.

Горемычный полковник в отставке Колпашников, как- то посмотрев на меня еще молодыми глазами, сказал: «Самые счастливые годы жизни, как это ни странно, приходятся на войну». Подумав, добавил: «Да, пожалуй, и всего нашего поколения. На войне голова моя была чистая. Я знал, за что воевал и верил свято, что после войны жизнь будет цветущей. Но почему не удалось многое из задуманного и запланированного сделать?» — размышлял он.

Повинны в этом многие деятели культуры и другие не имевшие своего мнения и занимавшие конъюнктурные позиции. Они вовсе не выглядели борцами за истинные идеалы. Впоследствии стали объяснять условиями сталинского режима, хотя пели ему дифирамбы, даже были его убежденными сторонниками, всячески возносили его до небес, а потом при перемене ветра, как флюгеры, повернулись в другую сторону, забросили идеалы, которым поклонялись, присягали, потратили столько бумаги на их защиту в своих диссертациях. А за них присуждались звания Героев, премии, избирались в академики, выдавались дипломы докторов и кандидатов наук. Справедливо было бы аннулировать диссертации, если их авторы открещиваются от того, что они защищали в своих «научных» трудах.

Не тлеет только высокая гражданская поэзия. Она никогда не подводила. Сейчас почему-то не принято вспоминать, что все великие были гонимы царем и немало натерпелись от него в

ссылках, в тюрьмах, преследовались за инакомыслие, но не сдавались. Не страшило их даже отлучение от церкви, хотя они проповедовали непротивление злу насилием.

Появилась очень соблазнительная тема: Хрущев и Горбачев — ирония истории. Не возьмется ли за нее Иван Ильич? Очень хотелось склонить его засесть за эту работу. Эпиграфом к ней мог бы быть афоризм философа Сковороды: «всякому голову мучит свой дур», что соответствует горбачевскому «новому мышлению», приведшему к развалу могучего государства, процесса в рамках его «перестройки», чего не смог добиться Гитлер, захватив всю Европу.

Но Гитлеру, принесшему горе миллионам, куда меньше достается от «демократов», чем Сталину. Еще А. Даллес, проповедник «балансирования на грани войны», разработал стратегию разрушения «самосознания самого не

покорного народа на земле» путем культивирования в нем низменных чувств — от лжи, насилия и секса, до предательства, национализма и вражды к русскому народу.

55

Удивительно быстро течет река времени. Казалось совсем недавно стояли тоскливо голыми деревья в дорожной пыли, а теперь они зеленели под ярким палящим солнцем.

…Прошло больше недели после грозы. Чуть спала духота летнего зноя, прохладнее стали ночи, легче дышалось.

Чувствуя себя опустошенным и не совсем здоровым, Геннадий Иванович тоже остывал, пытаясь разобраться, что же произошло? Из-за чегй прерывалась связывавшая его с Ольгой не паутинка, а крепкая нить, невидимые концы которой оставались при них, глубоко проникнув в их души. Он не раз перебирал в памяти все то, о чем они говорили на последней встрече, словно ставил на диск проигрывателя пластинку и вновь и вновь прослушивал запись, стараясь ничего не пропустить. Жаль только, не видел он при этом Ольгу, ее смущенное лицо. Нет, он не отказывался от того, что сказал ей, но находил в нем и то, что не следовало бы говорить, хотя она тоже не уступала ему.

Они тогда разошлись в разные стороны и между ними образовалось пространство, разделявшее их, но на нем он не обнаруживал непреодолимых препятствий, сооружаемых противником.

В бессонные ночи его донимала мысль, что он должен был вести себя по–другому, не упрашивать, не взвинчивать себя, не выворачивать наизнанку то, чем он свято дорожил. Если и расставаться, что неизбежно должно произойти, как он понял желание Ольги, то по–рыцарски, с гордо поднятой головой перед человеком, которого он любил, чтобы ее казнила этим совесть.

Все это до него доходило по мере того, как боль обиды стала утихать, однако обидные огоньки вспыхивали и он возвращался к тому, что был прав, представляя их былые отношения чистыми, как слеза, забывая о безжалостности времени и обстоятельств, изменяющих людей, их идеалы, поведение, обесценивающего духовный мир, которыми живут целые поколения. Пришла же пора, и то, что совсем недавно считалось таинственным и священным, показыва

лось представительницами прекрасного пола со сцены в натуральном виде перед публикой на потребу алчному обывателю. А Геннадий Иванович оставался хранителем тонких ниточек высоких душевных сокровищ и, как ему казалось, их не прятала, а разделяла, поддаваясь природному чутью, Ольга, вместе с ним возносившаяся в голубое поднебесье в такого же цвета платье.

Неужели в ней все это умерло?.. И возобладала холодная расчетливость, которую он не замечал?

С этими мыслями он нередко засыпал под утро, когда в окна пробивался серый рассвет.

Проснувшись после тревожного, кошмарного сна с головной болью, он говорил себе: «Все, кажется, никакого примирения», хотя давалось такое окончание еще с мучительным раздумьем, наперекор всем своим здравым размышлениям. Верх брало втемяшившееся в голову оскорбление, которого он не собирался ей прощать потому, что каждый почувствовал бы себя униженным. Она, должно быть, видела это, но не сгорала от стыда.

Трудно ему было смириться со своим же решением. Пока он чувствовал около себя Ольгу, он расцветал, его не угнетало одиночество. Теперь оно терзало его. Он тяготился, не находя для себя каких-либо занятий. От всех этих угарных дум Гришанов занемог, никуда не выходил, жил отшельником, даже шторы не открывал, не пропуская к себе в квартиру солнца. Все его раздражало.

Написал письмо жене, просил приехать. На болезни не жаловался, не распространялся о своем бытие, но при чтении написанного можно было уловить тоску и одиночество автора, слонявшегося из угла в угол по просторной квартире.

Правда, его навещал соседский кот, серый, пушистый, сибирской породы, с лисьим хвостом. Он обычно настойчиво царапался когтями в дверь, а войдя в квартиру, чувствовал себя как дома, важно шествовал на кухню впереди хозяина, ожидая угощения.

Геннадий Иванович не скупился, знал его лакомства, отрезал ему кусочек сырого мяса или рыбы. После этого гость не торопился уходить, извивался в знак благодарности колесом вокруг ног хозяина, а потом забирался на мягкое кресло и прикрыв глаза лапой, дремал. Он не любил поглаживания по спине, противился как дикий зверь прикосновению к нему, но был ласков с тем, кто с ним так обходился. Это был, пожалуй, один из моментов отвлече

ния Гришанова от тягостных мыслей, да еще книги Ремарка, которые он перечитывал, находя в них много новых, сходных переживаний с героями. К тому же искал и ответы на мучившие его вопросы. Ремарк, его любимый романист, немало написал о любви и преданности. Геннадий Иванович погружался в ремарковский мир взаимоотношений мужчины и женщины, отличавшихся от описания всеми другими авторами. У Ремарка любовь всегда чистая, нежная, вымученная в страданиях и тем

сильнее, чем труднее жилось в войну и после войны его героям в жестоком повседневном мире. В ней они находили укрытие от тягостной жизни, шли на самопожертвование во имя любви. Это единственное, что нельзя было отнять у них, как бы они ни преследовались, как бы им ни трудно было, даже когда жизнь протекала взаймы. Могла ли это понять и так поступать с ним Ольга? Его одолевали теперь серьезные сомнения. И от них он уподоблялся тому художнику, который, употребив все свои силы, годами писал прекрасный образ. После грозы Гришанов словно откинул покрывало, закрывавшее полотно и, заглянув в душу своего персонажа, с разочарованием обнаружил, что написанное им плод его желания, а вовсе не живое отображение человека. Он и в самом деле увлекался рисованием и Ольга, зная об этом, преподнесла ему в день рождения, учрежденный ею в единственном экземпляре «диплом» художника, натолкнувший теперь его на эти мысли.

Жаркое лето было в разгаре, набегали тучи и в любое время могла прогреметь гроза, которой он побаивался.

«Не заразиться бы от всех этих дум ковринской болезнью из чеховского «Черного монаха», — опасался Гришанов. Он хорошо помнил, как Коврин ласково и убедительно говорил, а она продолжала плакать, вздрагивая плечами и сжимая руку, как будто ее постигло страшное горе. Он гладил ее по волосам и плечам, утирая слезы… Она жаловалась на свою жизнь дома, вздыхала, спрашивала как ей быть и мало–помалу приходила в себя. Все это он испытал и мир философских иллюзий казался ему болезнью, а лечить его могла только Ольга.

К тому же, начитавшись Ремарка, Г еннадий Иванович однажды не стерпел, позвонил Ольге, услышал ее голос в трубке, но не посмел ничего сказать. Он и сам не знал, зачем позвонил после того, как все уже было решено. Положил трубку, обвинив себя в слабости. И как бы оправдываясь, несколько раз повторил: «Нет, нет, нет…»

Спустя некоторое время после такого запретного наказа самому себе, раздался телефонный звонок. Геннадий Иванович раздумывал, поднимать ли трубку, предчувствуя, что звонить могла Ольга. А может быть врач?

— Да…

— Доброе утро. Это — я. С хорошей погодой, — говорила Ольга ласковым голосом, не таившем никаких обид, как будто бы не было грозы и между ними не пробежала черная кошка.

— Доброе утро, — не мог он не ответить, хотя и сдержанно, на приветливые слова, и в ожидании замолчал.

— Как ты там?..

— Плохо, — довольно резко сказал Гришанов, не скрывая своего настроения. Но ему уже хотелось, чтобы этот разговор не прерывался вдруг. Он пожалел, что вылетело у него это слово и Ольга конечно почувствовала тон, с которым оно было связано, но словно не слышала его. Существуют же извиняющие обстоятельства, при которых произносятся необдуманные слова. Может быть, она поняла это, или опомнилась и сожалела, что оскорбила его?

— Я тебя жду.

Эти, как показались ему, искренние слова, совсем застали его врасплох. И он от неожиданности на какое- то время замолчал, боясь ее.

— Алло?..

— Да, я слышал. Что изменилось? — не мог он сразу поверить ей и в то же время мелькнула мысль, что только она, его Ольга, которую раньше не собирался никому отдавать, могла так сказать, несмотря ни на что.

— Ничего. Все остается так же…

— По–моему, мы обо всем договорились, — настаивал он на своем, но в голове у него мелькнуло что-то другое. Ольга словно почувствовала молчаливое замешательство в его совершенно спокойной рассудительности.

— Не торопись. Ты учил меня повелительному наклонению…

Ее спокойный голос, оставшись близким, поколебал его упорство.

— Приходи ко мне, — сказал он, — если…

— Куда? — не дослушала она.

— Домой.

— Иду, — почти сразу согласилась Ольга.

— Жду, — прозвучало в трубке растроганно–короткое слово.

Уловила ли Ольга это или что-то другое подталкивало ее бежать к нему…

Даже в такое смутное время жизнь брала свое.

56

Не произошло только примирение между двумя сцепившимися правителями за место в теремах Кремля. Ладно, сошлись бы они на потеху люду московскому, как в былые времена на Москва–реке опричник Кирибеевич и купец Калашников в охотницком русском бою и не трещали бы лбы у русских мужиков. Ан нет, понасупились, затаив обиду, смуту посеяли на Руси. Наступила тягостная пора, какая бывает в засушливом году перед голодом.

Так, с иронией и возмущением рассуждал профессор Уланов.

Переживал он и за бедствие в науке, ощущал удар по русской патриотической литературе, оказавшейся как после стихийного бедствия у разбитого корыта. Сочувствовал загнанным в угол писателям, живущим с протянутой рукой.

— Всех измазали чернухой, патриотов грязью — русские молчат. Льется кровь, сыновей привозят в цинковых гробах — русские молчат. Выгоняют из дому — заступиться некому. Немота…

— Почему?

— Политика, Алексей Иванович, политика. У русских вытравили чувство национального самосознания. Молчи, что ты русский, уважай грузина, снимай с себя последнюю рубашку, отдавай ему.

Прорабы перестройки посадили на коня идеологов глумления и над старшим поколением, над могилами и прахом павших воинов, которых еще разыскивают близкие и однополчане.

Словно для продолжения этого разговора в канун праздника Победы по чьему-то совету ко мне пришла мать солдата, не вернувшегося с войны. Все ее многолетние попытки узнать о судьбе сына остались тщетными. Он пропал без вести весной 1942 года под Харьковом.

Она выплакала по нем все слезы. С сухими глазами на морщинистом лице мать еще раз хотела от меня услышать и понять — как это так — был солдат, воевал, писал ей письма с фронта и бесследно пропал: ни похоронки, ни могилы. У нее это не укладывалось в голове.

Я сказал ей о случавшихся кошмарах на войне, упомянув окружение наших войск под Харьковом. Ее сын мог потеряться. Взял грех на душу из-за жалости к сгорбившейся под тяжестью лет старушке, к ее неутешному горю. Утаил то, что я видел сам.

…Январская поземка заметала обочины скользкого шоссе, укатанного машинами, пушками и длинными обозами из саней и

скрипучих повозок, медленно тащившихся к переднему краю. На полуторках и ЗИСах, санях и повозках громоздились ящики с патронами, минами, снарядами. Уступая дорогу обозам, шла рота курсантов артиллерийского училища, растянувшись цепью, один одному в затылок, — с тощими вещмешками и длинными винтовками за спиной с примкнутыми штыками, возвышавшимися как громоотводы над головой. На встречных автомашинах и санях лежали или сидели наспех перевязанные раненые.

Уже далеко позади остались окраины Москвы. В поле свирепый ветерок обжигал лица курсантов, пронизывал насквозь легкое курсантское одеяние.

С каждым шагом все ближе и ближе становился передний край, все отчетливее доносилась перестрелка, громыхали дальнобойные батареи, видневшиеся с шоссе. До передовой оставалось еще добрых пять–восемь километров. Командир роты, старший лейтенант, как-то притих на марше и уже не требовал не только равнения, но и не торопил уставших курсантов, молчаливо и исступленно шагавших с затаенными чувствами к той, теперь уже недалекой черте, где кипела настоящая война, еще никем из них не испытанная. На том рубеже, где впереди окопов было узкое нейтральное поле — ничейная земля, сидел коварный, жестокий враг — немец, рвавшийся к Москве. Там каждому из курсантов уже была уготована судьба — быть убитым, раненым, а если повезет — попасть в число уцелевших, в счастливую тройку из ста, как потом подсчитают после войны.

На обочине шоссе попадались разрисованные маскировочными разводьями оставленные немцами автомашины, пушки, повозки, лошади, безжизненно лежавшие в снегу. Все это напоминало курсантам о недавних декабрьских боях в этих местах, об отступлении немцев, о том, что эту землю топтал кованый сапог оккупанта.

По охватившему всех молчанию можно было угадать в растянувшейся цепи напряжение по мере того, как все чаще и чаще вспыхивали короткие артиллерийские дуэли,

■

заставлявшие курсантов своим громом сжаться, почувствовать свою беспомощность перед грохочущим богом войны.

Канонада теперь ощущалась ими совсем другой, чем артиллерийские выстрелы на полигоне во время занятий по огневой подготовке в училище, когда из курсантов составлялись расчеты и они становились у орудийных лафетов. Приближением зловещей неизвестности был занят каждый курсант. Притихли и

самые отъявленные ротные острословы, почувствовавшие, что через несколько километров, когда сгустятся вечерние сумерки, курсантской роте предстояло занять место в окопах. Еще никто не представлял, как на рассвете после непродолжительного артиллерийского налета придется впервые вылезти из окопов и подняться на заснеженном поле в атаку, чтобы занять деревушку.

Я шагал где-то в середине строя, закрывая лицо холодной байковой рукавицей, иногда поворачивался боком или даже спиной к ветру, стараясь не отставать от командира отделения, шедшего впереди меня.

Вдруг шаг впереди идущих почему-то замедлился. Я, занятый своими мыслями, чуть было не уткнулся в вещмешок сержанта. А шедший позади меня лритихший балагур Володька Измайлов навалился на меня и мы вместе оказались в занесенном снегом кювете, но тут же выбрались, как ни в чем не бывало. Командир отделения остановился на секунду у чернеющего на снегу какого-то предмета, пока я не поравнялся с ним и не рассмотрел в кювете убитого. Он лежал ниц, наполовину занесенный снегом, выбросив руки вперед, словно хотел выбраться из канавы. Виднелась спина черной телогрейки, которую не могла замести поземка. Ветер сдувал с нее снежную пыль. Голова убитого едва угадывалась с набившимся в короткие волосы снегом. Виднелась и обдуваемая со всех сторон левая белая ступня с рыжеватой пяткой, чуть приподнятая, видимо, когда с нее стягивали сапог. Судя по телогрейке, это был наш солдат, почему-то брошенный на обочине дороги. Мимо него день и ночь шли, ехали, на него смотрели, у многих, как и у меня, наверняка пробегали мурашки по спине, но он оставался на том месте, где сделал последний шаг в своей жизни.

Курсанты увидели первого убитого в двух шагах от себя, а может быть и вообще первого мертвеца в своей короткой жизни. Никому в роте еще не исполнилось и двадцати лет.

Рота не остановилась, а только замедлила шаг, никто не снял шапку, никто не проронил ни слова, хотя все смутно понимали, что кого-то уже караулит такая же участь сегодня или завтра.

На какое-то время это видение, поразившее меня, заглушало даже громыхание артиллерии, к которому я поначалу прислушивался, и оно казалось мне уже не таким страшным и беспощадным по сравнению с тем, что и в кошмарном сне до этого дня не могло прийти в голову. «Кто он? — спрашивал я себя. — Почему его не подобрали? Шапка могла упасть при падении и, может, ее замело снегом, но почему он без сапог? Неужели стянули с мертвого?»

Шедший позади меня Измайлов поравнялся со мною и,

наверное, занятый теми же мыслями, испытывая необходимость разрядиться, спросил:

— Видал?

— Как и ты, —безразлично ответил я, еще не придя в себя от охватившего меня потрясения.

— Сержант, видал? — не удовлетворенный моим ответом, обратился он к командиру отделения.

— Вечно тебе все надо. Помолчи.

— Не могу.

— Тогда спроси у командира роты. Он больше нас знает.

— Жуть, — произнес единственное слово Измайлов и занял свое место за мною.

Мне послышалось в этом слове не удивление, не боязнь. а ошарашенный он не понимал увиденной картины, сравнимой разве только с известным полотном Верещагина «Забытый». Такое же чувство испытывал и я, признаваясь себе, что не смог бы приблизиться к нему, переступить ничтожное расстояние, отделявшее меня от убитого. Даже прибавил шагу.

Но ведь мы шли на передовую, шли воевать и несколько дней назад выступая в казарме перед нами, командир батальона торжественно напутствовал нас на подвиги.

«Вы — красные юнкера, курсанты–артиллеристы, не посрамите честь нашего училища, громите злейшего врага, показывайте пример бесстрашия, презрения к смерти красноармейцам!..»

Слушая эту речь, в плотном строю, мы готовы были тогда ринуться в бой с винтовками наперевес, не испытывая ни малейшего чувства страха, тогда еще неведомого нам.

И вдруг так поразил этот убитый, за несколько километров от передовой.

«Что же это, я струсил? — вспомнив речь комбата, спрашивал я себя. Два чувства боролись во мне: страх и дЬлг идти на передовую. — Так не я же один, — убеждал я себя. — Я со всеми, как и все».

И от этого самовнушения становилось как-то спокойнее на душе. Я слышал позади себя бормотание Измайлова и понял, что он думал примерно так же. И это был уже перелом в мыслях, захвативших и каким-то безразличием к тому, что будет, то будет, но вместе с этим не пропадала искорка надежды на то, что все обойдется. Последнее брало верх в тревожных раздумьях.

По мере того, как мы приближались к передовой, перед нами открывалась своей лицевой стороной война, и хотелось, чтобы в эти мгновенья кто-то что-нибудь сказал, подтвердил обыденность всего того, что нам попадалось на глаза, причем самыми

жестокими словами, которых мы еще не знали, или бы поддержал уверенность в том, что и на войне не все погибают. Курсанты нуждались в этих словах, так как шли в бой и в нас должна была кипеть ненависть к врагу — лучшее успокоительное средство перед боем.

Шли молча. Мы, молодые, тогда еще не задумывались о смерти. Она нам представлялась понятием слишком отвлеченным. И вдруг она оказалась совсем рядом — холодная, скованная морозом, белая, подкрашенная отсветом мертвецки белого снега.

Потом, уже много лет спустя, я наткнулся на слова поэта, запавшие мне в душу:

Помертвелые их очи

Льдистым ужасом разят.

Сборник стихов Тютчева я носил всю войну в своем вещмешке. Его мне подарила молодая учительница, преподававшая литературу в большом селе, раскинувшемся на берегу реки с таким поэтическим названием — Красивая Меча. Тогда по ночам мы шли ускоренным маршем на Курскую дугу. Очень уставали, и командование смилостивилось, разрешив ночевку в этом селе.

Много раз я перечитывал лирику поэта, но как-то не выделял этих строк, не относящихся к войне. Перечитывая их, я вдруг вспомнил того, брошенного в кювете. Как же я их не замечал? Они не только с удивительным проникновением отразили трагизм человеческой жизни,

но и воскресили в памяти ушедших в небытие, которых так много было на войне.

…Первый бой оказался жестоким и кровавым. Большая половина роты лежала, как и тот в кювете, на снегу, на подступах к деревне. Курсантов скосил плотный пулеметный огонь из близлежащих рубленых домов, в которых немцы оборудовали огневые точки.

Когда стемнело, командир роты отправил несколько курсантов подобрать своих убитых, снести их в одно место к воронке, углубить ее, приспособив под братскую могилу. Далеко за полночь собрали всех, уложили рядами поплотнее, один к другому, и засыпали землей, без слов, без музыки, и что самое удивительное — без слез, под методичный обстрел немцами того самого поля, в центре которого у свежей могилы на минуты задержались курсанты, впервые с обнаженными головами. Они, уцелевшие в тот день, пройдя сквозь огонь, словно заново родились. И хотя чувство страха в них не исчезло, но убитые, близкие разрывы вражеских мин, уже не так потрясали

опустошенные до безразличия ко всему происходящему, души курсантов, да и страх уже стал иным. Самое страшное они пережили и теперь уже представляли, что может с ними случиться.

Но тот, брошенный у дороги солдат, почему-то вдруг снова всплыл в моей памяти, когда я стоял с лопатой в руках у братской могилы. Может быть потому, что то был первый убитый, которого я увидел, оставшийся для меня неизвестным.

За четыре года войны передо мною промелькнули сотни, а может быть и тысячи убитых, но он навсегда остался для меня первым.

Потом появился второй, навсегда замерший с гранатой руке, поднявшийся в неглубоком круглом окопе и, наверное, сраженный в тот самый миг, когда намеревался бросить гранату. Туловище его лежало на бруствере окопа. Он как бы на мгновенье застыл, выбросив руку вперед. Может, даже приготовился вылезти из совего последнего укрытия и намеревался стоя, с размаху бросить гранату.

Я наткнулся на него случайно на желтеющем августовском ржаном поле, повытоптанном и изрытом черными воронками и мелкими окопчиками, уже за Орлом, когда я догонял полк, продвинувшийся далеко с того места.

…Как-то на привале мне опять вспомнился тот брошенный у дороги под Москвой солдат и я быстро набросал небольшую заметку о нем в армейскую газету, передав ее

корреспонденту, расспрашивавшему меня о судьбе курсантской роты. Потом, подбадриваемый корреспондентом, я написал еще несколько заметок, но ни разу их сам не читал. Корреспондент говорил, что они публиковались.

— В газету пишешь о своих богатырях? — как-то спросил меня комбат с блуждающей легкой усмешкой на лице.

— Писал.

— Вот и дописался. Вызывают в политотдел армии. Притянут к ответу.

— Что-нибудь не так?

— Это тебе лучше знать, товарищ спецкор, — иронически заметил комбат и нахмурился.

Ему, конечно, не нравилось, что меня вызывают в глубокий тыл и я должен на какое-то время оставить роту.

Наступила неловкая пауза. Я не знал, что ему сказать, пока он меня не спросил:

— Вернешься или в газетчики подашься?

— Вернусь.

— Точно?

— Я же сказал.

— Ну, тогда иди. Утром двинемся вперед. Догоняй на своих двоих, а если повезет — на дивизионных попутных машинах.

В армейском политотделе мне предлагали работу в газете, но я не согласился. Какой из меня газетчик? — спрашивал я себя. Возвращаясь в полк, я не застал уже на том рубеже полк, откуда уходил. Присел отдохнуть у своего окопа. Где-то далеко и глухо на западе гремела, как в надвигающуюся грозу артиллерия, а вокруг меня на ржаном поле стояла мертвая тишина. Чудом уцелевший островок невытоптанной ржи скрывал лежавшего на бруствере лейтенанта. Я и сам не знаю, почему я туда заглянул. Мне казалось, что он какое-то время выжидал, припав головой к земле. Но это было не так. Я потрогал его пилотку, он не шелохнулся. Ушли отсюда далеко похоронные команды, оставив свежие холмики братских могил. И я ушел с того страшного поля, бессильный даже засыпать его землей. Мелькнула мысль — опустить его, оОмякшего, в окоп, но и этого я сделать не мог, хотя к тому времени я не раз и не два бросал горсти земли в открытые могилы однополчан и казалось, что уже ничто не могло поразить меня в этой повседневной, прозаической процедуре на войне. Но неожиданно увидев в такой позе убитого, я на

какое-то время оторопел, остановился, не смог сделать ни одного шага, чтобы быстрее уйти. Вокруг не было ни души. Меня поражала только тишина, которая у покойника, когда стоишь рядом и смотришь на него, всегда особо ощутима, даже при грохоте орудий.

Я не видел лица лейтенанта, уткнувшегося в землю. Но мне бросился в глаза след от портупеи на выгоревшей от солнца гимнастерке. Кто-то снял ее с лейтенанта.

Пора было уходить. Я заторопился в полк до наступления темноты.

… — Будешь еще заниматься писаниной? — спросил меня комбат сдержанно, но обрадованный тем, что я вернулся.

— Буду, — твердо ответил я.

— Ты посмотри на него… Не угомонился. Но имей в виду: я тебя никуда не отпущу, хоть сам маршал будет приказывать.

Я сказал комбату, что обязательно напишу о брошенном лейтенанте во ржи. К моему удивлению, комбат отнесся к этому поначалу совершенно спокойно, но велел позвать к нему командира хозвзвода с лопатой. А потом вдруг, дав себе отдушину, разразился таким громовым матом, что я слушать не мог. Я не понял, к кому относилась его многоэтажная, страшная брань, но в ней он, видимо, находил разрядку от того, что я ему рассказал. Все живое в эти минуты, наверное, увяло бы, как и я от

того, что выкрикивал комбат с перекосившимся от злости свирепым лицом.

С тех пор полк прошел немало по фронтовым дорогам Белоруссии, Польши, вел бои за каждый укрепленный фольварк в Восточной Пруссии. Продвижение было и быстрое и медленное с тяжелыми боями, а генерал Горбатов с палкой в руках подгонял полки к быстрейшему выходу к Балтийскому морю.

Писать в армейскую газету мне было некогда. В батарее, которой я стал командовать, во время артналета была повреждена пушка и вышла из строя. Хорошо, что еще так отделались —• никого из батарейцев не зацепило. Сорокопятки, «прощай, Родина», как их называли на передовой, притаившись, готовые ударить в лоб по вражеским танкам, стояли на прямой наводке чуть позади окопов стрелков и доставалось нам нисколько не меньше, чем матушке полей — пехоте.

Надо было что-то придумать. Где взять пушку? Пришел

на помощь сметливый ординарец. Он видел где-то в тылу, километрах в десяти, недалеко от дороги на опушке леса такую же, как у нас пушку, по каким-то причинам оставленную там. В то время были еще пушки на конной тяге, лошади, как и люди гибли, а пушки приходилось бросать, хотя и грозило это трибуналом.

В мартовскую лунную ночь, вооружившись автоматами и картой, мы отправились с ним напрямую через лес к тому месту, где он видел пушку. Ординарец шел впереди, как проводник, с длинной палкой в руках. Я ступал ему в след и находил, что на нем чего-то не достает. На голове не было привычной для его обличия каски. Отправлясь в тыл, он, видимо, оставил ее в окопе.

Я же каску ни разу не надевал, чему немало удивлял не только ординарца: он не понимал моего упрямства и мне пришлось как-то объяснить ему причины моего пренебрежения к каске, хотя правду я ему сказать постеснялся. Наверное, он счел бы меня за чудака.

…Однажды я видел, как девушка–санитарка в каске подползла к раненому лейтенанту, закинула его обвисшую руку себе на плечи и, пригнувшись, повела в укрытие. Осколок, разорвавшейся мины звонко ударил по каске. Санитарка упала. Лейтенант кричал: «Почему не меня…» Он был без каски и без шапки.

Подтверждалась моя довольно смутная примета, не покидавшая всю войну. У фронтовиков в окопах бытовало немало подобных примет. Я верил в свою: если надену каску, к защитным свойствам которой я относился скептически, то со мною непременно что-то случится.

Долго в ночи мы блуждали по занесенному снегом, саженному хвойному лесу. Ближе к утру все больше давала о себе знать усталость и мне не раз приходило в голову — вернуться по нашему следу, пока зашли не так далеко, так как на рассвете обещали вернуться на огневые позиции батареи. С таким условием отпустил меня командир батальона, которому мы были приданы на время наступления.

Наконец, выбрались на дорогу и пошли по ней в предутреннем безмолвии. С той и другой стороны подступал темный лес, словно мы находились в тайге, где сотни километров тянется сплошное безлюдье.

Да и не было у нас уверенности, куда идти: вперед или назад. Где находилась пушка, ординарец точно сказать не мог, примет никаких не помнил. Решили пройти немного вперед, а потом повернуть назад и возвращаться на бата

рею. На ремне у ординарца висел закопченный плоский немецкий котелок с крышкой. Солдат был гораздо старше меня, неторопливый и рассудительный, из-под Тулы. Он чем-то напоминал моего деда, ходившего, как паломник в Киев в Лавру поклониться святым и так же с котелком на ремне. Оттуда он принес себе и бабке золотые крестики и всю жизнь они носили их на себе. У солдата тоже висел на шее' тщательно скрываемый крестик.

— Зачем взял? — спросил я его, показывая на котелок.

— Кипятку согреем. Есть пара сухарей. Зачаюем.

— Если пушку найдем.

— Найдем.

— Найдем? Ты вот что… Разведи костер, грей снег, а я пройду вперед, посмотрю.

— Слушаюсь, — сказал ординарец.

Я прошел не менее полутора–двух километров, пока не заметил пушку метрах в двухстах от дороги. А за ней ближе к опушке леса виднелись редкие, одинокие деревья. Пушка была подбита или наехала одним колесом на мину и подорвалась. Замок как будто бы был цел, однако, несмотря на мои усилия, не открывался. Где-то что-то заело. Отвертка, молоток были у ординарца, поэтому мне пришлось возвратиться к нему. К тому времени в котелке кипела вода и ординарец сожалел, что нечем было заварить чай.

— Не наш лес, — сокрушался он. — В своем я бы нашел заварку.

Мы попили с ним кипятка с черными сухарями и пошли к пушке.

— Хорошо, что не зря топали, — заметил ординарец.

У станин валялись только пустые гильзы. Все наши

попытки открыть замок и заглянуть в ствол ни к чему не привели и я решил побыстрее возвращаться на батарею.

Идти назад по шоссе не стали, пошли напрямую к лесу, решив принять там чуть влево, с учетом нашего отклонения от ночного маршрута. Я рассчитывал сориентироваться и выйти на наш след, хотя ординарец скептически посматривал на изучение мною карты, видимо, надеясь больше на собственную ориентировку в лесу.

Шли по глубокому снегу, среди редких молодых сосен. И вдруг как привидение на посеревшем снегу в то раннее утро перед нами предстал убитый наш солдат.

«Третий», — пришло мне тут же в голову. Он лежал в гимнастерке, вытянув руки по швам, как в строю,

устремившись лицом в еще холодное, но весеннее небо, без шапки, в солдатских обмотках и ботинках.

Ему было, пожалуй, чуть больше двадцати. На холоде он хорошо сохранился, но безжизненное лицо и побелевшие скрюченные пальцы, зажавшие в последнее мгновение снег, выдавали застывшую позу в вечном небытие, настигнувшем его на чужой земле.

Мы тоже на какой-то миг застыли у него, пока ординарец не спросил:

— Посмотреть документы?

— Смотри.

Он расстегнул карман гимнастерки и достал фронтовой треугольник — письмо с подмоченным, расплывшимся адресом, который трудно было разобрать. Странно, что документов в карманах не оказалось. Можно было предположить, что их забрали.

Я развернул треугольник. Текст письма хорошо сохранился. Пока ординарец отлучался к пушке, видимо, для поиска лопаты, я читал письмо:

«Валя, дорогой друг, здравствуй!

Сколько радости, ведь это первое твое письмо. С того времени, как мы расстались (я был ранен и был в госпитале), прошло более двух лет и за этот промежуток времени мы ничего друг о друге не знали. Если же ты моих писем не получал, то я вкратце сообщу тебе о своем «странствовании» за это время.

Попав на фронт, после того, как мы расстались, я 19 мая 1942 года заболел тифом. Жизнь висела на волоске. В госпитале пролежал месяц. После «пошатался» еще месяц, а 12 августа попал в часть, которая занимала оборону около Воронежа. Друзей наших: Аверьянова, Сандеева, Лаврентьева, я всех растерял. И уже

находясь около Воронежа, я узнал адрес Лаврентьева Вити и Аверьянова Володи (через комиссара нашей батареи Сиротко). Они от меня находились в 20 километрах, но увидеться мы так и не смогли. Они мне писали, что встретили Толкунова Ванюшу (бывшего студента нашего техникума), он тоже находился с ними в одной части, но в разных подразделениях.

Зимой, перейдя в наступление под Старым Осколом я был ранен. С этого времени началось мое «путешествие» по госпиталям. В госпиталях я пролежал больше четырех месяцев. Потом выписался и был направлен в запасную бригаду, где и нахожусь до настоящего времени. Но так опротивело мне здесь, просто уже невозможно терпеть.

Надеюсь, что мне удастся вырваться из этой части и уехать на фронт. Да, только на фронте можно иметь уважение и легко вздохнуть, зная, что вернувшись домой, после окончания войны, никто не уколит упреком и презрением, что я не защищал Родины, а скрывался в тылу. Моя совесть будет чиста! А то ведь долго я засиделся в тылу и ни разу хорошего слова не слышал от командования. Это не то, что на фронте, где существует уважение и фронтовые товарищеские отношения со всеми.

Письма из дома получаю. Живут сравнительно неплохо. Отец тоже в армии, где-то на юге воюет.

Да, дня два назад я написал твоей маме письмо, чтобы она сообщила мне твой адрес, ну а теперь я сам получил от тебя.

С Анькой Шаталкиной связь порвал окончательно. Несколько дней назад послал ей ответ. Правда, жаль было, но она сама этого добилась. Она мне написала в письме, что ее сватает один старший лейтенант — работник райвоенкомата и она у меня спрашивает совета, что ей делать — выходить за него или нет? В общем, Валя, комедия. Разобьем фрицев, осталось немного. Кончится война, встретимся и вместе жениться будем. Ох, и погуляем же при встрече!

Валя, пиши подробнее о своей жизни, где ты? Как жил это время, после того, как мы расстались с тобой?

Пока, до свидания! Шлю тебе боевой дружеский привет. Привет твоим товарищам.

Твой друг Борис Морчаков. 13 марта 1945 года».

Ординарец вернулся с двумя гильзами. Я спрятал письмо в карман и вместе с ним стал разгребать снег, готовя Морчакову снежную могилу. Разгребли снег до пожелтевшей травы, бережно положили тело на мерзлую землю.

— Накрыть бы чем-нибудь лицо, — оглянулся вокруг ординарец. Ничего такого вокруг не было. Я вытащил свой носовой платок и отдал ординарцу. Он прикрыл им лицо,

перекрестился, склонил голову. Мне и раньше приходилось замечать, что ординарец человек набожный. Видимо, стесняясь меня и других, он выбирал укромное место, где бы его никто но видел и про себя повторял по вечерам какую-то молитву. Я же, замечая это, нисколько не осуждал его, старался делать вид, что ничего не видел и не слышал.

Мы обложили убитого снегом, поставив на белую утрамбованную могилу две гильзы.

— Растает, — с сожалением проронил ординарец.

Я и сам знал, что растает, но что же еще можно было придумать. Не оставлять же так. Солдат согласился со мною, но тут же быстро отошел к соснам, наломал охапку зеленой хвои и укрыл ею могилу.

Всю дорогу шли молча, понимая друг друга, что возвращались мы с похорон. Хотя фронтовиков похоронами не удивить. Но тут случай был особый. У меня клубились, как свинцовые облака перед грозой, мысли о брошенных на войне, сколько таких осталось в волховских, смоленских и новгородских лесах? Никто не считал.

Природа находит выход в разрядке — в шумном ливне, в извержении вулкана, в землетрясении… У меня же пока что все только кипело на душе, я не знал еще как, где и когда мне придется высказаться. Брошенные, безвестные так и живут во мне вот уже более сорока пяти лет. И может слово о них и есть затянувшаяся на годы, выстраданная разрядка.

А в какой-то опустевшей русской деревушке Долы, с обмелевшим, заросшим осокой прудом, покосившимися хатами, в которых доживают свой век матери, все еще оплакивают их и ждут, ждут…

Постарела мать…
А вестей от сына нет и нет.
Но она все продолжает ждать,
Потому что верит, потому что мать.

Прощаясь со старушкой, я про себя повторял эти слова.

57

Приближался майский праздник «со слезами на глазах», как его окрестили. Принарядились в нежное зеленое одеяние березки под окном, украсив себя модными сережками. Застыли в тишине трепетные листочки, но тревожно было на душе от шельмования фронтовиков. Я не мог с этим мириться. Накануне газета опубликовала мою статью «Боль», в защиту людей с чистой совестью, отстоявших на поле боя свое Отечество. В ней был гневный упрек тем, кто не только предает забвению подвиг солдат Великой Отечественной, но и льет на их седые головы помои. К тому же меня как и раньше возмущало то, что пишут и говорят только о фронтах и армиях, а о батальонах и ротах — ни слова, как будто бы их и не было.

Какая вопиющая несправедливость по отношению к солдатам и лейтенантам — главным участникам войны. Молодые лейтенанты водили в атаки своих солдат–окоп- ников и на поле боя с винтовкой наперевес осуществляли все стратегические операции Верховного Главнокомандования. Без этого не было бы прославленных полководцев — Жукова и Рокоссовского, Конева и других, будь они даже сверхгениальными.

Лейтенанты моего поколения доказали свое превосходство над офицерами нордической расы, одержали Победу. А фронтовики под обрушившимися на них потоками лживой информации заговорили о своем потерянном поколении и напрасно прожитой жизни. Поносили не только живых, но и мертвых, занялись гробокопательством. Многих охватило отчаяние, перестали надевать солдатские медали и ордена за пролитую кровь.

Мат чать я больше не мог, писал о боли фронтовиков с ноющим сердцем. «Какой же праздник?» — с этими тягостными мыслями думалось мне. Такого я не мог припомнить за долгие годы.

. В 1985 году немцы прислали за участниками войны специальный поезд в Москву и увезли нас в Берлин на сорокалетие Победы, как самых дорогих гостей. Мы пробыли там больше десяти дней. В памяти не изгладятся те солнечные майские дни, напоминавшие нам победную весну 1945 года. Каждый из нас помнил и стремился побывать в местах, где застал его последний день войны, где 9 мая он встретил день Победы. Я старался походить не только в Берлине, залечившем руины войны, но и постоять на берегу Эльбы у Магдебурга, куда мы вышли 8 мая 1945 года. С той стороны уже были американцы.

Через сорок лет я узнавал и не узнавал то место, где я, облегченно вздохнув, опустил автомат и снял палец со спускового крючка. Кругом цвели сады, воцарялась звенящая тишина и не верилось, что война кончилась. Опьяненные победой и спиртом, мы не знали, что делать. Не так-то просто было прийти в себя после четырехлетнего сверхчеловеческого напряжения и призывов — больше убивать немцев. «Убьешь немца на Ловати, его не будет на Волге». Кто не помнит: «Папа, убей немца!» «Стой и бей, бей и стой!»

В мае 1945 года немцы стали покорными. Все улицы городов были как в снегу от белоснежных простыней в окнах. «Мы проиграли войну», — твердили они.

Теперь немцы встречали нас как гостей и друзей. И

это были искренние встречи. Я, воевавший четыре года и люто ненавидивший немцев, верил им, верил, что и они сделали для себя вывод из истории.

Прошло семь лет с тех памятных дней.

…С утра погода чуть нахмурилась. Скупо проглядывало солнышко, на душе смешалось чувство исполненного долга со щемящей болью. С таким настроением я ходил из угла в угол в квартире, пока кто-то позвонил… Я распахнул дверь и увидел Геннадия Ивановича, как всегда безупречно подтянутого, в белой рубашке, модном галстуке, темно–сером костюме, так гармонировавшего с его сединой.

— Проходите, проходите, —обрадовался я, пропуская гостя. — Свидетельствую на пороге, что слово сдержали.

— Разве можно в такой день отсиживаться в блиндаже.

Потом пришел с цветами и поздравлениями поэт Сергей

Никанорович.

Мне нравилось его русское лицо и пышная поседевшая шевелюра и что-то близкое в его неторопливых суждениях, подкупавшая простота, сдержанность и откровенность. Все это чувствовалось и в его стихах, идущих от сердца смоленского крестьянина, а потом рабочего строителя, сооружавшего ТЭЦ. Там, на стройке сквозь клубы цементной пыли виделось ему синее небо.

По–разному люди воспринимают окружающий мир. Одни все события пропускают, как пролетающие мимо поезда с мелькающими окнами, сливающимися воедино, у других откладывается виденное, даже трепет занавесок на ветру в мчащихся экспрессах, цветы на столиках, нарастающий, а потом затихающий перестук колес удаляющегося состава. У одних пробежавший поезд ничего не оставил, у других он вызвал грусть, когда умолк и скрылся вдалеке.

Все это, мне казалось, присутствует в прищуренных глазах за толстыми линзами у Сергея Никаноровича. Иначе он не стал бы поэтом. На стройку он принес в душе смоленские леса, зеленые луга, заросшие цветущим разнотравьем, тихие перелески вокруг хуторов. Тишина сменилась грохотом, как неожиданно надвинувшейся грозой, но не такой, как в смоленском небе, промывавшей летний зной живительной влагой.

Тяжелые кирпичи, лязг металла, скрежет электросварки и надрывный гул моторов по разбитым дорогам наполняли стройку. Может, этот перепад тишины природы

и придуманный человеком грохот и породил тоску, противление поэта издевательству человека над извечным покоем.

И это спокойствие, подаренное природой, запечатлелось в Сергее Никаноровиче. Он оживлялся, когда с вдохновением читал свои стихи, когда у него рождался поэтический образ, выплескивавшийся на собравшихся гостей. Безмятежный, рассудительный Юрий Георгиевич, мой сосед, инженер–строитель величаво устремил на поэта свой взгляд, прислушиваясь к его проникновенным строкам о встретившейся на дорогах войны девочке:

Шла пехота —
Крестьянки стояли босые,
В парусине,
В холстине…
Как смятые бурей цветы.
Только девочка —
Грубая рвань по колена —
Жалась к женским ногам,
Прядь волос подпихнув под платок…
Слушал зал генерала,
Нарушить боясь тишину.
— Генерал!
Вдруг в последнем ряду
Будто своды обрушились,
Голос боли рванулся… .
— Ты не помнишь,
Как ту девочку звали?
И два синие глаза в слезах
Появились из тьмы…

Это была поэтическая быль. Я ему как-то рассказал, как в одной орловской деревушке увидел в войну девочку- сиротку и велел старшине дать ей кусок рафинада. Девочка застеснялась и не брала, пока ей не сказала женщина: «Возьми, это наши солдаты».

В походной пыли пехота все несла на себе. Даже тяжелые минометы. У каждого на голове была каска. Один я ее не надевал.

— Почему? — спросил меня Сергей Никанорович и уставился на меня испытующе.

— На передовой у всех были свои приметы, своего рода талисманы. У меня тоже. Мне казалось, что если надену каску, то со мною непременно что-то случится.

И в атаку я поднимался без каски, терял пилотку, когда-бежал. А потом стряхивал с головы землю, набившуюся в волосы. Приходилось ведь с разбега плюхаться в свежую воронку и упираться лбом в рыхлую, еще не остывшую после разрыва снаряда землю — спасительницу.

Сергей Никанорович пристально вглядывался в меня и наверное удивлялся, что я таким был. Мне казалось, что он пытается представить меня бежавшим в атаке с автоматом и про себя переживал, даже жалел меня. А может, у него рождались Строки?

Глядя на него, я подумал, что он похож на Алексея Фатьянова. С таким же открытым русским лицом, каким я запомнил поэта по фотографии.

Песни Фатьянова пела вся страна, особенно фронтовики. Тут я не удержался, положил на диск проигрывателя пластинку и. полилась музыка на проникновенные фатьяновские слова:

Пришла и к нам на фронт весна,
Солдатам стало не до сна —
Не потому что пушки бьют,
А потому что вновь поют,
Забыв, что здесь идут бои,
Поют шальные соловьи.

Кто не знает эту мелодию? Она перенесла всех гостей' кто воевал и кто не воёв'йл, на фронт, в окопы. Все притихли, слушая издалека звуки времени, эпохи.

Мне даже показалось, что глаза Геннадия Ивановичаˆ сидевшего со мною рядом, затуманились и он ттытаяея незаметно смахнуть слезу.

Не спит солдат, припомнив дом
И сад зеленый над прудом,
Где соловьи всю ночь поют,
А в доме том солдата ждут.

Я не мог не вспомнить слов, запавших навсегда в душу фронтовиков:

Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои…

Ко мне присоединился Сергей Никанорович, напомнив четыре слова поэта, но каких:

Над Россией
Небо синее…

— Такой поэт, такой поэт, прошедший всю войну,

запечатлевший думы солдатские для поколений, а жилось ему трудно. При жизни у него не вышло ни одной книги, но он признан народом.

Тут все после этих слов в один голос, расчувствовавшись, просили еще что-то прочитать из Фатьянова.

Давайте же выпьем, чего нам стесняться…
За синие дали, за нивы, за рощи,
За спелые вишни, за спелые губы,
За наших отцов и за молодость нашу.
За солнце, за ветер, за землю, за нас!
Все дружно меня поддержали, выпили.

— Это тоже Фатьянова? — спросил Юрий Георгиевич.

— Ну, конечно, — подтвердил Сергей Никанорович. — Как и

«В тумане скрылась милая Одесса».

— Я и понятия не имел, как и многие. Пели его песни, а имени автора не знали. Ай, ай, ай…

Поэт и инженер сидели друг против друга. Поначалу они присматривались, как это всегда бывает, когда впервые встречаются незнакомые люди, к тому же такие разные, думалось мне. Но к моему удивлению, как только Сергей Никанорович заговорил о работе на строительстве ТЭЦ, у обоих всплыло столько воспоминаний об общих знакомых, сложностях, трудностях той поры, что не видно было им конца и края, хотя так далеко ушло то время. Они узнали друг друга. А построенная их фуками ТЭЦ светит людям, посылает тепло и энергию. Они словно братья встретились после долгой разлуки.

Разговор гостей затягивался, но больше о поэзии. Без нее чего-то бы не хватало за столом в присутствии поэта, как соли в солонке.

Юрий Георгиевич смотрел то на поэта, то на меня и, наверное, удивлялся, что мы так увлеклись, невольно вынуждая всех прислушиваться к нам.

— Алексей Иванович, — не выдержал Юрий Г еоргиевич, — вы тоже, наверное, пишете стихи?

— Кто в молодости не писал… Нет, нет, это мне не дано. Поэтом надо родиться. Научиться нельзя. Я могу только навести на тему, сочинить «капусту» для стиха.

Сергей Никанорович тут же подтвердил, что такое уже было и он написал чуть ли не целую поэму на мой сюжет.

Мне давно уже хотелось подбросить ему на раздумье, когда его посетит муза, то, что сидело во мне и волновало много лет, с самой войны.

…Тревожное лето 1943 года. Войска Степного фронта скрытно подтягивались к передовой. После изнуряющего двадцатипятикилометрового ночного марша рота, которой я командовал, остановилась на дневку в большом селе, вытянувшемся вдоль речки Красивая Меча. Есть такая.

На рассвете усталые солдаты разбрелись по хатам. Я зашел на постой в дом поближе. Оказалось, что в нем живет учительница русского языка и литературы местной школы. Ей было тогда лет тридцать пять, а мне шел двадцатый год.

Она открыла мне дверь с заспанным лицом в накинутом на ночную рубашку простеньком ситцевом халатике. Но встретила приветливо, словно ждала меня.

Я валился с ног и искал место на вымытом полу, где бы мне расстелить плащ–палатку, положить под голову вещмешок и быстрее растянуться. Она решительно запротестовала,

предложила лечь на кровать. Я был весь в грязи, в пыли и не мог ложиться на чистую простынь. Пришлось умываться, обливаясь водой. После этого сразу провалился в беспробудный сон. А когда проснулся от яркого солнца, увидел на стуле у кровати выстиранное и выглаженное обмундирование — гимнастерку с подшитым белым подворотничком и брюки. Учительница с таким добрым ласковым русским лицом, гладко причесанная, в белой в горошек кофточке на цыпочках ходила по комнате, чтобы не разбудить меня.

На следующий день в темноте рота покидала село. Учительница сама развязала мой вещмешок и положила в него томик стихов Тютчева, из которого она мне читала днем. А я тогда только и знал:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Прощаясь со мною за околицей, она сквозь слезы сказала: «Возвращайся живым» и поцеловала меня.

Полк шел в огонь. Впереди была Курская битва, жесточайшее сражение, как на Куликовом поле. Многие однополчане остались там навсегда в братских могилах. А я с уцелевшим томиком Тютчева в вещмешке дошел до Берлина. Читал солдатам в окопах, не забывая об учительнице из того села. С тех пор люблю этого великого поэта, без которого жить нельзя, как сказал Лев Толстой.

— Что вы в нем находили? — спросил Юрий Георгиевич.

— Что я находил?.. Веру, прибежище, островок надеж

ды, как говорили герои Ремарка. Я не согласен с тем, что пусть все горит ясным огнем. Со мною все прошлое, пережитое: Как жаль, что невозможно вернуться назад в неповторимое, чистое и светлое, помогавшее жить даже с несбывшейся мечтой. Теперь я хочу куда-то убежать… Если бы мне кто-то положил в вещмешок ту мечту и сказал, как учительница: «Возвращайся, я жду тебя, я с тобой…», я бы убежал. Вот это есть у Тютчева.

Мне не хотелось больше утруждать гостей стихами, но про себя, вспоминая учительницу, с болью присоединился к словам поэта:

И жизнь твоя пройдет незримо
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле, —
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном.
В осенней беспредельной мгле.

Поймав себя на Этой навязчивой мысли о русской женщине, оставившей, болью и радостью такой след в жизни, почему-то подумал, что так и произошло с ней, хотя ее после этого не видел.

— Кто еще оставил во мне подобное? Истинность чувств? Человек, которого я знал больше пятнадцати лет, уверявший меня, что приобщился к поэзии Тютчева? Не знаю. День–два — миг по сравнению с теми долгими годами, но перевешивают ли они тот миг? Не от того ли он так врезался в память, что светится кристально чисто, как в голубом поднебесье звезда, со слезой проникнув в душу?

— Алексей Иванович, позвольте мне, —сказал Геннадий. Иванович, сидевший молча, чем-то озабоченный. Вид у него, был усталый, я. чувствовал в нем какую-то перемену, но не расспрашивал, что там у него глубоко засело.

. — Прошу.

. Все умолкли. Г еннадий. Иванович взял рюмку с коньяком, обвел всех глазами, чуть наклонив голову, видимо, собираясь с мыслями.

— У каждого есть свое личное, сокровенное, не высказанное, но выстраданное, с которым мы не расстаемся, носим при себе. Его никто не может отнять, пока мы живем с ним вдвоем. Предлагаю всем вспомнить свое сокровенное и выпить за…

— За нее? — подсказал с намеком Юрий Георгиевич, чокнувшись с Геннадием Ивановичем.

— Почему бы нет?.. Пусть будет так.

Все выпили по глотку, а Геннадий Иванович до дна.

— Как там немцы говорят, Алексей Иванович?

— Bis aus dem Boden{До дна (нем.)}.

Он словно угадал мои мысли. Я последовал его примеру и тоже выпил до дна, показал ему пустую рюмку. Одинокий и с виду суровый, он посмотрел на меня добрыми глазами. В них светилась совестливая сдержанность.

Гости расходились, а я остался снова с нелегкими раздумьями. Мелькнувший на мгновенье огонек угасал. Его нельзя было остановить.

…Спустя месяц позвонил Сергей Никанорович.

— Работаете? За письменным столом?

— Сижу.

— Мне пришла в голову мысль.

— Слушаю.

— Вот то, что вы пишете, назовите «Без каски».

— А вы напишите к этому четыре–восемь строк, как учительница положила в мешок лейтенанту, шедшему на передовую, томик стихов Тютчева и сказала со слезами на глазах: «Возвращайся живым». И он пронес эту книжку всю войну, читал стихи в окопе.

Человек самовыражает себя только в поэзии. Она необозрима, вечна, как мириады звезд в небе и никогда не иссякнет в душе, если, конечно, не быгть постыдно вероломным.

— Договорились, — согласился он.

В тот день мне повезло. Друзья отвлекли от грустных раздумий, держащих меня, как в тисках. Тучи разогнал легкий ветерок.

Светило приветливое майское солнышко, яркими лучами проникавшее в комнату, где мы сидели за овальным столом, слушали стихи поэтов и бравшие за душу мелодии, запечатлевшие думы поколения Великой Отечественной.

Жаль, что не смог прийти Иван Ильич из-за свалившего его в постель гриппа, жаль, что все проходит, как с белых яблонь дым.

58

Началось жаркое лето. Дули пыльные суховеи, набегали грозы, обрушивая град на поля, мутными потоками наполнялись реки, размывая берега.

Кипели страсти на митингах, ораторы соревновались

[1] До дна (нем.).

в проклинании всего того, что создавалось, строилось, защищалось за последние семьдесят с лишним лет, при которых они выросли, выучились, запустили первый в мире спутник, писали поэмы, восхваляя человека труда, бескорыстно работавшего на благо всего народа, стоявшего на страже отчизны. Рушили памятники, выкапывали останки павших воинов, подстрекали к братоубийственным погромам, полилась кровь живших в дружбе народов.

Раскручивающийся со страшной силой ураган, подхлестываемый газетами, радио, телевидением прорвался за пределы границ, загулял в ближних странах, разрушая и уничтожая все то, что создавалось после разгрома фашизма, к чему прикасалась рука победителя.

Буря докатилась до ГДР, откуда я получил письмо от моего знакомого немца.

Я с ним случайно встретился на стадионе в Берлине. Наши места оказались рядом. Он сидел слева от меня. Здоровенный, атлетического телосложения, средних лет, тяжеловат, с добродушными глазами. Его плотная фигуры — само спокойствие. Он как-то сжался, уступая мне площадь моего места. Справа — худощавый, длинноногий, неподвижно застывший, с гладко зализанными на прямой пробор волосами, уставился на зеленое поле, где еще не было футболистов.

Стадион, залитый мягким майским солнышком, был до отказа заполнен. Наш «Спартак», приглашенный спортивными клубами ГДР на товарищеские игры, приуроченные к празднованию годовщины победоносного завершения войны, в этот день встречался с берлинским «Динамо».

В ложе находились члены правительства ГДР, внизу против нас, на скамейке у барьера сидели тренер и бессменный начальник «Спартака» — Николай Старостин, фанатик футбола, с которым мне приходилось не раз встречаться в заграничных поездках.

На стадионе перед началом матча царило праздничное ликование, разыгрывалась какая-то лотерея под девизом «Дружба — Фройндшафт!»

Позади послышалась русская речь, я прислушался, обернулся и увидел через один ряд наискосок двух наших военных — майора и капитана в окружении немцев. Я же был в цивильном костюме и, кажется, ничем не выделялся среди немцев, заполнивших огромную чашу стадиона, неповторимо пеструю и красочную.

Наконец, команды выбежали на поле, капитаны обменялись вымпелами и игра началась.

Мой сосед слева, судя по всему, принимал меня за немца; поворачиваясь ко мне, отпускал реплики и замечания в адрес игроков «Динамо», не проявляя ни бурных восторгов, ни негодования, как это делали рьяные болельщики вокруг нас и на трибунах стадиона.

Болея за «Спартак», переживая его промахи, я тоже воздерживался от эмоций, тогда как на стадионе вспыхивали крики поддержки немецких игроков, свист, визг труб, топот ног и размахивания флажками импульсивных болельщиков.

Атаки «Спартака» сопровождались полной тишиной, стадион вокруг словно замирал на какое-то время и вдруг взрывался, как только мяч переходил к немецким игрокам. Мой же сосед слева реагировал совершенно спокойно, тогда как правый вскакивал как по команде. Все это как-то отвлекало от всего того, что происходило на поле. Обе команды показывали высокий класс игры, но отдельные игроки с той и другой стороны в порыве азарта нарушали правила, получали замечания, приносили извинения.

Вдруг (как это произошло, я не заметил) на поле повалился немецкий футболист и катался, корчась на траве, что не так уж редко бывает на футбольных полях.

Игрок «Спартака» протянул ему руку, но тот не вставал. Судья свистком остановил игру, однако, не находя нарушений правил, карточку не поднял. Его окружили немецкие футболисты, что-то с пылом ему доказывали, а над головой «виновника» размахивали кулаками. Наши игроки поначалу не придали значения инциденту, оставались на своих местах, где их застал свисток судьи.

Я видел как встал, нервничая, Старостин, что-то кому- то показывал рукой, видя как добрая половина динамовцев окружила судью и нашего нападающего. После этого спартаковцы стали подтягиваться к месту «происшествия».

На трибунах многие встали, стадион грозно гудел, призывно завывали трубы болельщиков, над головами пестрели флажки. Немцы защищали своего игрока. Атмосфера накалялась. Казалось, неминуемо должна произойти свалка на поле. Судьи не

было видно. Торчала только его рука над головами.

Расталкивая плотное кольцо, судья предлагал убрать с поля все еще лежавшего игрока и настаивал на продол

жении игры. Никакие доводы и аргументы на него не действовали, хотя весь стадион «ревел».

Мой солидный сосед слева реагировал на все происходящее спокойно, даже не вставал, а сосед справа, стоя, усердно размахивал флажком над головой.

Настойчивые свистки судьи призывали продолжить игру. Невообразимый гам постепенно стихал. В это время я отчетливо услышал за спиной моего левого соседа довольно громкое «руссише швайн» и невольно оглянулся назад, ища глазами того, кто это сказал.

Молодой долговязый немец в замызганных кожаных шортах, наверное, доставшихся ему по наследству от деда, сложив трубочкой ладони у рта, горланил: «Руссише швайн, руссише швайн…»

Мне было до него не дотянуться. Позади нациста, как я считал, поглядев на него, сидели наши майор и капитан и, конечно, слышали его выкрики, однако почему-то только довольно глуповато улыбались, что меня крайне раздражало.

Почти одновременно со мною повернулся назад и сосед слева.

Ему было ближе до них. Не вставая, он схватил кричавшего ретивого болельщика за грудки своей лапой, потянул на себя так, что тот зашатался, а потом с силой отбросил его на место, буркнув: «Halunke» (негодяй). Ошарашенный болельщик не сразу опомнился, потряс головой, наверное освобождаясь от искр, сыпавшихся из глаз. Притих, поправляя рубашку.

Придя в себя от неожиданной встряски, трусливо брюзжал, пока сосед снова к нему не повернулся и не погрозил ему увесистым кулаком.

Между тем игра на поле возобновилась и проходила с переменным успехом. Команде «Динамо», подбадриваемой тысячами болельщиков на своем поле, конечно, легче было играть, но «Спартак» под зорким наблюдением Старостина и тренера тоже действовал напористо.

— Рядом же сидят советские офицеры, фройнде, как же он посмел… — говорил с возмущением сосед слева. —- Они же слышали. Треснули бы его по башке, стянули бы штаны и пустили бы по лестнице вниз. И были бы правы.

Я согласился с ним, высказал свое возмущение, одобрив его реакцию крепким пожатием руки.

Уловив мой акцент, поняв, что я не немец, он с некоторым

удивлением рассматривал меня.

— Freund? — расплылся он в широкой улыбке, не выпуская моей руки из своей натруженной борцовской ручищи, сжимая мои пальцы так, что они побелели, но, очевидно, он этого не замечал и не ощущал. Я, пожалуй, впервые почувствовал, какие бывают большие и сильные руки и не мог представить, чем же занимается этот человек, кто он по профессии. Но был твердо убежден, что он рабочий, догадываясь не только по рукам, а и по тому, как он посадил на место того болельщика.

После матча, закончившегося вничью, мы спустились с ним вниз по ступенькам, вышли со стадиона как раз напротив развала, торговавшего пивом. Он пригласил меня разделить с ним компанию, сразу оговорив, как это принято у немцев, что он платит.

Мы уселись за столиком, пили из горлышка пиво — бокбир в темных бутылках с откидными пробками, закусывали горячими сосисками с обильной горчицей, совсем не похожей но вкусу на нашу острую, от которой перехватывает дух и текут слезы.

Так я познакомился с Герхардом Дерингом из небольшого городка Бурга, что вблизи Магдебурга на Эльбе.

Мне приходилось в нем бывать. В мае победного сорок пятого закончила свой боевой путь Орловская дивизия, которой впервые салютовала Москва. В ней я четыре года шел от стен Москвы, освобождал Орел, Брянщину и дальше Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию и так до штурма Берлина и выхода на Эльбу. Я вспоминал как нас встретил тогда Бург — белыми простынями из каждого окна, и каким буйным белым цветом нас ошеломила весна, какая звенящая тишина охватила нас в его городке после войны, как она пьянила солдат! Все это сблизило нас.

За столом немцы никогда не спешат, смакуют пиво. И мы с ним задержались. Герхард заведовал в городском муниципальном совете дорожным отделом, как специалист, мостивший много лет своими руками дороги из булыжника и брусчатки в гитлеровские времена. В Берлин приехал по каким-то делам, выпало свободное время и он оказался на стадионе.

Когда Деринг начал рассказывать мне о себе, я пристально смотрел на его руки, думал, сколько же он уложил ими камней, увесистых булыжников, один к одному на городских улицах, на бесчисленных дорогах Германии, поддерживаемых в идеальном порядке.

Непривычно мне было каждый день усаживаться в кресло за стол, на котором стоял телефон, — посмеивался над собой Герхард. — Пальцы плохо сгинались, с трудом удерживали тонкую, легкую как пушинка, ручку, а к телефону я до этого

вообще не прикасался. Нас у отца, рабочего обувной фабрики, было четверо. Большая семья, еле- еле сводившая концы с концами, в постоянной нужде, в заштопанных штанах и в колодках деревянных на ногах не только тех, кто мостил дороги. Геббельс выдавал деревянную обувь чуть ли не как поддержку нацией усилий Гитлера по завоеванию жизненного пространства на Востоке. Ели мы дома не сосиски с горчицей, а бутерброды с картошкой. По воскресеньям, когда я стал подрастать, отец давал мне из моего заработка пфеннинги, а иногда и несколько марок на карманные расходы. Покупал я на них в пивнушке лимонад, редко бутылку пива и резался в карты со своими приятелями до одурения.

— В сорок пятом пришли ваши, роте армее, — продолжал Деринг.- С опаской я выглядывал из окна на улицу в первые дни, боясь русского Ивана — большевика. Что только нам не вбивали в головы о нем Геббельс и Гитлер, Гиммлер и Геринг. Ну и компания же собралась… ,А все это оказалось враньем наци.

И вот тот, который кричал позади нас, недобитый наци, верноподданный Гитлера, так и остался с затуманенными мозгами. Я многих таких знал и знаю в войну и сейчас. Один такой в войну служил в СС. Он хвастался, сколько отправил русских в лагерный крематорий, рассказывал как там все было механизировано и как стерильно. В конце войны пропал, куда-то сбежал, как я думал, а он прятался. Я его выследил и сдал советскому коменданту, военному.

— И как это ваши офицеры стерпели оскорбление? — недоумевал Деринг. — Майор и капитан… Молчали. На их бы месте я бы… — взмахнул он грозно кулаком.

Я тоже не мог этого понять. Их улыбки были совершенно неуместны, они раздражали меня, хотелось им высказать тут же, что даже немец возмутился. Однако пускаться в объяснение с Дерингом о русской загадочной душе, терпящей унижение и оскорбление, мне не хотелось, да и не уверен я был, что он поймет меня. Все это слишком сложно для понимания немцем, да и русским. Достоевский и тот не мог разобраться в русской душе. Дискуссии на эту тему часто вспыхивают, а потом затихают, но в них

привносится столько путанного и дилетантского, что в них трудно разобраться. Чаще всего русская душа подгоняется под ситуацию, которую отстаивает ученый муж, особенно сейчас.

— Нет Сталина, — сокрушался Деринг, посмотрев на меня, как я отнесусь к упоминанию его. — Я чту его, — с некоторым вызовом говорил он, — за то, что он свернул шею Гитлеру. Без него никто бы этого не сделал! Никто! Немцам Гитлер нравился.

Они его на руках носили, кричали до хрипоты хайль Гитлер за то, что он обещал каждому лавочнику и мяснику имение в России, а русских превратить в рабов. Правда, к концу войны, почувствовав, что фюрер провалил все надежды завоевания мирового господства, потерпел полный крах и надо было как-то спасаться на разбитом корабле, всполошились генералы, решили убрать любимого фюрера, который их вполне устраивал. Но как? Втихую, сами, без народа. А там, мол, придут американцы, англичане и все останется по–прежнему. Так он их всех переловил и повесил на крюках из бойни, на которых подвешивают туши. Должен сказать, что немцы великие мастера–мясники, умеют подвешивать, эсэсовцы и гестаповцы только этим и занимались не только дома, но во всей Европе.

Да, Деринг был прав, широкого, организованного сопротивления и подполья, выступавшего против фашистской диктатуры, в Германии не было. Отдельные, разрозненные группы ничего не решали. Отлаженная с немецкой педантичностью террористическая машина действовала безотказно.

Продолжая разговор о Сталине, Деринг похвалился приобретением его сочинений в нескольких томах, опять- таки в знак признательности ему за то, что он прикончил чудовище — Гитлера и разогнал всякого рода фюреров.

— Читаете? — спросил я его.

— Читаю.

— Зачем?

Не ожидал он от меня такого вопроса. А мне очень хотелось узнать, что же его интересует в сочинениях Сталина.

— Ищу и не нахожу ничего такого, за что вы его ругаете. Да не только вы.

Я хотел было попросить его продолжить эту мысль, а он, словно догадываясь, опередил меня своими рассуждениями.

— Живу я как при коммунизме. У меня все есть. Сбылась моя мечта. Купил ружье, занимаюсь охотой. Как вы думаете — где?

Я посмотрел на него, ожидая услышать что-то сногсшибательное, пожал плечами. Он, довольный тем, что я ни за что не отгадаю, не торопился пояснить, что он имел в виду, с наслаждением потягивал пиво, посматривая на меня.

— В охотничьих угодьях, бывших, конечно, рейхсмаршала Геринга, того самого, который предлагал себя вместо фюрера, убежав от него из Берлина. Раньше меня и таких как я туда на пушечный выстрел, не то что с ружьем, с палкой не подпускали.

Об охоте он говорил увлеченно, вспоминал недавнюю охотничью вылазку и строжайшее соблюдение правил, а потом пригласил меня приехать на открытие охотничьего сезона.

Приглашение я принял, побывал в кругу охотников, участвовал во всех церемониях и убедился, •что Герхард и в самом деле превосходный охотник. С той поры мы не раз с ним встречались и всегда он рассказывал своим друзьям, как мы с ним познакомились на стадионе в Берлине, как он принял меня за немца, как промолчали наши офицеры. Деринг так и не мог этого понять.

…Прошло немало лет. Я уехал из ГДР, потом снова возвращался и видел, как залечив быстро раны войны, стремительно развивалась республика, как менялись в ней люди, как менялась жизнь немцев, разделенных на два государства с противоположными идеологиями, отгородившись друг от друга высокой стеной.

Деринг оставался все тем же Дерингом, гордившимся тем, что наконец блокада изоляции ГДР была прорвана, ее признали почти все государства мира, приняли в ООН, на Лейпцигскую ярмарку съезжались все бизнесмены мира. Казалось, ничто не предвещало бури после того, как встретились Хоннекер и Коль и зафиксировали существование двух немецких государств — неизбежный итог войны.

По праздникам мы с Дерингом обменивались поздравительными открытками. Он присылал мне рождественские и пасхальные послания. А не так давно от Герхарда неожиданно пришло письмо. Он не забыл меня даже в такое смутное время, потрясшее наши государства.

Писал, что в мире прибавилось на одного немца, да еще под номером один. Такой чести, насколько он знает историю, еще никто не удостаивался в Германии, а в его

родном Бурге после объединения Германии объявился бывший группенфюрер, тот самый, заведовавший крематорием в лагере для советских военнопленных, которого он препроводил нашему военному коменданту, Теперь он проходу ему не дает. «Все возвратилось на круги своя», — сокрушался Деринг, описывая новые порядки. «Ружье мне придется продать, в те места нашего брата больше не пускают».

Между строк можно было прочитать и то, что не легко ему приходится — припоминают дружбу с русскими и даже грозят упрятать за решетку.

Он не жаловался, но как я понял, готов, покинуть Германию, наверное, совершенно не зная о том, что происходит У нас.

Мне хотелось ему помочь, но вскоре после получения этого письма. весь мир облетело известие — больной, престарелый Эрих Хоннекер, с которым обнимался «немец номер один», укрылся в чилийском посольстве в Москве. Началась тягучая

возня, как его вытащить из посольства. Помогла «гуманитарная» медицина, выдавшая справку о вполне возможной транспортировке «здорового» бывшего руководителя ГДР- И его прямо из посольства перевезли в тюрьму Моабит,, где он уже сидел при Гитлере.

Другой изгнанник, укрывшийся в Москве, — генерал Мариус Вольф, много лет возглавлявший разведслужбу ГДР, про которого ходят легенды, не дожидаясь выдворения, .сам вернулся из Москвы в Германию, зная, что для него приготовлена камера в тюрьме. В ней он и. сейчас находится. Хотя мог бы воспользоваться переданным ему приглашением директора ЦРУ, уехать в. Америку и, безбедно жить с семьей в США. Давнишняя метода американцев покупать. нужных им специалистов за доллары хорошо отработана и часто действует безотказно. Многие продаются с. потрохами на всю жизнь. Однако на. этот раз она не сработала. М. Вольф ответил отказом, будучи уверенным, что не совершил преступления против своей родины.

С аналогичными предложениями к нему обращались англичане и израильтяне, знающие толк в разведке.

В тюрьме от него добиваются выдачи источников и секретов, но он не в пример Бакатину, преподнесшему американцам на блюдечке государственную тайну, не намерен поступиться высокой честью профессионального разведчика.

Правда, многим Михаил Фридрихович, как его иногда называют; попортил в ФРГ нервы. Чего стоила Вилли Бранту его отставка с поста канцлера, когда выяснилось, что в его окружении работал «человек Вольфа». Но такова была его служба в суверенном государстве, признанном международным сообществом — ООН. Кстати, М. Вольф извинился перед В. Брандтом и нашел понимание у многоопытного политика. Что поделаешь — были по разные стороны баррикад.

И приезд Герхардта Деринга, готового, как он писал, на любую черновую работу — мостить булыжником наши поразбитые дороги — исключался.

Он сам это понял. Как и то, что к нему не приставали бы, не грозили бы посадить за решетку, если бы он почитал Гитлера и разного рода фюреров, не тряс того, кто во всю глотку с пеной у рта кричал «руссише швайн».

* * *

В беседе с одним из корреспондентов М. Вольф сказал, что он собирается написать новую книгу воспоминаний и раздумий, как

он «считает правильным и нужным, без чьего бы то ни было вмешательства, со всеми противоречиями, сложностями мира сего», с мечтой об идеальном обществе, которое хотели создать.

Разведчикам всегда есть что сказать читателям.

Как тут не согласиться с этим?

Последний раз мне пришлось встретиться с М. Вольфом в Берлине во время празднования сорокалетия великой Победы над фашизмом в Отечественной войне.

Давно отгремела пронесшаяся ураганом по земле кровавая война, но все еще напоминающая о себе. Казалось, что завоеванный мир будет долгим, во всяком случае ни у кого не прорвется глас, призывающий к новым потрясениям; сбудутся надежды народа на лучшую участь. Однако этому не суждено было сбыться.

Многие ломали голову над сей глобальной проблемой, писали книги, защищали докторские диссертации, становились академиками, читали лекции, ссылались на Маркса и Ленина, как на высшие авторитеты, выступали с докладами о скором благополучии, а все оставалось так же в этом мире. Наступивший период топтания нашего общества на одном месте не был упущен. В недрах спецслужб зрел зловещий план расправы с супердержавой, имено

вавшейся — СССР. На завершающем этапе реализации этого плана были подобраны исполнители, прорабы, проведшие над доверчивым народом неслыханный эксперимент под кодовым названием «перестройка». Как в кошмарном сне на российских просторах закружился смерч — новое мышление, оглуплявшее людей на уличных шоу и высоких форумах. Эхом войны наполнил он горы, окрасив их людской кровью. На море и в небе новое мышление сбивало с курса корабли, на суше — поджигало поезда, взрывало поселки, губило людей.

Города и села заполнили убийцы и грабители, дельцы и лавочники, торговцы жвачкой, чиновники, насаждая позаимствованные у западной цивилизации: дикий рынок, насилие, секс и порнографию, отобрав у простых смертных последние гроши. Так называемая перестройка оставила Отечество в развалинах, людей в безутешном горе, обращающихся за помощью к всевышнему, заклиная злой дух меченого, свалившегося на их головы, под звон колоколов.

И это в то время, когда человечество овладело могущественными силами природы, человек побывал на Луне…

От невиданной смуты на Руси земля содрогнулась землетрясениями, бурями, мором обнищавших православных.

Оракулы же нового мышления, потирая руки, захлебывались

в восторге от того, что процесс пошел.

«Каждому из нас иной раз кажется, — утверждает ученый, — что мы мчимся в неуправляемом поезде и не можем из него выйти. Мы не знаем куда мы мчимся. Может быть, к величайшему благосостоянию, а может быть, в тупик. Иначе говоря, к катастрофе…»

Нельзя не согласиться с этой мыслью.

(Конец первой книги)

1987—1992 гг.